



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

3 3433 07051793 7



ЖИЗНЬ
ВИТТОРИО АЛЬФИЕРИ
ИЗЪ АСТИ,
РАЗСКАЗАННАЯ ИМЪ САМИМЪ.

Переводъ В. Г. Малахѣевой-Мировичъ.
Подъ редакціей Бор. Зайцева.
Вступительная статья А. А. Андреевой.

ВЪ
ПЕЧАТѢ
ИЗДАТЕЛЬСТВА
К. Ф. НЕКРАСОВА

Москва.
Книгоиздательство К. Ф. Некрасова.
МСМІV.

1914

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
781272
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1916 L

МНОГО ВОДИ
ОСТАВА
УРАСТА!

Печатано въ типографіи К. Ф. Некрасова въ Ярославль.

ГРАФЪ ВИТТОРИО АЛЬФИЕРИ.

1749—1803.

Типичное порожденіе вѣка Вольтера и Руссо, итальянская трагедія Альфіери воплощаетъ собою идеаль свободу, выросшій въ мечтахъ французскихъ философъ-энциклопедистовъ; этотъ новый гражданскій идеаль во Франціи потопилъ въ крови великой революціи всю фривольность рококо, а въ Италіи—музыкальной, изященной и порабощенной—онъ воспиталъ тѣхъ борцовъ за ея освобожденіе, которые, начиная съ карбонаріевъ и кончая Маццини и Гарибальди, создали ея независимость и единство. Цѣльность и строгость республиканства съ его ненавистью къ произволу—знаменитое *écstasez l'infâme!*—является главною заслугою Альфіери передъ его родиной. Трагедія его, у насъ когда-то плѣнявшія Пушкина, теперь, при всѣхъ ихъ литературныхъ достоинствахъ,—имѣютъ для насъ интересъ преимущественно историческій. Антигона, Виргинія, Филиппъ, Мирра, Меропа, Саулъ и др. написаны въ формахъ той условно-классической драмы съ ея знаменитыми единствами мѣста, времени и дѣйствія, которая зародилась въ придворной французской поэзіи 17 вѣка. Разыгрывались онѣ въ парикахъ и шелковыхъ камзолахъ сначала кружками великосвѣтскихъ любителей и тогда, при появленіи своемъ, не производили того подъема общественно-патріотическихъ чувствъ, какой вызывали у публики позднѣйшихъ поколѣній. Италія того времени, раздѣленная на нѣсколько мелкихъ государствъ, подъ „отеческимъ“ управленіемъ или своихъ герцоговъ, или австрійскихъ правителей, или папы и двухъ королей—Сар-

2, 50
1, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200

диніи съ Пьемонтомъ и Неаполя съ двумя Сициліями—Италія давно утратила политическую жизнь; общество ея измельчало, погрязло въ нравственной распущенности и долго не въ состояніи было отзываться на духъ мужественнаго гражданства, который Альфіери призванъ былъ внести въ его умственный обиходъ. Самъ Альфіери былъ имъ глубоко проникнутъ. Новые общественные идеалы носились тогда въ воздухѣ Европы и Альфіери усвоилъ ихъ и изъ собственныхъ наблюденій надъ жизнью и—главное—изъ книгъ французскихъ мыслителей, такъ яростно отрицавшихъ власть и авторитеты. Монархическая идея давно уже перестала удовлетворять историческимъ требованіямъ времени. Новые мыслители учили видѣть въ каждомъ монархѣ тирана и притѣснителя, а политическая мысль въ поискахъ лучшаго жизнеустройства обращалась или къ непосредственному источнику чловѣческихъ отношеній,—къ разуму и къ самой природѣ чловѣка, какъ въ ученіи Руссо, или къ античнымъ образцамъ гражданской добродѣтели, имена которыхъ были съ эпохи Возрожденія близки всему культурному чловѣчеству и дѣлались теперь носителями новой правды, новыхъ общественно-политическихъ стремленій. Для итальянскаго писателя этотъ античный идеалъ становился обязательнымъ въ силу всѣхъ традицій итальянской литературы: тамъ античное вліяніе, какъ память о греко-римской культурѣ предковъ, никогда не умирало и языческія воспоминанія даже въ самую глухую пору средневѣковья уживались, напр., въ поэзіи Данта, съ мистическимъ духомъ христіанства. Этотъ античный духъ гражданскихъ доблестей близокъ былъ Альфіери и въ силу индивидуальной природы его и въ силу внѣшнихъ условій жизни.

Уроженецъ Сѣверной Италіи, того Пьемонта, который въ 19 в. сыгралъ роль „собирателя земли“, объединилъ Италію подъ управленіемъ нынѣ царствующей Савойской династіи,—гр. Альфіери принадлежитъ къ знатному, богатому, помѣстному дворянству. Онъ рано теряетъ отца и рано—въ 15—17 лѣтъ—дѣлается полнымъ хозяиномъ боль-

шого состоянія. Гордый и строптивый отъ природы, съ дѣтства не умѣвшій никому подчиняться, не переносившій надъ собою ни чужой власти, ни чужого превосходства, своевольный и упрямый, онъ отличается пылкимъ, хотя и замкнутымъ въ себѣ, нравомъ, склоннымъ ко всякимъ крайностямъ. Получивши лучшее для своего времени образованіе, онъ въ послѣдствіи утверждаетъ, что не вынесъ изъ школы никакихъ знаній и очень скоро позабылъ всю латынь и всѣхъ классиковъ, которыхъ онъ вызубривалъ только изъ-за отличій и награды. Въ 15 лѣтъ имъ овладѣваетъ страсть къ перемѣнѣ мѣстъ. Сперва онъ объѣзжаетъ всю Италію, затѣмъ въ двукратное путешествіе всѣ европейскія государства. Изъ этихъ странствованій онъ, по его признанію, вынесъ очень мало. Но тѣ картины природы, которыя волнуютъ его поэтическое чувство, а главное тѣ люди, которыхъ онъ узнаетъ въ придворныхъ сферахъ разныхъ странъ,—все это будитъ его критическую мысль, изошряетъ умъ, склонный по природѣ къ отрицанію и сатиры. Въ 20 лѣтъ онъ покупаетъ себѣ французскихъ книгъ, читаетъ Монтескье, Вольтера, Руссо, посѣщаетъ французскіе театры, гдѣ трагедіи Вольтера проводятъ въ публику модныя идеи; независимо отъ школьной учебы впитываетъ онъ въ себя всѣ вѣянія новой мысли; увлекается и Монтенемъ. Пестрая энциклопедичность этого скептика 16 вѣка, игра его мысли, пробужденной знакомствомъ съ классическимъ міромъ, расширяетъ горизонты Альфіери, одинокаго, скучающаго странника по Европѣ. Онъ много и самостоятельно думаетъ надъ этимъ чтеніемъ и когда послѣ пяти-лѣтняго странствованія онъ возвращается на родину двадцатитрехъ лѣтнимъ независимымъ человѣкомъ, мысль его созрѣла, убѣжденія опредѣлились. Преклоненіе передъ благосостояніемъ и передъ политическимъ устройствомъ Англіи, ненависть ко всякой солдатчинѣ, особенно къ милитаризму Пруссіи, презрѣніе къ варварству вѣка Екатерины II въ Россіи, недовѣріе къ легкомысленной, болтливой, салонно-философствующей Франціи и вражда самая не-

примиримая къ тому духу произвола съ одной стороны, а съ другой — лести, подобострастія и низкопоклонства, которыя, по его словамъ, изъ всѣхъ дворовъ Европы дѣлаютъ одну лакейскую, — вотъ что выносить онъ изъ своихъ путешествій. Въ силу такихъ чувствъ онъ на родинѣ, хотя числится въ полку сардинскаго короля, но не несетъ фактически никакой службы; отказывается и отъ дипломатической карьеры. Чѣмъ же наполнить онъ свое существованіе? Какое положительное содержаніе внести отрицатель въ жизнь? Онъ ищетъ его. И это-то исканіе, исканіе своего я и своего таланта, а затѣмъ самоутвержденіе этого я творчествомъ и всею жизнью, характерны не только для Италіи 18 вѣка, но для человѣка вообще и, быть можетъ, для нашего времени въ особенности.

Эту общечеловѣческую сторону своей души, хотя и одѣтую моднымъ нарядомъ иного вѣка, Альфіери вывилъ въ своей автобіографіи. „Жизнь Витторіо Альфіери изъ Асти, написанная имъ самимъ“, такъ по старомодному красиво написанная, — кругло, ярко и цѣльно, — является однимъ изъ крупныхъ „человѣческихъ документовъ“, которые когда-либо даны были писателемъ о самомъ себѣ; она раскрываетъ намъ, при всей своей кажущейся простотѣ и прямолинейности, сложность и загадочность, присущую душѣ всякаго даровитаго человѣка, углубляющагося въ самонаблюденіе. И это самонаблюденіе дѣлаетъ для насъ Альфіери не только интереснымъ психологическимъ явленіемъ, но и родоначальникомъ новаго типа людей.

Истый сынъ своей эпохи и своей страны, Альфіери,— предтеча того индивидуализма, который такъ пышно расцвѣтаетъ во всѣхъ великихъ твореніяхъ на рубежѣ 18—19 в.в., индивидуализма, который завершается творчествомъ и жизнью Байрона и, какъ особая душевная болѣзнь, вѣдряется въ европейскую мысль многихъ послѣдующихъ поколѣній, вплоть до нашихъ дней. „Міровая скорбь“ находитъ въ Альфіери первую свою жертву. „Духъ отрицанья и сомнѣнья“, тоска и недовольство собою, внутреннее безпокойство и полная неудовлетворенность жизнью и всѣмъ міромъ,—долго угнетаютъ его. Противъ этой болѣзни у поколѣнія Альфіери есть средство, которое утрачено послѣдующими, пережившими великую французскую революцію. Это поколѣніе еще страстно вѣруетъ въ начала Разума и Свободы, провозглашенныя новыми мыслителями. И когда Альфіери начнетъ проводить эти начала въ жизнь и въ литературу, работая ради собственной славы на пользу всего человѣчества, тогда уныніе и скорбь уступятъ мѣсто бодрости и радости. Такой кризисъ пережилъ Альфіери и съ мелкими подробностями рассказалъ его въ своей „Жизни“. Онъ могъ бы пережить и второй кризисъ: утратить вѣру въ Разумъ и Свободу. Основаніе для этого у него было: не говоря уже о томъ, что онъ потерялъ въ французскихъ бумагахъ значительную часть своего состоянія, онъ видѣлъ въ Парижѣ первые кровавые ужасы революціи; и даже, если бы не удалось во время переѣхать границу, онъ самъ бы попалъ на эшафотъ съ другими аристократами. Изъ этого жестокаго опыта онъ не вынесъ ничего, кромѣ ненависти къ французской націи. Переворота въ мысли, новаго перелома душевной жизни отъ кровавыхъ дней Парижа онъ не испыталъ. Жизнь его и послѣ

этого продолжала течь все по тому же, въ 25-лѣтнемъ возрастѣ проложенному, руслу. Другіе люди, пережившіе разочарованіе великой революціей и поколебленные ею и въ своемъ безвѣрїи „вѣка Просвѣщенія“ и въ своей вѣрѣ въ Разумъ и Права человѣка, люди иной расы и иного душевнаго склада,—навсегда остались съ болью сердца, которой дано было, со всѣми ея разнообразными и сложными проявленіями, общее названіе міровой скорби. Но человѣкъ латинской расы, хотя и воспитавшійся на Монтескье и Вольтерѣ, Альфіери, благодаря преемственности классическихъ традицій—римскихъ и итальянскихъ—не испыталъ этой душевной раздвоенности и остался вѣренъ своимъ молодымъ идеаламъ.

Идеалы эти вполне согласуются съ аристократизмомъ и происхожденія и духовной природы его. Это—прежде всего гордость, несовмѣстимая съ зависимостью отъ кого-бы то ни было. Затѣмъ—любовь къ славѣ. Слава—похвала людей за какія-либо дѣянія. Языческій культъ славы,—столь противоположный христіанской добродѣтели смиренія,—съ особой силой проявился въ эпоху Возрожденія, когда похвала воздавалась всякому яркому проявленію личности независимо отъ его нравственнаго характера. 18-й вѣкъ, отрицая всю основу христіанской морали и выдвигая на мѣсто ея культъ человѣчества, возстановилъ и значеніе славы людской, приобретаемой за полезныя для всего человѣчества дѣянія. Слава—это и есть основа всѣхъ мечтаній и пока еще мало осознанныхъ желаній гр. Альфіери, когда, возвратившись изъ заграничнаго путешествія 24-лѣтнимъ богатымъ, свободнымъ молодымъ человѣкомъ, онъ основывается въ Туринѣ. Прославиться полезной дѣятельностью—вотъ что становится скрытою и ему самому еще не совсѣмъ ясною цѣлью существованія; или, какъ онъ говоритъ, начиная четвертую часть своего жизнеописанія, найти „полезный и похвальный исходъ кипѣнію моего пылкаго, нетерпимаго и высокоумнаго нрава“. Долго не находитъ онъ этого исхода. Долго мучится онъ скукою своей жизни моднаго франта. Онъ отмѣчаетъ

въ дневникахъ лѣнь, апатію, праздность, любовь къ пустякамъ. Не сразу открываетъ онъ и свое литературное призваніе. Помѣхою тому служатъ и соблазны тщеславія, щегольство, увлеченіе нарядами, страсть къ лошадямъ и другія прихоти обезпеченнаго, ничѣмъ не занятаго чело-вѣка. Впрочемъ, это же тщеславіе даетъ и первый толчекъ къ литературѣ. Успѣхъ его остроумія, блескъ, язвительность и проникательность его ума въ кружкѣ сверстниковъ, съ которыми онъ учреждаетъ шутовскую пародію зазданій масонской ложи съ чтеніемъ докладовъ, выборами и т. д., успѣхъ заставляеть его обратить вниманіе на свое дарованіе.

Другое, болѣе серьезное, чѣмъ внѣшнее тщеславіе, препятствіе къ существованію сообразному съ его высшими побужденіями,—недостатокъ внутренней свободы. Съ юныхъ лѣтъ такъ дорожившій своею независимостью, Альфіери часто бывалъ рабомъ своей страсти къ женщинѣ. Онъ уже три раза пережилъ безумную, несчастную страсть, надолго, несмотря на перемѣну мѣста, окрасившую въ мрачный цвѣтъ всю его внутреннюю жизнь. Чувство зависимости отъ женщины, которую онъ не могъ ни уважать, ни даже любить настоящею сердечною любовью, не мирилось ни съ суровой природою его нрава, ни съ гражданской доблестью, которая жила въ его мечтѣ. Этотъ свой „плѣнъ страстей“ онъ очень откровенно и краснорѣчиво излагаетъ въ „Жизни“, также, какъ и курьезный способъ борьбы съ своею послѣдней недостойной его любовью. Онъ вышелъ побѣдителемъ изъ борьбы и порвалъ цѣпи, которыя казались унижительными для него, какъ для чело-вѣка новыхъ взглядовъ, для большинства же въ то время были явленіемъ вполне естественнымъ, освященнымъ всѣмъ бытомъ свѣтскаго общества. Между тѣми средствами, которыми онъ спасался отъ дикой своей страсти, былъ и усидчивый умственный трудъ. Въ немъ-то онъ и нашель, наконецъ, свое призваніе. Онъ зналъ, что силу своихъ чувствованій онъ могъ излить въ одномъ только родѣ литературы—въ трагедіи и онъ поставилъ

себѣ цѣлью стать трагическимъ поэтомъ. Обстоятельно, шагъ за шагомъ рассказываетъ онъ, съ какимъ упрямствомъ онъ добивался нужнаго ему знанія и умѣнья и какія трудности преодолѣвалъ. Напомню одно: онъ долженъ былъ выучиться языку, на которомъ онъ хотѣлъ писать стихи. Онъ говорилъ, читалъ, писалъ—дневники и письма—по французски; итальянскій языкъ классиковъ еле понималъ—въ ежедневномъ обиходѣ былъ пьемонтскій жаргонъ. Ему нужно было „расфранцузиться“, по его выраженію, и „отосканиться“ (изучить тосканское нарѣчіе, которое было языкомъ классиковъ). И вотъ, войдя уже во вкусъ творчества, создавъ первый свой опытъ трагедіи, „Клеопатру“, засаживается онъ съ азартомъ школяра-педанта за ученье, весь всецѣло отдается этой новой страсти и находитъ тутъ вмѣстѣ съ глубокимъ нравственнымъ удовлетвореніемъ и дружбу и любовь.

Дружба на почвѣ одинаковыхъ вкусовъ и убѣжденій съ Франческо Гори Ганделлини, человѣкомъ литературно-образованнымъ, который становится судьей и цѣнителемъ его произведеній, длится всю жизнь. Вытекла дружба изъ общей имъ потребности—„облегчить сердце, переполненное одинаковыми страстями“. Гори подарилъ своему другу Маккіавелли. Только что изучивъ съ восторгомъ Тита-Ливія, Альфіери, читая Маккіавелли, самъ съ дѣтства проникнутый ненавистью ко всякому угнетенію и притѣсненію, такъ воспламенился, что сразу написалъ двѣ части своего трактата о „Тираниі“, который напечатанъ былъ много лѣтъ спустя. „Пламя молодости и благороднаго справедливаго негодованія“—вотъ что больше всего связывало молодыхъ людей. Такъ и у насъ, 40 лѣтъ почти спустя, Пушкинъ писалъ Чаадаеву: „И на обломкахъ самовластья напишемъ наши имена“. А еще однимъ поколѣніемъ позже Герценъ съ Огаревымъ заключили союзъ молодой дружбы во имя тѣхъ же высокихъ идеаловъ. Не находя поддержки въ общественной жизни, молодежь стремится къ возвышеннымъ цѣлямъ, укрѣпляя ихъ въ себѣ союзомъ родственныхъ индивидуальностей.

Какъ дружба съ Гори непохожа была на тотъ товарищескій кружокъ въ Туринѣ, который ради пустой забавы Альфіери собралъ около себя, такъ и его новая любовь—союзъ, заключенный также на всю жизнь—непохожа была ни на прежнія его увлеченія, ни на тѣ чувства, которыя преобладали въ тогдашнемъ обществѣ. Новая страсть Альфіери къ графинѣ Альбани не только не служитъ препятствіемъ къ цѣлямъ его жизни, а, напротивъ, принимаетъ форму отношеній, которыя ему представляются наиболѣе соответствующими высокому назначенію поэта. Поставивъ себя задачей стать поэтомъ—подражателемъ древнихъ—и глубоко вдавшись въ изученіе итальянскихъ классиковъ, Данта, Петрарки, Аріосто и др., Альфіери старается и своей любовной связи придать характеръ, заимствованный изъ образцовъ старой итальянской поэзіи. Его дама сердца, его „Госпожа“ (Signora), вдохновительница его поэзіи это—подобіе Беатрисы и Лауры. Онъ превозноситъ свою любовь, гордится ею, всю жизнь казалось бы кладетъ къ ногамъ своей музы; а въ дѣйствительности, связь эта часто ставитъ его въ противорѣчіе съ тѣмъ идеаломъ доблестной свободы и независимости, который онъ стремится воплотить жизнью и поэзіею. О нѣкоторыхъ изъ этихъ противорѣчій, какъ, напр., объ аудіенціи у папы, онъ покаянно говоритъ въ своей „Жизни“; другія, болѣе постыдныя, совсѣмъ обходитъ молчаніемъ: они нарушили бы ту цѣльность, которую онъ хотѣлъ придать своей жизни, ту строгость яснаго опредѣленнаго идеала, по которому этотъ свободный умъ строилъ свое существованіе. Но живая жизнь не укладывается въ тѣсныя рамки шаблоновъ и подражательныхъ идеаловъ, въ какія ихъ пытаются вогнать умъ и воля человѣка. Потому романъ Альфіери съ гр. Альбани не только очень яркая страница давно исчезнущаго быта, но имѣетъ и свой психологическій, и нравственный интересъ.

Кто же была эта муза нашего поэта? По рожденію своему она принадлежала къ тому дворянству Священной Римской Имперіи, которое по рангу не уступало короно-

ваннымъ особамъ; и изъ него потому выбирались невѣсты для наслѣдниковъ разныхъ европейскихъ престоловъ. Богато одаренная отъ природы, гр. Луиза Стольбергъ получила соотвѣтствующее своему аристократизму французски-космополитическое воспитаніе: она владѣла четырьмя языками, была хорошая музыкантша, имѣла вкусъ къ изящнымъ искусствамъ. Впослѣдствіи она была начитана въ философіи, водила знакомство и обширную, собранную и напечатанную теперь, переписку съ выдающимися людьми Европы, держала и во Флоренціи и въ Парижѣ блестящій салонъ. На 20 году она была выдана замужъ за гр. Альбани, послѣдняго изъ Стюартовъ, претендента на англійскій престолъ, занятый тогда Ганноверскою династіей. Карлъ-Эдуардъ, сынъ Якова II, женился на ней, будучи уже 50 лѣтъ; женился по указанію Версальскаго двора, чтобы имѣть законнаго наслѣдника своихъ династическихъ притязаній. Французскому правительству эти притязанія нужны были какъ постоянная угроза англійскому правительству; оно потому и субсидировало претендентовъ. Смолоду Карлъ-Эдуардъ, по матери изъ польскаго рода Собѣсскихъ, своимъ рыцарскимъ благородствомъ плѣнилъ сердца своихъ приверженцевъ въ Шотландіи и легенда окружила поэтическимъ ореоломъ его неудачную попытку овладѣть Великобританскимъ престоломъ. Но пораженіе, которое онъ потерпѣлъ, и бездѣятельная жизнь на средства, которыя ему выдавались иностранцами, уничтожили слѣды всякаго рыцарства и романтики. Ко времени своей женитьбы онъ уже опустился, одряхлѣлъ, началъ пьянствовать. Бракъ съ миленькой, веселой, интеллигентной дѣвушкой нѣсколько оживилъ его, — но прошло года два и она почувствовала себя одинокой и несчастной: мужъ былъ скученъ, всегда пьянъ, грубъ, самъ ничѣмъ не интересовался и ее ни на шагъ отъ себя не отпускалъ — отчасти изъ животной ревности, отчасти изъ династическихъ соображеній: на рожденіе наслѣдника, если бы онъ появился, не должно было падать и тѣни сомнѣнія. Но и наслѣдникъ не являлся, и шансы на пре-

столь давно уже становились все болѣе и болѣе гадательными. Супруги жили во Флоренці на виду у всего общества и печальное существованіе молодой женщины всѣмъ было хорошо извѣстно. Въ это-то время она и встрѣтилась съ гр. Альфіери, который прїѣзжалъ во Флоренцію изучать на мѣстѣ тосканское нарѣчіе. Высокій, стройный, бѣлолицый, съ густою косою рыжихъ волосъ, въ красивомъ сардинскомъ мундирѣ, который онъ носилъ только изъ щегольства, 27-лѣтній красавецъ, сдержанный, серьезный, съ строгими чертами лица, съ высокимъ лбомъ и умными глазами, Альфіери сразу плѣнился молодой женщиной, свѣтски обходительной и оживленной умственными интересами. Взаимность была неминуема и, по мѣрѣ того, какъ молодые люди сближались подъ надзоромъ ревниваго старика, тотъ все болѣе входилъ въ роль жестокаго угнетателя добродѣтельной своей жертвы и тѣмъ все болѣе воспламенялъ и любовь, и негодованіе ея высоконастроеннаго поклонника. А добродѣтельною жена графа Альбани — эту фамилію носилъ за границей Карль-Эдуардъ, титуловавшій себя королемъ Англїи и Франціи — выдѣлялась не меньше, чѣмъ образованіемъ. И то и другое было тогда чуждо итальянской женщинѣ. Вспомнимъ, что это было время крайней распущенности нравовъ въ Италїи. Тогда всякая свѣтская молодая женщина въ теченіе двухъ первыхъ годовъ замужества обзаводилась поклонникомъ, чичисбео, т. е. официально состоявшемъ при ней любовникомъ, который сидѣлъ въ ея уборной, когда она кончала туалетъ, сопровождалъ ее по визитамъ, въ театрахъ, на балахъ и фактически въ свѣтскихъ обязанностяхъ замѣнялъ законнаго мужа; а тотъ такимъ же образомъ занятъ былъ около жены другого. Нарушеніе супружеской вѣрности возводилось чичисбеизмомъ въ цѣлую общепризнанную организацію, гдѣ давалась воля всякимъ капризамъ чувства и чувственной прихоти. Женщина не вредила своей репутаціи, если при одномъ *cavaliere servente* за ней ухаживала цѣлая вереница поклонниковъ, начиная съ кардиналовъ Святой Католической Церкви

и кончая пѣвцами исполнявшими женскія роли въ тогдашней оперѣ. Естественно, что при такихъ нравахъ ревность могла быть терпима между любовниками, но немислима была между супругами. И потому въ глазахъ того высшаго общества, къ которому принадлежалъ гр. Альбани, ревность мужа съ его нескрываемою грубостью возбуждала справедливое негодованіе, добродѣтель жены— полное недоумѣніе, а роль гр. Альфіери—общее одобреніе. Но Альфіери былъ ччисбео по неволѣ и самъ понималъ свою роль гораздо возвышеннѣе, чѣмъ свѣтское общество; да и обоихъ супруговъ положеніе претендента и иностранное происхожденіе ставило выше окружающей среды; а графиню Альбани, кромѣ того, личныя качества ума и нрава озаряли совершенно исключительнымъ ореоломъ. Перипетии этой любви, которая долгое время должна была оставаться платонической, подробно сказаны въ «Жизни». Отмѣтимъ въ нихъ одно: когда, по происшествіи семи лѣтъ, графиня Альбани получила, наконецъ, полную свободу и любовники очутились подъ одной кровлей, ихъ союзъ не завершился бракомъ. Въ письмахъ граф. Альбани того времени есть намеки на то, что о супружествѣ съ поэтомъ и о возможности имѣть отъ него дѣтей она тогда помышляла. Но бракъ и семья не входили въ тотъ заранѣе установленный планъ жизни поэта, гражданина и патріота, по которому Альфіери строилъ свою жизнь. Къ тому же и денежные его дѣла не позволяли мечтать о роли отца семейства: изъ любви къ свободѣ мысли и творчества онъ отказался отъ своего состоянія въ пользу сестры и довольствовался рентою, получаемою отъ этой сестры. Рента была хотя и значительная, но хватала только на одинокое существованіе. И у самой гр. Альбани были соображенія тоже денежные, препятствовавшія браку. Какъ разведенная жена, а потомъ и какъ вдова претендента, она продолжала пользоваться субсидією, которая уплачивалась послѣднему изъ Стюартовъ и которая съ новымъ ея замужествомъ должна была прекратиться. Зависимость музы-вдохновитель-

ницы поэта отъ правительства, къ которому онъ относился враждебно и презрительно, является диссонансомъ въ жизни этого послѣдовательнаго и упornaго въ преслѣдованіи своихъ цѣлей идеалиста. Но онъ диссонанса не чувствуетъ. Мало того. Графиня Альбани постоянно была окружена внѣшними знаками своего мнимо-королевскаго достоинства: въ залѣ ея стоялъ тронъ, прислуга была въ королевскихъ ливреяхъ, посуда, вещи всѣ носили государственные и династическіе гербы Англии и Стюартовъ—и этотъ вышурный блескъ уживался съ республиканскою правдивостью и независимостью мысли и характера самаго графинѣ Альбани близкаго человѣка. Наконецъ, французенка по духу и по воспитанію, она держала въ Парижѣ литературный салонъ, а вся свѣтская жизнь Парижа противна была Альфіери съ юныхъ его лѣтъ. Хотя общій духъ его возрѣній и навѣянъ былъ предреволюціонной Франціей, но идеалы его зрѣлаго возраста съ явною подражательностью классикамъ не вмѣщали всего того, чѣмъ кипѣла и волновалась французская мысль конца 80-хъ годовъ того вѣка. Педантически замкнувшійся въ классикахъ, увлеченный теперь исключительно риторическою стороною гражданской доблести, которою онъ смолоду такъ пламенѣлъ, Альфіери чуждъ былъ области и экономическихъ вопросовъ, и философски-научныхъ и, еще того болѣе, тѣхъ сантиментально-филантропическихъ увлеченій вѣка, слезливая чувствительность которыхъ не мирилась съ его высокомѣрно-суровымъ нравомъ. Паѳосъ, многогѣчивость, разносторонность, весь блескъ риторики французскихъ салонныхъ говоруновъ противенъ былъ духу его риторики, рѣзкой, сжатой по формѣ, обличительной и независимой по содержанію. Впрочемъ, протестъ противъ тираніи, борьба съ правительственною властью были издавна и его заветной мечтой; оттого, когда раздались первые громы революціи, онъ вмѣстѣ съ граф. Альбани сталъ на сторону угнетаемыхъ и притѣсняемыхъ. Онъ даже лично выступилъ на защиту народной свободы: какъ иностранецъ

и человекъ независимый, онъ въ 1789 обратился къ Людовику XVI съ письмомъ, въ которомъ просилъ его предупредить желаніе народа, даровать ему свободу и тѣмъ прославиться на всѣ времена больше, чѣмъ когда какой-либо правитель. Взятіе Бастиліи вдохновило его на оду. Это событіе онъ считалъ концомъ революціи, также какъ и Созывъ Національнаго Собранія. Но дальнѣйшія революціонныя дѣйствія обманули ожиданія салонныхъ пророковъ и теоретиковъ народнаго освобожденія. Беспорядки продолжались: Тюльерійскій дворецъ былъ занятъ народомъ, королевское семейство посажено въ тюрьму, началось преслѣдованіе всѣхъ привилегированныхъ... Свободолюбивому поэту съ трудомъ удалось вырваться изъ предѣловъ Франціи. Это было въ 1792 году.

Во время пребыванія своего въ Парижѣ Альфіери затѣялъ печатаніе своихъ произведеній въ лучшей тогда типографіи Дидо. Обработка, исправленіе рукописей, завѣдываніе корректурами и всѣми деталями печатанія наполняли его время и отвлекали мысль отъ современности. Творить при тяжелыхъ обстоятельствахъ, какія тогда переживались Франціей, ему не было возможности: слишкомъ жестоко смѣялась жизнь надъ иллюзіями и головными идеалами. И врагъ всякой тираніи,—какъ правительственной, такъ и народной,—Альфіери отвертывался отъ живой дѣйствительности и уходилъ весь въ книги и въ свое прошлое. Возвышенная мечта объ античной свободѣ и доблести была жизнью поругана. Въ этомъ винилъ поэтъ не самую мечту, не ея призрачность, а тѣхъ болтуновъ-французовъ, которые ничего не могли провести въ жизнь какъ слѣдуетъ. Когда книги его были напечатаны, а та слава, которую онъ поставилъ цѣлью всей жизни и всѣхъ своихъ усилій и трудовъ, была этимъ печатаніемъ обезпечена, онъ оглянулся на себя. Не видя передъ собою никакого дѣла, движимый горестными предчувствіями, въ 1790 году онъ сталъ писать свою автобіографію. Черезъ 13 лѣтъ онъ вернулся къ ней и закончилъ ее незадолго до смерти, въ 1803 г., отчетомъ о

последнихъ годахъ своего зрѣлаго возраста и своей старости.

Эти послѣдніе годы онъ доживалъ во Флоренціи вмѣстѣ со своей „Госпожей“. Чета ихъ привлекала въ домъ и лучшее итальянское общество и знатныхъ путешественниковъ-иностранцевъ; онъ—своею славою трагическаго поэта, создавшаго новую эру въ итальянской литературѣ, она—обаятельностью свѣтской, умной, опытной хозяйки его салона. Жизнь извнѣ блестящая, извнутри была тускла и бѣдна содержаніемъ. Связь поэта съ его музой съ годами приняла видъ законнаго брака съ бездѣтнымъ очагомъ, въ которомъ для старѣющихъ супруговъ не было настоящаго тепла и свѣта. Онъ педантично распредѣлилъ всю жизнь свою,—во сколько лѣтъ онъ сколько напишетъ, прочтетъ, переведетъ, комментируетъ; также педантично расписанъ былъ и день его. Она изучала философію, интересовалась живописью, поддерживала множество литературныхъ и свѣтскихъ знакомствъ, и перепискою и живымъ общеніемъ. Альфіери теперь какъ бы закованъ въ своихъ классикахъ. Молодость, кипѣвшая негодованіемъ, сила горячихъ чувствъ и убѣжденій, послужившая импульсомъ къ созданію трагедіи, возвышенная любовь къ дамѣ сердца,—невинной жертвѣ мужа-тирана,—все ушло въ прошлое, обезцвѣтилось, принизилось, измельчало. Ни онъ, ни она не страдали отъ ложнаго положенія, въ которое ихъ ставила жизнь. Тѣмъ не менѣе, Альфіери,—всегда къ себѣ правдивый,—говоря о поѣздкѣ съ своей „Госпожей“ въ Англію въ 1790 г., утаилъ въ автобіографіи главную причину этой поѣздки; впрочемъ, онъ и всегда очень легко и осторожно касался всѣхъ обстоятельствъ жизни графини. Онъ говоритъ въ „Жизни“, что ей хотѣлось видѣть страну, которая пользовалась настоящею политической свободой. Въ дѣйствительности ей хотѣлось попытать счастья и поправить финансы, разстроенные паденіемъ французскихъ бумагъ. Откинувъ тѣ династическія притязанія, отъ которыхъ она не отказывалась ни при жизни мужа, ни послѣ его смерти, она являлась къ англій-

скому двору, не какъ вдова претендента на престолъ, а какъ великобританская подданная, хлопотать о какой-нибудь милостивой подачкѣ. Она ничего не добила, хотя и удостоилась быть принятой королемою.

Единственнымъ произведеніемъ этой послѣдней поры Альфіери, въ которомъ вылилось его еще горячее, живое чувство, былъ *Misogallo*, сборникъ разныхъ статей, эпиграммъ, сатиръ, памфлетовъ и т. п., посвященный порицанію и осмѣянію французовъ и весь проникнутый страшною къ нимъ ненавистью. Книга злая и несправедливая. Ненависть эта имѣетъ нѣкоторое оправданіе: она является и выраженіемъ отвращенія Альфіери къ милитаризму, овладѣвшему революціонной Франціей и подготовившему Бонапартовское нашествіе на Европу, и выраженіемъ, хотя бы въ отрицательной формѣ, патріотическихъ чувствъ, которыя должны были пробудить въ Итали ея національное самосознаніе. Другія драматическія и лирическія упражненія Альфіери не увеличиваютъ его поэтической славы: тщательно обработанныя по формѣ, эти подражанія классическимъ образцамъ не обладаютъ ни настоящей непосредственной силой поэзіи, ни прочувствованнымъ содержаніемъ. Онѣ свидѣтельствуютъ только о томъ, какъ однообразна и безотраднo скучна была внутренняя жизнь когда-то пылкаго поэта, вся ушедшая теперь въ черствое педанство. Тотъ орденъ, который онъ сочинилъ за литературныя заслуги и которымъ онъ, врагъ службы и служебныхъ почестей и отличій, украсилъ самого себя, какъ онъ о томъ повѣствуетъ въ автобіографіи, говоритъ о томъ же самомъ. Отъ скуки онъ сочинилъ и латинскую эпитафію, которая должна была украшать гробницу и его и „Госпожи“ его. Но графиня Альбани надолго пережила его. Онъ умеръ на ея рукахъ и она во время болѣзни ухаживала за нимъ какъ вѣрная жена. Но насчетъ этой вѣрности въ обществѣ ходили разные слухи: и близкій ихъ дому французскій живописецъ Фабръ, оставившій въ галереѣ Уффици два прекрасныхъ портрета этой четы, считался соперникомъ Альфіери; да и самъ поэтъ

измѣнялъ своей дамѣ самымъ буржуазно-пошлымъ образомъ. Свободный союзъ сердецъ, такъ поэтически заключенный, завершился плоскимъ адюльтеромъ, какъ самый прозаическій бракъ. Альфіери, не находя себѣ живого дѣла и ненося въ себѣ живого чувства къ окружающей жизни, не вносилъ ни тепла, ни поэзіи въ существованіе старѣющей женщины, лишенной и тѣхъ непосредственно живыхъ впечатлѣній, которыя даетъ семейному очагу подрастающее потомство. А этой потребности ея сумѣлъ удовлетворить молодой художникъ, другъ ея поэта... Самъ же поэтъ зачерствѣлъ раньше времени, въ 40 лѣтъ! Почему? Отчасти по винѣ окружавшей его жизни: Франціи онъ не могъ любить, Италія сама была мертва; она только привѣтствовала его поэзію, какъ трубный звукъ, призывавшій ее къ воскресенію, но дать пищу дѣятельному его общенію съ родиной она не могла. Больше же всего въ краткости его настоящей живой жизни виновата сама индивидуальность его, которую раскрываетъ намъ его автобіографія.

„Жизнь Витторіо Альфіери изъ Асти, написанная имъ самимъ“ представляетъ собою не только лучшій источникъ для біографіи поэта, но имѣетъ самостоятельную художественную цѣнность, давно понятую европейскою критикою. Альфіери воспользовался своимъ,—и прирожденнымъ и выработаннымъ,—самонаблюденіемъ, прямою и ясною умомъ и правдивостью характера, чтобы прослѣдить свое развитіе съ ранняго возраста и вылѣпить яркую стильную фигуру 18 вѣка. Въ соотвѣтствіи съ тѣмъ міропониманіемъ, по которому онъ самъ создавалъ и строилъ свою жизнь, онъ придалъ этой фигурѣ строгость, цѣльность, вѣрность себѣ до мелочей; онъ, какъ художникъ, выдержалъ стиль фигуры во всѣхъ подробностяхъ. Отъ этого въ книгѣ получилась та правдивость въ цѣломъ и существенномъ, которой не вредятъ ни неточности въ фактическихъ деталяхъ,—эти невольныя погрѣшности памяти, если таковыя у автора есть,—ни утаиваніе или произвольное освѣщеніе событій, что такъ естественно

при ретроспективныхъ взглядахъ на жизнь. Въ этомъ произвольномъ освѣщеніи событій итальянская критика пыталась было недавно изобличить Альфіери, но не совсѣмъ успѣшно: правдивость его была восстановлена. Впрочемъ, если бы „Жизнь“, какъ документъ біографическій, въ какихъ-нибудь частяхъ своихъ и не заслуживала полного довѣрія, то это не умаляетъ художественнаго ея значенія. Въ ней сквозь призму времени, подъ чувствами давно минувшаго вѣка, глядитъ на насъ живая душа человѣка, страдавшаго въ поискахъ живого дѣла, поднятая этимъ дѣломъ на высоту, доступную немногимъ избранникамъ, и скоро истощившая въ высокомъ подвигѣ всѣ свои силы. Почему же онѣ такъ скоро истощились? Почему такъ кратковременно было истинное творчество поэта?

Натура эта была, прежде всего, больная и, въ силу болѣзненности, неуравновѣшенная. Только благодаря ясному уму и пламенной страсти умѣлъ Альфіери устранить въ себѣ препятствія къ высшимъ достиженіямъ. Физическую природу его надо причислить къ дегенеративнымъ. Какъ сынъ очень поздняго брака своего отца, онѣ является на свѣтъ съ организмомъ старчески надорваннымъ, функционирующимъ съ какими-то задержками и перерывами. Онѣ приводитъ нѣкоторые факты изъ своего дѣтства, свидѣтельствующіе о раннихъ проблескахъ честолюбія въ самолюбивомъ и упрямомъ ребенкѣ; но все это могло бы проявляться, а потомъ и запомниться ярче и рѣзче, если бы въ немъ было больше той игры непосредственныхъ стихійныхъ силъ, которая сказывается шалостями, причудами и забавами этого возраста. Повидимому, душевныя силы ребенка долго находились въ такомъ же оцѣпѣненіи, какое настало для него и въ преждевременной старости его, въ 40 лѣтъ. Тѣмъ сильнѣе запомнились и рассказаны имъ проявленія общей болѣзненности, вродѣ меланхоліи, ипохондріи, диспепсіи и т. п., которыя зависѣли отъ дефектовъ нервной организациі его и не были въ тѣ времена поняты ни окружающими, ни врачами. Тотъ же застой умственныхъ и сердечныхъ спо-

собностей наблюдается и въ школьномъ его возрастѣ. Онъ отрицательно относится къ образованію, которое давалось ему въ Туринской Академіи, этомъ придворно-пажескомъ заведеніи, куда аристократическія семьи изъ всей Европы посылали своихъ сыновей; онъ намѣренно, быть можетъ, подбираетъ факты и краски, подтверждающіе отрицательный взглядъ на школу. Но, вѣдь, и въ томъ сухомъ риторическомъ матеріалѣ, который онъ тамъ одолѣвалъ изъ-за отличій и наградъ, давалась все-таки нѣкоторая пища любознательности, давалась и возможность дисциплины и гимнастики для ума; а любознательность и гимнастика могутъ быть очень привлекательны свѣжему здоровому мозгу даровитаго школьника; но все привлекательное школьнаго ученія обходится молчаніемъ у Альфіери: очевидно, оно не оставило слѣда въ его душѣ, потому что не возбуждало здоровой дѣятельности мозга.

Дружескихъ связей,—этой потребности юнаго сердца,—которыми такъ впоследствии дорожилъ Альфіери, онъ тоже не вынесъ изъ школьнаго возраста. Товарищей, пріятелей онъ надолго сохранилъ и позднѣе много общался съ ними въ Туринѣ; но не случайно вышло такъ, что никто изъ нихъ не сталъ ему особенно дорогъ и близокъ; и не въ нихъ была тому причина. Въ натурѣ самого Альфіери, который не былъ, по внѣшнимъ условіямъ жизни, ни заброшеннымъ, ни обиженнымъ, ни угнетаемымъ, не было той общительности, которая является потребностью столько же ума, сколько и сердца: онъ былъ застѣнчивый, угрюмый, замкнутый въ себѣ юноша. Потребности чувства были подавлены его болѣзненнымъ самолюбіемъ, его непомѣрной гордостью и тѣмъ высокомеріемъ, которое способно было у болѣе живыхъ и уравновѣшенныхъ товарищей оттолкнуть проявленія всякой дружбы и симпатіи къ нему. Не встрѣчая въ нихъ участія къ себѣ, онъ и имъ платитъ холодностью и равнодушіемъ. Въ сердцѣ у него тоже оцѣпенѣніе, что и въ мозгу. Отсюда его одиночество, его безысходная тоска въ странствіяхъ по Европѣ, его скука свѣтскаго щеголя и—бѣшенная игра чувственной страсти.

Непомѣрная гордость и самолюбіе, о которыхъ такъ краснорѣчиво говоритъ Альфіери въ своей „Жизни“, начиная съ первымъ строкъ введенія, эта гипертрофія личности является тоже патологической стороною его натуры и составляетъ краеугольное основаніе всей жизни и дѣятельности. Онъ съ самыхъ юныхъ лѣтъ отмѣчаетъ въ себѣ это повышенное самосознаніе: сперва оно выражается и ребячливымъ желаніемъ выдѣляться внѣшностью, и обостренною чувствительностью ко всему, что касается его наружности, и пристрастіемъ къ щегольству, которое онъ сохраняетъ до самой возмужалости вмѣстѣ съ желаніемъ нравиться женщинамъ. Въ юношескомъ возрастѣ стремленіе возвышаться надъ общимъ уровнемъ протекаетъ у него не изъ потребности привлекать къ себѣ людей, искать ихъ одобренія, симпатіи и дружбы, а изъ желанія первенствовать, подавлять всѣхъ превосходствомъ, услаждать свое высокомерное я. Ничѣмъ не оправдываемое самомяніе его въ юности, не смягчаемое участіемъ къ людямъ, дѣлаетъ его одинокимъ и презрительно-холоднымъ наблюдателемъ слабостей и пороковъ своего времени. Острую наблюдательность эту прилагаетъ онъ и къ самому себѣ. Характерно для него, что онъ часто принимался за дневникъ,—это обычное прибѣжище одинокой души, когда она ищетъ овладѣть собою или среди разнообразія внѣшнихъ впечатлѣній, или среди обуревающихъ ее внутреннихъ противорѣчій чувства и инстинктовъ. Дневникъ онъ ведетъ смолоду, когда еще не нашелъ себя, когда онъ ищетъ то твердое и неизмѣнное, что дало бы смыслъ и цѣль его существованію. Подъ старость, когда эта основа уже найдена и закрѣплена въ творчествѣ, онъ не ведетъ дневника, а даетъ отчетъ самому себѣ въ сдѣланномъ, отмѣчая годъ за годомъ, когда что было имъ задумано, начато, обработано, кончено... Онъ всегда валять собою, но и всегда строгъ къ себѣ; особенно дневникъ его молодыхъ годовъ — сплошное обличеніе праздности, глупости, пустоты; да и въ „Жизни“ онъ не скуится на самоосужденіе. И въ этой строгости та же гордость, то же высокомеріе.

Эти природныя свойства имѣютъ огромное положительное значеніе въ его жизни. Они вызываютъ литературное честолюбіе его, тотъ страстный порывъ къ славѣ, который пробудилъ и направилъ къ единой цѣли всѣ дремавшія въ немъ духовныя силы. Но прежде чѣмъ выдти на путь общественнаго служенія, на путь славы и пользы человѣчеству, ему надо пройти еще тернистый путь самовоспитанія. Предстоитъ преодолѣть себя, излечить или побороть всѣ дефекты неуравновѣшенной природы, склонной къ необузданнымъ крайностямъ.

Противъ физическихъ недуговъ своей юности онъ инстинктивно находитъ средство въ верховой ѣздѣ и въ пребываніи на воздухѣ при путешествіяхъ въ экипажѣ, которыя онъ страстно любитъ. А борьба съ бурнымъ темпераментомъ, съ импульсивностью природы дается труднѣе. Онъ рассказываетъ на всегда памятный ему случай, какъ изъ-за неосторожно, при прическѣ выдернутаго волоса, онъ чуть было не убилъ до смерти своего вѣрнаго, отъ души ему преданнаго слугу. Онъ стыдился потомъ той раздражительности, гдѣ сила нервной возбудимости неизмѣримо превышаетъ причину возбужденія; гдѣ личность, гордая своей независимостью, ставитъ себя въ зависимость отъ минутныхъ настроеній своего физическаго, животнаго я. Еще болѣе страдалъ онъ отъ силы чувственной страсти, отъ рабства, въ которомъ могла держать его женщина. Изъ того, что онъ рассказываетъ про свою вспыльчивость и, главное, про борьбу, которую онъ велъ съ недостойною его любовью, видно, что прирожденная сила его воли была значительно слабѣе, чѣмъ сила его инстинктовъ. Къ тому же и здоровье измѣняло ему въ самыя критическія минуты: такъ, терзаясь страстью, противъ которой возмущались всѣ его лучшія чувства, онъ тяжело захварываетъ какою-то небывалою непонятною никому болѣзнию, очевидно, нервно-мозгового происхожденія. Если въ своемъ творествѣ поэтъ поражаетъ насъ силою, твердостью, стойкостью героическаго характера, сжатостью и суровостью своего стиха,—то эти признаки

мужественной воли оказались въ Альфіери качествами сознательно выработанными. Природная же сила воли уступала въ значительной степени влеченіямъ темперамента. Поучительнымъ считается анекдотъ, рассказанный имъ въ „Жизни“ о томъ, какъ онъ отрѣзалъ себѣ косу, безъ которой нельзя было показываться тогда въ обществѣ, какъ онъ потомъ привязывалъ себя къ креслу веревками, — все, чтобы запретить себѣ ходить къ предмету своей низкой страсти. Человѣкъ, обладающій крѣпкой силой внутри себя, станетъ ли прибѣгать къ мѣрамъ такого внѣшняго насилія, чтобы удержать себя отъ соблазна? И не воля обуздала, наконецъ, эту пылкость и неукротимость, а одна, — правда, болѣе высокая, — страсть побѣдила другую. Честолюбіе, овладѣвшее душою Альфіери въ разгаръ его чувственной страсти, помогло ему освободиться и найти въ самомъ себѣ то лучшее я, которое онъ нашелъ потомъ и въ достойной любви къ „Госпожѣ“ своей.

Любовь и дружба, поддержавшія его въ трудности и напряженности первыхъ литературныхъ работъ, раскрыли во всей полнотѣ внутреннее содержаніе его замкнутой въ себѣ натуры. Форма, какую онъ придалъ своему чувству къ графинѣ Альбани, это — обломокъ былого мистицизма и средневѣковаго поклоненія Мадоннѣ; заимствована она была въ образцахъ классической поэзіи Италіи и, въ сущности, также мало мирилась съ рационализмомъ и безвѣріемъ вѣка Просвѣщенія, какъ и съ чичисбензмомъ итальянскаго общества; это былъ необходимый компромиссъ и нѣчто, хотя риторически искусственное, но глубоко искреннее и серьезное. Поклоненіе „Госпожѣ“, ея кроткому нраву, уму и образованію, было одного происхожденія со всею литературною дѣятельностью Альфіери: оно шло изъ глубинъ его натуры; оно было такою же неискоренимой потребностью, какъ трагедія его, гдѣ, вооруженный мыслью и чувствомъ новаго вѣка, поэтъ изливалъ въ формахъ, заимствованныхъ у древнихъ, весь пылъ негодованія, обличенія и протеста. Искусственность и надуманность являются неизбѣжнымъ послѣдствіемъ того

напряженія воли, въ силу котораго работаетъ авторъ. Въ душѣ Альфіери, какъ и въ поэзіи его, какъ въ рѣзкости и жесткости его кованнаго стиха, не было непосредственнаго чувства, не было ни граціи, ни плавности, ни той широты своенравной фантазіи, которая раскрываетъ душу поэта „всѣмъ впечатлѣннѣмъ бытія“. Его натурѣ совершенно чужда была та внутренне-уравновѣшенная, какъ бы стихійная, сила, которая, незамѣтно и постепенно нарастая въ человѣкѣ, безъ принужденія и муштрованія, безъ порывовъ, судорогъ и скачковъ, безъ насилуванія волей и разсудкомъ,—которая течетъ какъ рѣка, только въ силу присущей ей естественной потребности движенія. Такого природнаго творческаго дара поэтовъ „милостью Божіей“ лишень былъ Альфіери. Импульсомъ его творчества была не стихійная сила таланта, а честолюбіе даровитаго человѣка, рѣшившаго оправдать свое самомнѣніе какъ въ своихъ глазахъ, такъ и въ глазахъ современниковъ и потомства, оправдать свободно избраннымъ служеніемъ человѣчеству. Эта задача подняла личную его жизнь на большую высоту. Поэзія, какъ изученіе и какъ творчество, была для него школой самовоспитанія, укрѣпленія въ себѣ воли, мужества, гражданской добродѣтели; такое же воспитательное дѣйствіе оказывала она въ послѣдствіи и на общество.

Отъ состоянія болѣзненно-оцѣпенѣлаго, преждевременно дряхлаго, отъ мелочнаго тщеславія, отъ узкаго самолюбія—къ мужественно-сильному и здоровому, къ высокому подъему дѣятельности во всей полнотѣ отпущенныхъ ему природой силъ и дарованій—таковъ былъ путь, начертанный для Альфіери его умомъ, страстною натурой и духомъ наступавшаго для Италіи новаго вѣка. Когда путь этотъ былъ имъ пройденъ, когда цѣль жизни была достигнута,—трагедіи напечатаны и слава упрочена,—идти дальше оказалось некуда. За какіе-нибудь 14 лѣтъ живой и полной жизни всѣ чувства, давашія ей смыслъ и содержаніе, были исчерпаны, потому что всѣ они вращались около одного главнаго центра—собственнаго я. Изжита была и любовь

къ свободѣ, и ненависть къ тираніи, и симпатіи къ притѣсняемымъ: опытѣ французской революціи показалъ, какъ легко притѣсняемые обращаются сами въ притѣснителей. Напряженная борьба, преодоленіе больныхъ сторонъ своего я, самовоспитаніе было закончено—и жить оказалось нечѣмъ. Оставалась, правда, привязанность къ „Госпожѣ“; оставались классики латинскіе и греческіе; но мы видѣли: это было только подобіе любви, только подобіе поэзіи. Создавъ самъ свою жизнь, онъ почувствовалъ естественное желаніе это свое созданіе увидѣть передъ собою въ ясномъ законченномъ образѣ литературнаго произведенія. И онъ написалъ свою автобіографію. Въ трагедіи онъ излилъ всѣ высокіе, благородные порывы души; въ „Жизни“ онъ высказался весь. Въ трагедіи онъ— крупный поэтъ 18 вѣка; въ „Жизни“ онъ—только человѣкъ, но человѣкъ крупный, натура широкаго размаха со всѣми сильными ея сторонами, и съ большими, темными и убогими. Шаткій, склонный ко всякимъ крайностямъ, зависимый отъ своихъ болѣзненныхъ аффектовъ меланхоликъ,—онъ создаетъ изъ себя сильнаго духомъ трагическаго поэта. Творецъ своей жизни является творцомъ и новыхъ цѣнностей, новыхъ настроеній въ родной литературѣ. Какъ ни узокъ, блѣденъ и безкровенъ кажется намъ теперь идеалъ, положенный въ основу его жизни, онъ имѣлъ, однако, огромное значеніе для развитія его родины. Роль трибуна-обличителя и роль гѣвца своей мадонны—теперь отзываются для насъ чѣмъ-то головнымъ и выдуманымъ, кажутся позой и аффектаціей. Не таковы онѣ были въ свое время: у Альфіери онѣ были естественнымъ продуктомъ мысли и чувства; поэтъ воодушевлялся ими съ полной искренностью. Иначе трагедіи его не могли бы оказывать на публику того дѣйствія, какое производили. Альфіери по праву гордился тѣмъ, что изъ Италіи Метастазіо онъ сдѣлалъ Италію Альфіери; т. е. въ Италіи, раболѣпствовавшей передъ Австріей, задавленной и ничтожными герцогами своими, и папами, и Бурбонами, его прямолинейно-суровая и страстная душа нашла сильное

слово и для новыхъ идей, и для новыхъ гражданскихъ чувствъ, создавшихъ новую Италію. Рано зачерствѣла душа поэта,—но дѣло ея было сдѣлано, подвигъ былъ совершенъ.

Въ этомъ интересъ и значеніе „Жизни, написанной имъ самимъ“. Пусть идеалы его устарѣли, пусть новымъ поколѣніямъ они кажутся шаблонными и мертвыми, пусть стильная фигура автора развѣнчивается (какъ пыталась это сдѣлать современная итальянская критика) изъ суроваго идеалиста въ тщеславнаго хвастуна,—пусть, имъ пройденный и описанный, никогда не утратитъ своего значенія. Это—пусть всѣхъ творцовъ новой жизни, творцовъ лучшаго будущаго.

Гордость высшихъ стремленій, преодолюющая низменность соблазновъ, этотъ аристократизмъ духа, совмѣщается у Альфіери съ аристократизмомъ старой расы, носительницы богатаго, культурнаго прошлаго; совмѣщается и со всѣмъ новымъ, что вноситъ въ жизнь его эпоха. Отжила эта эпоха: все навѣянное древнимъ міромъ замѣнилось у слѣдующихъ поколѣній подъемомъ патриотизма; а эта національная идея, въ свою очередь, смѣнилась социальными идеалами. Но та индивидуальность, которая вноситъ идею въ жизнь,—въ свою и въ общественную,—остается на вѣки. Ея упорство и настойчивость въ достиженіи своихъ предначертаній вознаграждаются и признаніемъ современниковъ и памятью потомства. Ея голосъ звучитъ на разстояніи десятилѣтій ободряющимъ призывомъ къ дѣятельности и неумирающимъ завѣтомъ: жить не силою личныхъ инстинктовъ, какъ бы соблазнительны ни были оправдывающія ихъ теоріи, строить жизнь не по прихоти индивидуальныхъ влеченій, а по тѣмъ началамъ совѣсти и разума, которыя выработаны коллективною мыслью всего человѣчества!

Такимъ завѣтомъ звучитъ и „Жизнь графа Витторіо Альфіери, написанная имъ самимъ“.

А. Андреева.

ПРЕДИСЛОВІЕ АВТОРА.

Plerique suam vitam narrare
fiduciam potius morum quam
arrogantiam arbitrati sunt.
Tacitus „Vita Agricolae“.

Страстная суббота, 3-го апрѣля 1790 года. Парижъ.

Говорить о себѣ, а тѣмъ болѣе писать о себѣ—такое желаніе, несомнѣнно, рождается отъ избытка любви къ себѣ. Я не собираюсь предпослать исторіи моей жизни ни пустыхъ извиненій, ни фальшивыхъ и призрачныхъ мотивовъ, которые вдобавокъ не встрѣтили бы ни у кого довѣрія и представили бы въ невыгодномъ свѣтѣ правдивость моего дальнѣйшаго повѣствованія. Сознаюсь прямодушно, что причина, заставляющая меня рассказывать свою жизнь, хотя и лежитъ, можетъ быть, еще и въ другихъ чувствахъ, но, главнымъ образомъ, заключается въ любви къ самому себѣ—въ дарѣ, которымъ въ большей или меньшей степени природа одѣлила всѣхъ людей, въ особенности же писателей и среди нихъ въ наибольшей мѣрѣ поэтовъ, или мнящихъ себя таковыми. И даръ этотъ—драгоценнѣйшая вещь; ибо онъ является двигателемъ всего великаго, если къ нему присоединяется отчетливое пониманіе средствъ, какія могутъ быть въ нашемъ распоряженіи, и просвѣщенное влеченіе къ истинѣ и красотѣ, что, впрочемъ, одно и то же.

Не останавливаясь на причинахъ общаго характера, я сразу перейду къ тѣмъ, которыя вытекли изъ моей любви къ себѣ; и расскажу здѣсь вкратцѣ, какъ я предполагаю выполнить свой планъ.

Такъ какъ я много—и, можетъ быть, больше, чѣмъ слѣдовало,—писалъ до настоящаго времени, естественно, что

въ небольшомъ числѣ тѣхъ читателей, которымъ я сколько-нибудь былъ приятенъ (если не среди современниковъ моихъ, то среди тѣхъ, которые придуть намъ на смѣну), могутъ найтись лица, которымъ захочется узнать, что я за человѣкъ. Считаю это вполне возможнымъ, не опасаясь быть нескромнымъ, такъ какъ ежедневно вижу весьма плодовитыхъ авторовъ, чьи заслуги, если судить строго, невелики, жизнь же которыхъ описывается, читается, или, по крайней мѣрѣ, біографія ихъ раскупаются. Такимъ образомъ, если бы у меня не было другихъ причинъ, кромѣ этой, всегда можно надѣяться, что послѣ моей смерти первый попавшійся книгопродавецъ, чтобы заработать нѣсколько лишнихъ soldi на изданіи моихъ работъ, захочетъ предпослать имъ кое-какія свѣдѣнія о моей жизни. И, по всей вѣроятности, возьмется за это кто-нибудь, кто мало зналъ, или совсѣмъ не зналъ меня, и кто будетъ искать матеріаловъ въ сомнительныхъ или пристрастныхъ источникахъ; откуда слѣдуетъ, что такая біографія, если и не будетъ совсѣмъ ложной, во всякомъ случаѣ, менѣе достовѣрной, чѣмъ та, какую я могу написать самъ. Тѣмъ болѣе, что писатель, который заинтересованъ въ прибыли издателя, обыкновенно не скупится на глупые панегирики автору, выходящему въ новомъ изданіи, въ расчетъ на лучшій сбытъ книги. Для того, чтобы эта исторія моей жизни была болѣе достовѣрной и не менѣе безпристрастной, чѣмъ всякая другая, которая можетъ быть написана послѣ меня, я, слѣдуя моей привычкѣ давать больше, чѣмъ обѣщаю, даю здѣсь обѣщаніе себѣ самому и своему читателю настолько удалиться отъ всякихъ пристрастій, насколько это возможно для человѣка; я принимаю это условіе, ибо, изслѣдовавъ и познавъ себя до самой глубины, я нашелъ, или, во всякомъ случаѣ, увѣровалъ въ то, что нашелъ въ себѣ въ общей суммѣ перевѣсъ добра надъ зломъ. Поэтому, если, быть можетъ, у меня не хватитъ мужества или откровенности сказать все, во всякомъ случаѣ, я не унижусь до лжи.

Что же касается до моего метода,—чтобы возможно

меньше наскучить читателю, дать ему отдыхъ и возможность выпускать то, что для него менѣе интересно, я предполагаю раздѣлить мое повѣствованіе на пять эпохъ, соотвѣтствующихъ пяти возрастамъ человѣческой жизни, и согласно съ этимъ озаглавить каждую изъ частей: Дѣтство, Отрочество, Юность, Зрѣлый возрастъ и Старость. Не могу льстить себя надеждой удержать до конца ту манеру, въ какой написаны первыя три части и половина четвертой, ту краткость, какой я искалъ и какую усвоилъ въ моихъ остальныхъ произведеніяхъ и какая, тѣмъ болѣе, была бы достойна всяческихъ похвалъ, что здѣсь рѣчь идетъ обо мнѣ. Много оснований опасаться относительно пятой части (если рокъ судилъ мнѣ узнать старость), что тутъ я могу впасть въ пустую болтовню, это послѣднее достояніе старческаго возраста. И если, платя наряду со всѣми дань природѣ, къ концу книги я начну слишкомъ нескромно о себѣ распространяться, прошу заранѣе читателя простить и въ то же время наказать меня, уклонившись отъ чтенія послѣдней части.

Кстати, прибавлю здѣсь, что и въ предыдущихъ четырехъ частяхъ я не былъ такъ кратокъ, какъ бы этого хотѣлъ и какъ это было нужно; но это не значитъ, что я впалъ въ смѣшныя длинноты и не умѣлъ отбрасывать излишнихъ мелочей; этимъ я хотѣлъ сказать лишь, что останавливался на многихъ частностяхъ, изученіе которыхъ могло бы послужить къ расширенію познанія о человѣкѣ вообще.

Человѣческій родъ таковъ, что тайны его можно лучше всего разгадать, изучая себя самого.

У меня нѣтъ намѣренія затрагивать здѣсь такія стороны, которыя касались бы жизни другихъ лицъ, переплетавшейся съ событіями моей жизни. Мои поступки—я на это шель; но разоблачать жизнь другихъ у меня нѣтъ никакой охоты. Я не затрону тутъ ни одного лица; или же сдѣлаю это въ безразличномъ или выгодномъ для затрагиваемаго лица отношеніи.

Изученіе человѣка вообще—вотъ главная цѣль этой книги. И о комъ можемъ мы говорить лучше всего и увѣреннѣе всего, какъ не о насъ самихъ? Кого другого намъ въ такой степени легко изучать? Кого другого мы знаемъ съ такой интимнѣйшей стороны? Кого можемъ допрашивать съ такой строгостью, кромѣ того, съ чьей глубиной глубинъ мы сжились въ теченіи столькихъ лѣтъ?

Что касается, наконецъ, стиля, я рѣшаю дать свободу моему перу и не удаляться отъ той простоты и непосредственности, съ какой набросаны эти страницы, продиктованныя сердцемъ, а не талантомъ; что вполнѣ соответствуетъ скромности предмета, въ нихъ описываемаго.

ЭПОХА ПЕРВАЯ.

ДѢТСТВО.

ПЕРВЫЯ ДЕВЯТЬ ЛѢТЪ.

ГЛАВА I.

РОЖДЕНИЕ и РОДИТЕЛИ.

1749.

Я родился въ пьемонтскомъ городкѣ Асти 17-го января 1749 года отъ знатныхъ, состоятельныхъ и честныхъ родителей. Отмѣчаю настойчиво эти три обстоятельства, имѣвшія для меня самыя счастливыя послѣдствія. Рожденный среди благородныхъ, я легко могъ, не возбуждая подозрѣній въ низкой зависти, презирать аристократію и разоблачать ея смѣшныя стороны, ея пороки и злоупотребленія; эта случайность происхожденія не мало способствовала тому, что я ни разу не запятналъ своего высокаго искусства. Состоятельность моей семьи помогла мнѣ сохранить свободу и чистоту души и служить только истинѣ. Такъ какъ я былъ сынъ честныхъ родителей, то мнѣ не приходилось краснѣть за то, что я принадлежу къ знати. Такъ, если бы хоть одно изъ этихъ трехъ условий моего происхожденія отсутствовало, это сильно отразилось бы на достоинствѣ моихъ работъ; и я сталъ бы худшимъ философомъ и худшимъ человѣкомъ, чѣмъ, быть можетъ, я сейчасъ.

Моего отца звали Антонио Альфіери, мать—Моника Майяръ-де-Турнонь. Она была родомъ изъ Савойи, о чемъ свидѣтельствуетъ эта чужеземная фамилія; но семья ея издавна жила въ Туринѣ. Отецъ мой, человѣкъ безупречной нравственности, никогда не занималъ

никакой должности и оставался свободнымъ отъ какихъ бы то ни было честолюбивыхъ стремлений: это всегда подтверждали мнѣ всѣ, кто знали его. Обладая достаточнымъ состояніемъ, чтобы жить, какъ жили люди его круга, умѣренный въ своихъ желаніяхъ, онъ велъ вполне благополучное существованіе. Уже въ возрастѣ пятидесяти пяти лѣтъ, влюбившись въ мою мать, въ ранней молодости оставшеюся вдовой маркиза Какерано, жившаго также въ Асти, отецъ мой вступилъ въ бракъ съ ней. Рожденіе первой дочери, за два года до моего рожденія, разбудило въ отцѣ желаніе и надежды имѣть сына; такимъ образомъ, мое появленіе въ этомъ мѣрѣ было необычайно торжественно. Думаю, что отецъ радовался мнѣ и какъ плоду своей старческой любви, и какъ наследнику имени и продолжателю рода. Меня отдали кормилицѣ въ мѣстечко Ровильяско, почти за двѣ мили отъ Асти, и отецъ каждый день ходилъ туда пѣшкомъ, чтобы взглянуть на меня; онъ былъ человѣкомъ очень простыхъ привычекъ.

Для своего шестидесятилѣтняго возраста онъ былъ еще очень бодръ и крѣпокъ, но ежедневная усталость отъ этихъ прогулокъ, не отмѣнявшихся ни въ какую погоду, повела къ тому, что однажды онъ, слишкомъ разгорячившись ходьбой, схватилъ простуду, отъ которой и умеръ, прохворавъ нѣсколько дней. Мнѣ не было тогда еще году. Мать осталась въ ожиданіи еще одного сына, который умеръ вскорѣ послѣ рожденія.

Такимъ образомъ, на рукахъ у матери остались сынъ и дочь отъ моего отца и сынъ и двѣ дочери отъ перваго мужа, маркиза Какерано.

Оставшись вторично молодой вдовой, мать скоро вышла замужъ за кавалера Гіацинта Альфіери-ди-Мальяно, младшаго въ нашемъ роду представителя другой его вѣтви.

Этотъ кавалеръ Гіацинтъ наследовалъ послѣ смерти старшаго бездѣтнаго брата все его состояніе и оказался весьма богатымъ. Моя превосходная мать наслаждалась полнымъ счастьемъ съ этимъ кавалеромъ Гіацинтомъ,

подходящимъ къ ней по возрасту, отличавшимся красотой и безупречнымъ поведеніемъ. Она всегда жила съ нимъ въ примѣрномъ согласіи и союзъ ихъ ничѣмъ не омраченъ донинѣ, когда пишущему эти строки исполнился срокъ одинъ годъ.

Тридцать семь лѣтъ длится союзъ этихъ людей, живыхъ образцовъ всѣхъ домашнихъ добродѣтелей, любимыхъ и почитаемыхъ всѣми ихъ согражданами; это особенно относится къ моей матери, которую героическая и страстная сострадательность заставила посвятить себя всецѣло на служеніе бѣднякамъ.

Въ теченіи этого долгаго времени она потеряла старшаго сына и вторую дочь отъ перваго брака; затѣмъ двухъ сыновей отъ третьяго мужа, такъ что теперь я остался ея единственнымъ сыномъ; а судьба моя сложилась такъ, что я не могу быть съ нею; это весьма часто наводитъ меня на печальныя размышленія. Но я страдалъ бы гораздо больше и никогда не ушелъ бы отъ нея, если бы не былъ такъ увѣренъ въ ея возвышенномъ и стойкомъ характерѣ, также, какъ и въ искреннемъ ея благочестіи, въ которомъ она находитъ возмѣщеніе разлуки своей съ дѣтьми.

Да простятъ мнѣ это отступленіе, быть можетъ, излишнее, во имя достойнѣйшей изъ матерей.

Г л а в а II.

ДѢТСКІЯ ВОСПОМИНАНІЯ.

1752.

Приступая къ повѣствованію о моемъ самомъ нѣжномъ возрастѣ, я долженъ сказать, что отъ времени младенческаго прозябанія у меня уцѣлѣло только одно воспоминаніе о дядѣ съ отцовской стороны; помню какъ онъ поставилъ меня на старомъ комодѣ—мнѣ было тогда года три или четыре—и, осыпая горячими ласками, угощалъ превосходными конфетами.

Его самого я совершенно забылъ, остались въ памяти лишь его большіе башмаки съ четырехъ-угольными носками.

Много лѣтъ спустя, когда я увидалъ однажды такого фасона башмакъ, какой носилъ мой дядя,—въ это время уже давно умершій,—видъ этой обуви, въ наши дни совершенно вышедшей изъ употребленія, пробудилъ во мнѣ всѣ ощущенія, какія я испыталъ тогда отъ ласкъ и конфектъ дяди, и манеры его и вкусъ этихъ конфектъ ожили въ моемъ воображеніи.

Я позволилъ моему перу запечатлѣть это дѣтское воспоминаніе, полагая, что оно можетъ имѣть свою полезность для тѣхъ, кто размышляетъ о механизмѣ нашихъ идей и ощущеній и объ интимной его тонкости. Когда мнѣ было около пяти лѣтъ, меня замучила дизентерія. И мнѣ кажется, въ умѣ моемъ брезжило сознаніе страданій, и хотя я не имѣлъ никакого понятія о смерти, я желалъ ея какъ избавленія и еще потому, что слышалъ передъ этимъ объ умершемъ братѣ, что онъ сдѣлался ангеломъ.

Несмотря на всѣ усилія припомнить еще что-нибудь изъ моихъ первыхъ мыслей или впечатлѣній до шестилѣтняго возраста, я никогда не могъ воскресить въ себѣ ничего, кромѣ этихъ двухъ воспоминаній.

Вмѣстѣ съ сестрой Юліей, повинувась перемѣнѣ въ судьбѣ нашей матери, мы должны были покинуть отчій кровъ и поселиться въ домѣ отчима, который былъ для насъ болѣе, чѣмъ отецъ все время, какое мы съ нимъ прожили. Дочь и сынъ моей матери отъ перваго брака ея были отосланы въ Туринъ—одинъ въ іезуитскую коллегію, другая въ монастырь; вскорѣ поступила въ монастырь и моя сестра Юлія, не покидая, впрочемъ, родного Асти. Тогда мнѣ было семь лѣтъ.

1755.

Я прекрасно помню это маленькое домашнее событіе, такъ какъ тогда впервые пробудились мои чув-

ства. Хорошо помню ту печаль, какую я тогда испытывалъ, и слезы, мной пролитыя, когда нужно было разставаться съ сестрой, хотя разлука состояла лишь въ томъ, что мы жили не подъ однимъ кровомъ, и вначалѣ я могъ видѣться съ нею каждый день. Позднѣе, когда я размышлялъ надъ этими чувствами, надъ этими первыми проявленіями чувствительности моей, я вижу, что они были тѣ же, какія я испытывалъ впоследствии, когда въ разгарѣ молодости мнѣ нужно было покидать любимую женщину или отрываться отъ истиннаго друга; до настоящаго времени я встрѣтилъ трехъ или четырехъ такихъ друзей—счастье, котораго лишены столько людей, можетъ быть, больше, чѣмъ я, заслуживающихъ его. Въ этомъ воспоминаніи перваго страданія моего сердца я нашелъ доказательство, что всѣ привязанности человѣка, какъ бы различны онѣ не были, истекаютъ изъ одного начала.

Оставшись единственнымъ ребенкомъ въ домѣ матери, я былъ отданъ на попеченіе одного добраго священника, по имени донъ-Ивальди, который познакомилъ меня съ первыми правилами ариѳметики, научилъ писать и привелъ къ тому, что я недурно, по его словамъ, рассказывалъ нѣкоторыя жизнеописанія Корнелія Непота и басни Федра. Но этотъ добрый священникъ былъ самъ очень невѣжественъ, какъ это я понялъ впоследствии, и если бы и послѣ девяти лѣтъ меня оставили въ его рукахъ, весьма вѣроятно, что я ничему бы не научился.

Мои родители сами отличались полнымъ невѣжествомъ и часто я слышалъ отъ нихъ поговорку, столь распространенную среди нашихъ дворянъ тогдашняго времени: „не зачѣмъ сеньору стремиться стать докторомъ“. Но у меня отъ природы была нѣкоторая склонность къ ученюю и съ той поры, какъ сестра покинула домъ, ничѣмъ незаполненное уединеніе, въ которомъ я жилъ вмѣстѣ съ учителемъ, отразилось на мнѣ меланхоліей и склонностью къ замкнутости.

Г л а в а Ш.

ПЕРВЫЯ ПРОЯВЛЕНІЯ СТРАСТНОСТИ МОЕЙ НАТУРЫ.

Здѣсь я долженъ отмѣтить одно очень странное обстоятельство, относящееся къ развитію во мнѣ чувства любви. Разлука съ сестрой надолго сдѣлала меня печальнымъ и въ то же время усилила мою серьезность. Посѣщенія дорогой сестры становились съ теченіемъ времени все болѣе рѣдкими, такъ какъ благодаря занятіямъ мнѣ стали позволять ихъ только въ дни праздниковъ или отпусковъ. Мало-по-малу, я нашелъ извѣстнаго рода отраду, смягчающую мое одиночество, въ привычкѣ посѣщать церковь кармелитовъ, примыкающую къ нашему дому, слушать музыку, созерцать церковную службу, видѣть монаховъ, процессіи и тому подобное. Спустя нѣсколько мѣсяцевъ я не думалъ уже такъ много о сестрѣ; а затѣмъ почти забылъ о ней, не зная другихъ желаній, кромѣ посѣщенія по утрамъ и днемъ кармелитской церкви. И это было вотъ почему: разставшись съ сестрой, которой было девять лѣтъ въ то время, какъ ее взяли изъ дому, я не видѣлъ другихъ дѣвочекъ и мальчиковъ, кромѣ нѣкоторыхъ кармелитскихъ послушниковъ, въ возрастѣ отъ четырнадцати до шестнадцати лѣтъ, въ бѣлыхъ стихаряхъ, прислуживавшихъ при церковныхъ службахъ. Ихъ юныя, отчасти женственные лица, оставили въ моемъ нѣжномъ и неопытномъ сердцѣ тотъ же слѣдъ и то же влеченіе къ себѣ, какъ нѣкогда запечатлѣно въ немъ лицо сестры. Въ общемъ подъ разными видами здѣсь таилась любовь; въ этомъ я убѣдился впоследствии, поразмысливъ основательно. Въ тѣ же времена я не давалъ себѣ отчета въ своихъ чувствахъ и дѣйствіяхъ, повинуюсь влеченіямъ природы.

Моя невинная любовь къ этимъ послушникамъ дошла до того, что я не переставая думалъ о нихъ и о ихъ различныхъ обязанностяхъ. То они вставали передъ моимъ воображеніемъ со своими благочестивыми свѣчами

въ рукахъ, участвуя въ мессъ съ ангельски сосредоточенными лицами; то я представлялъ ихъ себѣ съ кадильницами на ступеняхъ алтаря. Всецѣло поглощенный этими образами, я сталъ небрежно относиться къ учению и занятіямъ и всякое общество стало для меня несноснымъ.

Въ одинъ изъ такихъ дней, когда учителя со мной не было и я оставался совершенно одинъ въ комнатѣ, я розыскалъ слово «братья» въ итальянскомъ и латинскомъ словарѣ и зачеркнулъ его, замѣнивъ словомъ «отцы». Хотѣлъ ли я этимъ возвысить ихъ въ санъ или просто почтить маленькихъ послушниковъ, съ которыми ни разу не сказалъ ни слова,—кто знаетъ?

Меньше всѣхъ на свѣтѣ я самъ зналъ о томъ, чего хотѣлось мнѣ. Я слышалъ до этого, какъ слово «братъ» произносилось съ нѣкоторымъ пренебреженіемъ, а слово „отецъ“—съ почтеніемъ.

Это были, вѣроятно, единственныя основанія, заставившія меня внести поправку въ мои словари. И я тщательно и со страхомъ скрывалъ отъ учителя эти поправки, сдѣланныя очень неуклюже съ помощью ножика и пера; учитель ничего не подозрѣвалъ и, не догадываясь о нихъ, такъ объ этомъ и не узналъ. Для того, кто захочетъ поразмыслить надъ этими наивными выходками, въ нихъ откроется зерно страстей будущаго мужчины и онѣ не покажутся столь дѣтскими и смѣшными, какими могли представиться съ перваго взгляда.

1756.

Изъ этихъ странныхъ вспышекъ чувства, о которомъ я не имѣлъ еще никакого понятія, но которое уже дѣйствовало такъ могущественно на мое воображеніе, родилась въ то время та меланхолическая настроенность, которая мѣло-по-малу стала господствующей чертой моего характера. Однажды, въ возрастѣ между семью и во семью годами, когда я находился въ подобномъ состояніи, причину котораго, можетъ быть, нужно искать также и въ слабости моего здоровья, я воспользовался тѣмъ, что

наставникъ и слуга оставили меня одного и выбѣжалъ потихоньку на черныи дворъ, куда вела дверь изъ моей комнаты.

На этомъ дворѣ въ изобиліи росли сорныя травы, и я принялся рвать ихъ полными горстями и набивать ими ротъ, насколько это было возможно, съ ожесточеніемъ разжевывая и глотая жесткія листья и не обращая вниманія на ихъ горькій и ѣдкій вкусъ.

Я слышалъ, не помню когда, отъ кого и при какихъ обстоятельствахъ, что есть ядовитая трава, называемая цикутою, отъ которой можно умереть. У меня не было сознательнаго намѣренія и желанія умереть и я даже не понималъ, что такое смерть, но повинаясь темному инстинкту и печали, причина которой мнѣ также была невѣдома, я жадно набросился на эти травы въ надеждѣ, что между ними найдется и цикута.

Но невыносимая горечь и жесткость этого кушанья скоро заставила меня бросить его; почувствовавъ приступъ тошноты я спрятался въ садъ, примыкавшій ко двору, и тутъ, скрытый отъ всѣхъ взоровъ, освободился начисто отъ всей проглоченной мной отравы; вернувшись въ комнату, я молча переносилъ легкую боль въ тѣлѣ и спазмы въ желудкѣ. Наставникъ засталъ меня въ такомъ состояніи, но ни о чемъ не догадался, а я ничего не сказалъ ему. Скоро надо было идти обѣдать и мать, увидѣвъ мои красные и припухшіе глаза, какъ бываетъ послѣ рвоты, настойчиво стала разспрашивать меня, во что бы то ни стало желая узнать, что со мной случилось. Во время ея допроса колики желудка усилились и я не могъ продолжать ѣсть, но упорствовалъ въ нежеланіи отвѣчать. Итакъ, я старался выдержать молчаніе и одновременно скрыть испытываемую боль; а мать продолжала допрашивать и грозить. Всмотрѣвшись въ мое страдающее лицо и замѣтивъ, что губы у меня зеленныя,—я не догадался ихъ вымыть,—она испугалась, вскочила и, подбѣжавъ ко мнѣ, еще настойчивѣе стала требовать отвѣта; подъ влияніемъ страха и боли я въ слезахъ повинился ей во всемъ.

Мнѣ сейчасъ же дали какое-то лекарство и все окончилось благополучно, если не считать того, что въ наказаніе меня заперли на нѣсколько дней въ комнату; уединеніе же это дало новую пищу моей меланхоліи.

Г л а в а IV.

РАЗВИТІЕ ХАРАКТЕРА, НАБЛЮДАЕМОЕ ПО РАЗЛИЧНЫМЪ МЕЛКИМЪ ФАКТАМЪ.

15 апрѣля.

Вотъ каковъ былъ мой характеръ въ первые годы пробужденія моего сознанія.

Обыкновенно спокойный и молчаливый, необычайно живой и болтливый по временамъ, упрямый и своенравный передъ чрезмѣрной чужой настойчивостью, покорно поддающийся ласковымъ увѣщаніямъ, сдерживаемый больше всего страхомъ выговора, въ сильнѣйшей степени склонный къ смущенію и дерзко отстаивающій свою независимость тамъ, гдѣ не умѣли подойти ко мнѣ ласково.

Чтобы лучше дать отчетъ себѣ и другимъ въ этихъ первыхъ предположеніяхъ, которыя природа начертала въ моей душѣ, я изберу изъ многочисленныхъ маленькихъ исторій моего ранняго дѣтства двѣ или три, запомнившіяся мнѣ очень хорошо и живо рисующія мой характеръ. Изъ всѣхъ наказаній, которыя ко мнѣ примѣнялись, наибольшее горе, доводившее меня почти до болѣзни и повторявшееся всего раза два или три, было приказаніе идти къ обѣднѣ съ ночной сѣткой на головѣ—головной уборъ, совершенно скрывавшій волосы. Первый разъ, когда на меня было наложено это взысканіе (я не помню за что именно), я пошелъ съ учителемъ, почти тащившимъ меня за руку въ сосѣдную кармелитскую церковь, мало посѣщаемую, подъ огромными сводами которой едва собиралось человѣкъ сорокъ. Тѣмъ не менѣе это наказаніе такъ подѣйствовало на меня, что мѣсяца три я велъ себя

безупречно. Раздумывая впоследствии о причинах этого впечатлѣнія, я находилъ ихъ двѣ: одна заключалась въ мысли, что глаза всѣхъ должны были устремиться на мою сѣтку и что я, должно быть, очень смѣшонъ и безобразенъ въ ней, и всѣ должны признать меня за настоящего злодѣя, разъ я подвергнутъ такой ужасной карѣ; во-вторыхъ, я боялся, что меня увидятъ мои возлюбленные послушники; это по истинѣ разрывало мнѣ сердце.

Не есть ли это въ миниатюрѣ и твой портретъ, о, читатель, портретъ всѣхъ людей, уже жившихъ и тѣхъ, кто будетъ жить, ибо, правду говоря, всѣ мы дѣти, обреченныя навсегда оставаться дѣтьми.

Необычайное дѣйствіе этого наказанія преисполнило радостью моихъ родителей и наставника.

При малѣйшемъ проявленіи непослушанія подъ угрозой этой отвратительной сѣтки я спѣшилъ вернуться на правый путь, весь трепеща отъ страха. Однако, мнѣ суждено было совершить одинъ проступокъ, значительность котораго я увеличилъ торжественной ложью, думая оправдаться ею въ глазахъ моей почтенной матери, въ результатѣ чего мнѣ вторично была назначена эта сѣтка и на этотъ разъ было рѣшено, что вмѣсто пустынной кармелитской церкви я долженъ идти къ св. Мартину, въ лучшей части города, далеко отъ дома—въ храмъ, посѣщаемый около полудня великосвѣтской праздной публикой. О, какъ велика была моя печаль! Но мольбы, слезы, отчаяніе все было напрасно.

Въ эту ночь, казавшуюся мнѣ послѣдней въ моей жизни, я не сомкнулъ глазъ ни на минуту; она была самой тяжелой изъ всѣхъ, какія пришлось потомъ пережить.

Роковой часъ насталъ; облеченный въ проклятую сѣтку, съ плачемъ и рыданіемъ, я пустился въ путь; наставникъ тащилъ меня за руку, а сзади подталкивалъ слуга. Такимъ образомъ мы прошли двѣ или три улицы, на которыхъ почти никого не было; но какъ только мы свернули въ модныя мѣста, прилегающія къ площади и

церкви св. Мартина, я сразу пересталъ плакать и кричать.

Меня не надо уже было тащить; напротивъ, я шелъ твердымъ шагомъ, прижимаясь къ аббату Ивальди, въ надеждѣ остаться незамѣченнымъ, спрятавъ голову подъ локтемъ учителя, что мнѣ было легко сдѣлать, такъ какъ я былъ малъ ростомъ, Ничего не видя, дошелъ я до середины церкви, закрывъ глаза у входа и пріоткрывъ ихъ только тогда, когда нужно было опуститься на колѣни; но и тутъ я оставался съ опущенными рѣсницами, чтобы не видѣть никого, ни съ кѣмъ не встрѣтиться взглядомъ. Когда нужно было выходить, я снова превратился въ незрячаго и вернулся домой убитый, считая себя навѣки опозореннымъ.

Въ этотъ день я не хотѣлъ ни ѣсть, ни говорить, ни учиться, ни плакать. И такова была въ концѣ концовъ сила моего горя и томленія моей души, что я заболѣлъ на нѣсколько дней. Никогда послѣ этого въ нашемъ домѣ даже не упоминалось о сѣткѣ, такъ была напугана моя нѣжная мать отчаяніемъ, которое я въ этотъ разъ обнаружилъ. Я же съ своей стороны очень долго не грѣшилъ никакой ложью; и кто знаетъ, не этой ли сѣткѣ обязанъ я тѣмъ, что изъ всѣхъ встрѣчавшихся мнѣ людей былъ однимъ изъ самыхъ правдивыхъ.

Теперь другой случай. Моя бабушка съ материнской стороны пріѣхала однажды въ Асти. Эта была очень знатная дама, жившая обыкновенно въ Туринѣ, вдова одного изъ придворныхъ вельможъ, окруженная всей той виѣшной пышностью, которая производитъ такое сильное впечатлѣніе на дѣтей. Эта дама провела нѣсколько дней въ домѣ моей матери и, хотя она осыпала меня ласками, я никакъ не могъ освоиться съ ней, оставаясь тѣмъ маленькимъ дикаремъ, какимъ я въ то время былъ. Собираясь уѣзжать, она спросила меня, что именно я хотѣлъ бы получить отъ нея въ подарокъ. Сначала отъ стыда, робости и нерѣшительности, а потомъ уже отъ непреодолимаго упрямства, я отвѣчалъ ей однимъ словомъ: ничего,—

и какъ ни бились со мной на всѣ лады, чтобы вынудить въ отвѣтъ хоть слово, кромѣ этого неприличнаго и грубаго «ничего», все было напрасно. И единственно, чего добились отъ меня допрашивающіе, было лишь то, что «ничего», выходявшее сначала изъ моихъ устъ сухо и отчетливо, произносилось голосомъ все болѣе раздраженнымъ и дрожащимъ, пока не смѣшалось со слезами и безудержными рыданіями. Родители прогнали меня въ мою комнату, какъ я этого и заслуживалъ; тамъ мнѣ было предоставлено наслаждаться взаперти этимъ „ничего“, на которомъ я такъ настаивалъ; бабушка же уѣхала. И вотъ тотъ же ребенокъ, который отказывался съ такимъ непобѣдимымъ упорствомъ отъ законныхъ даровъ своей бабки, за нѣсколько дней передъ этимъ похитилъ изъ ея полуоткрытаго сундука вѣеръ и спряталъ его у себя въ постели, гдѣ онъ былъ найденъ спустя нѣкоторое время. Я утверждалъ тогда,—и это была правда,—что взялъ его съ цѣлью подарить сестрѣ. Этотъ проступокъ былъ наказанъ по заслугамъ очень строго, но хотя воровство большій порокъ, чѣмъ ложь, меня пощадили и не только не наказали сѣткой, но даже не пригрозили ею. Бѣдная мать больше боялась, что я заболѣю, чѣмъ стану воромъ; послѣднее занятіе, по правдѣ говоря, не носитъ въ себѣ ничего страшнаго и трудно искоренимаго для человѣка, у котораго нѣтъ въ воровствѣ жизненной необходимости. Уваженіе къ чужой собственности быстро является и упрочивается у тѣхъ, кого судьба надѣлила имуществомъ.

Здѣсь я расскажу, въ видѣ анекдота, о своей первой исповѣди—между семью и восьмью годами. Чтобы подготовить меня, учитель наговорилъ мнѣ о тѣхъ разнообразныхъ грѣхахъ, которые я могъ бы совершить, и большая часть которыхъ мнѣ была неизвѣстна даже по имени. Послѣ предварительнаго экзамена, совершеннаго дономъ Ивальди, назначили день, когда я долженъ былъ сложить малое бремя своихъ грѣховъ къ ногамъ о. Анджело, кармелита, исповѣдника моей матери. Не помню, что именно я говорилъ ему: я испытывалъ большую

тяжесть и естественное отвращеніе къ обнаруживанію моихъ тайныхъ помысловъ передъ совершенно чужимъ человѣкомъ.

Думаю, что исповѣдникъ самъ составилъ мою исповѣдь вмѣсто меня. Какъ бы то ни было, онъ далъ мнѣ отпущеніе грѣховъ, но прибавилъ, что я долженъ передъ обѣдомъ стать на колѣни и публично попросить прощенія у моей матери во всемъ, чѣмъ я ее обидѣлъ. Такая эпитимья показалась мнѣ слишкомъ жестокой. И хотя мнѣ вообще ничего не стоило попросить у матери прощенія, но стать на колѣни передъ кѣмъ бы то ни было, казалось мнѣ тогда непереносимою казнью. Вернувшись домой въ часъ обѣда, я направился къ столу и когда другіе домашніе тоже вошли въ столовую, мнѣ показалось, что взоры всѣхъ устремлены на меня. Опустивъ глаза, я замеръ въ нерѣшительности и въ крайнемъ смущеніи не могъ приблизиться къ столу, гдѣ всѣ уже заняли свои мѣста. Но я еще не зналъ тогда, что присутствующіе были посвящены въ тайну моей исповѣди и моей эпитимьи. Набравшись храбрости, я сдѣлалъ шагъ къ своему мѣсту, тогда мать строгимъ голосомъ спросила меня, имѣю ли я право сѣсть за столъ; сдѣлалъ ли я все, что нужно; нѣтъ ли чего-нибудь, въ чемъ я могъ бы упрекнуть себя.

Каждый изъ этихъ вопросовъ былъ для меня какъ ударъ кинжаломъ въ сердце; мой плачевный видъ достаточно ясно отвѣчалъ за меня; но съ устъ не сорвалось ни одного слова и никакими способами не могли меня заставить не только выполнить эпитимью, но даже разсказать о томъ, что она мнѣ назначена. Мать, въ свою очередь, не хотѣла объ этомъ говорить, чтобы не выдать исповѣдника, нарушившаго тайну исповѣди. Въ результатѣ, этотъ разъ мать лишилась моего колѣнопреклоненія, а я—обѣда и, можетъ быть, отпущенія грѣховъ, которое отецъ Анджело далъ мнѣ на такихъ суровыхъ условіяхъ. И въ то же время у меня не хватило тогда проницательности, чтобы догадаться, что эпитимья назначена мнѣ послѣ совѣщанія исповѣдника съ матерью. Но въ

сердцѣ моемъ хранилась съ тѣхъ поръ тѣнь ненависти къ исповѣднику, а таинство исповѣди съ тѣхъ поръ внушало мнѣ какое-то неприятное чувство, хотя въ послѣдующее время на меня ни разу не налагали публичнаго покаянія.

ГЛАВА V.

ПОСЛѢДНЯЯ ДѢТСКАЯ ИСТОРИЙКА.

1757.

На каникулы пріѣхалъ въ Асти мой старшій братъ, маркизъ Какерано, учившійся уже довольно давно въ Туринѣ, въ іезуитской коллегіи. Ему было лѣтъ четырнадцать, мнѣ самое большее—лѣтъ восемь. Его общество было для меня нѣкоторымъ развлеченіемъ, но въ то же время и стѣсняло. Я мало зналъ этого брата по матери и не могъ чувствовать къ нему настоящей привязанности; но такъ какъ онъ все-таки участвовалъ иногда въ моихъ играхъ кончилось тѣмъ, что я свыкъся съ нимъ. Но онъ былъ много старше меня, пользовался большей свободой, большими деньгами и большей ласковостью со стороны семьи; живя въ Туринѣ, онъ видѣлъ гораздо больше, чѣмъ я; умѣлъ уже комментировать Виргилія и мало ли какія еще преимущества были у него, которымъ я въ первый разъ научился завидовать. Это все была та низкая зависть, которая могла бы внушить мнѣ злыя чувства къ этому молодому человѣку; но она заставляла меня только страстно желать того, чѣмъ онъ обладалъ, не желая, однако, отнять у него что-либо. Вывожу отсюда, что есть вообще два рода зависти: первая у дурныхъ людей быстро становится непримиримой ненавистью къ обладателю извѣстныхъ благъ и необузданнымъ желаніемъ похитить эти блага даже въ случаѣ, если самому нельзя воспользоваться ими; второго рода зависть въ честныхъ

сердцахъ обращается въ соревнованіе, благородную борьбу, въ тревожащую, грозную потребность добиться для себя тѣхъ же благъ, какія есть у другихъ въ той же или еще въ большей степени. О, какъ незначительно, какъ неощутимо различіе между зародышами нашихъ пороковъ и добродѣтелей!...

Такъ прошло все это лѣто въ играхъ и ссорахъ съ братомъ, который то дрался со мною, то дѣлалъ мнѣ маленькіе подарки; во всемъ этомъ было больше радостей, чѣмъ выпадало на мою долю въ прежнія каникулы, такъ какъ всегда до этого я былъ одинъ, а, какъ извѣстно, это для дѣтей самое несносное. Въ одинъ изъ самыхъ жаркихъ дней этого лѣта, около трехъ часовъ, когда всѣ отдохали послѣ завтрака, мы съ братомъ занялись прусскими упражненіями, которымъ онъ меня училъ. Сдѣлавъ неловкій поворотъ въ маршировкѣ, я упалъ и ударился головой о подставку для полѣненьевъ, которую по небрежности забыли у камина еще съ зимы. На этой подставкѣ не хватало одного мѣднаго шарика, какіе бываютъ обыкновенно на ея остромъ концѣ, и объ это остріе я ударился лѣвой бровью, на палецъ разстоянія отъ глаза. Рана была такъ велика и глубока, что рубецъ отъ нея сохранился до сихъ поръ и не исчезнетъ до могилы. Я вскочилъ на ноги въ ту же минуту и закричалъ брату, чтобы онъ никому не говорилъ; сгоряча я не чувствовалъ никакой боли, но очень сильно ощущалъ стыдъ за то, что я плохой солдатъ и нетвердъ на ногахъ. Между тѣмъ, братъ мой кинулся со всѣхъ ногъ будить наставника, шумъ происшествія достигъ до ушей матери и весь домъ заметался въ переполохъ. При паденіи, и тогда, когда поднимался, я не издалъ крика, но когда, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, я почувствовалъ что-то теплое на лицѣ и, приложивъ руки къ лицу, увидѣлъ, что онѣ залиты кровью, я принялся орать. Я кричалъ только отъ страха и удивленія, ибо, отлично помню, боли я не испытывалъ никакой, пока не явится хирургъ и не принялся промывать, осматривать и перевязывать рану.

17 апр.

Эта рана зарубцовывалась въ теченіе нѣсколькихъ недѣль и нѣсколько дней подрядъ я былъ лишень свѣта, такъ какъ опасались за мой глазъ: вокругъ него образовалась огромная воспаленная опухоль. Когда, наконецъ, наступило выздоровленіе я съ большимъ удовольствіемъ отправился на кармелитскую мессу съ пластырями и бинтами на лицѣ. Это больничное украшеніе безобразило меня гораздо больше, чѣмъ маленькая ночная сѣтка, зеленая и очень опрятнаго вида, похожая на тѣ, что носятъ андалузскіе щеголи, и я самъ, когда путешествовалъ по Испаніи, носилъ ее изъ подражанія имъ. Показать же съ перевязанной головой публично мнѣ не доставляло никакой непріятности, оттого ли, что я полонъ былъ еще радостнымъ чувствомъ избавленія отъ опасности, или, можетъ быть, къ этой ранѣ въ моей маленькой головѣ примѣшивались неясныя идеи о какой-то доблести.

Вѣрнѣе всего, что это было именно такъ; ибо, хотя я не помню ясно связанныхъ съ этимъ ощущеній, но каждый разъ, когда кто-нибудь спрашивалъ аббата Ивальди, почему у меня забинтована голова и онъ давалъ отвѣтъ, что я упалъ, я быстро прибавлялъ: во время упражненій.

Такъ въ очень молодыхъ душахъ для того, кто умѣетъ изучать ихъ, проявляются противоположныя ростки добродѣтелей и пороковъ. Такимъ образомъ проявилась во мнѣ моя любовь къ славѣ. Но ни Ивальди и никто изъ окружающихъ не замѣчали и не думали объ этомъ.

1758.

Годъ спустя, мой старшій братъ, во время пребыванія въ своемъ туринскомъ лицѣѣ, заболѣлъ серьезной трудной болѣзнью, которая перешла въ чахотку и въ нѣсколько мѣсяцевъ свела его въ могилу. Его взяли изъ лица и перевезли въ Асти, подъ материнскій кровъ,

а меня отправили въ деревню, не желая, чтобы я съ нимъ встрѣтился; въ это же лѣто онъ умеръ въ Асти, и я такъ съ нимъ и не увидался больше. Въ это же время мой дядя съ материнской стороны, кавалеръ Пеллегрини Альфиери, которому было поручено управленіе моими денежными дѣлами по смерти отца, возвращаясь изъ путешествія по Франціи, Англіи и Голландіи попалъ въ Асти. Увидѣвшись со мной, онъ убѣдился, какъ человѣкъ обладающій большимъ здравымъ смысломъ, что при такой системѣ воспитанія я не далеко уйду въ познаніяхъ; и водворившись въ Туринѣ, онъ написалъ оттуда матери, что хочетъ помѣстить меня въ Туринскую Академію. Мой отъѣздъ совпалъ какъ разъ со смертью брата. Я никогда не забуду лица, движеній и словъ моей бѣдной матушки, которая въ отчаяніи повторяла сквозь рыданія: „одного Богъ отнялъ у меня навсегда, а другого, кто знаетъ, когда я увижу!“ У нея оставалась только дочь отъ третьяго мужа; позже у нея родились одинъ за другимъ еще два мальчика, пока я жилъ въ Туринѣ. Печаль матери потрясла меня глубоко; но желаніе увидѣть новое, мысль о путешествіи въ почтовой каретѣ—незадолго до того я первый разъ въ жизни совершилъ путешествіе на волахъ въ одну виллу въ пятнадцать миляхъ отъ Асти—и сотни такихъ же дѣтскихъ мыслей тѣшившихъ мою фантазію,—все это много умѣряло мою печаль о смерти брата и безутѣшномъ горѣ матери.

Впрочемъ, все же, когда насталъ отъѣздъ, я едва не лишился чувствъ, и, быть можетъ, мнѣ еще труднѣе было покидать моего наставника Ивальди, чѣмъ вырваться изъ объятій матушки.

Оторванный отъ нихъ силой и почти брошенный въ коляску старымъ дядькой, которому приказано было сопровождать меня до Турина, гдѣ я долженъ былъ захватить прежде всего въ домъ дяди, я, наконецъ, пустился въ путь подъ охраной слуги, который обязанъ былъ отнынѣ меня опекать. Это былъ нѣкто Андрей, изъ Александріи, молодой малый, отъ природы неглухой и довольно развитой для своего

положенія и для нашей страны, гдѣ вовсе не было зауряднымъ явленіемъ умѣнье читать и писать. Я покинулъ материнскій кровъ въ іюлѣ 1758 г., день я забылъ, утромъ, въ ранній часъ. Пока мы ѣхали до первой станціи, я не переставалъ плакать. Во время остановки, пока мѣняли лошадей, я почувствовалъ жажду, и вмѣсто того, чтобы попросить стаканъ воды, подошелъ къ колодѣ, изъ которой поили лошадей, и, зачерпнувъ шляпой воды, напился всласть.

Дядька мой, по зову почтальоновъ, прибѣжалъ, крича изо всѣхъ силъ; но я отвѣтилъ ему, что когда бродишь по свѣту нужно привыкать къ такимъ вещамъ, и что хорошіе солдаты иначе и не пьютъ. Откуда выудилъ я такія воинственныя идеи? Я не сумѣлъ бы на это отвѣтить, тѣмъ болѣе, что мать воспитывала меня съ большой мягкостью и съ доходящимъ до смѣшного избыткомъ заботъ о моемъ здоровьѣ. Это былъ опять одинъ изъ тѣхъ инстинктовъ славы, которые разрастались во мнѣ съ той поры, какъ мнѣ удалось освободиться немного изъ-подъ ярма.

Тутъ я покончу съ эпохой дѣтства; мы вступаемъ въ міръ, гдѣ, надѣюсь, мнѣ удастся обрисовать себя съ большей отчетливостью.

Этотъ первый отрывокъ изъ моей жизни (быть можетъ, ее не нужно знать и всю), конечно, покажется совершенно ненужнымъ для тѣхъ, кто, считая себя взрослыми, забываютъ, что человѣкъ есть лишь продолженіе ребенка.



ЭПОХА ВТОРАЯ.

ОТРОЧЕСТВО.

ВОСЕМЬ ЛѢТЪ ДУРНОГО ОБУЧЕНІЯ.

ГЛАВА I.

ОТЪѢЗДЪ ИЗЪ МАТЕРИНСКАГО ДОМА И ПОСТУПЛЕНІЕ ВЪ ТУРИНСКУЮ АКАДЕМІЮ.—ОПИСАНІЕ АКАДЕМІИ.

1758.

Вотъ, наконецъ, я мчусь на почтовыхъ. Быстротѣ движенія способствовало то, что на первой же станціи менторъ мой, завѣдывавшій кошелькомъ, далъ по моему настоянію щедро на чай почтальону; и этимъ было покороено сердце слѣдующаго почтальона. Онъ погонялъ изо всѣхъ силъ, время отъ времени взглядомъ и улыбкой какъ бы приглашая меня принять это во вниманіе. Мой проводникъ, старый и тучный, утомившись во время перваго перегона глупыми исторіями, которыми онъ утѣшалъ меня, крѣпко заснулъ и храпѣлъ какъ быкъ. Быстрая ѣзда въ коляскѣ доставляла мнѣ удовольствіе, подобнаго которому я еще не испытывалъ. Въ экипажѣ моей матери, которымъ къ тому же я пользовался очень рѣдко, обыкновенно ѣздили съ убійственной медленностью. Къ тому же въ закрытой каретѣ наслаждаться бѣгомъ лошадей трудно. А въ нашей итальянской коляскѣ ѣхать приходилось чуть не на лошадиныхъ крупахъ и при этомъ можно любоваться видами. Такъ, отъ одной станціи до другой, съ сердцемъ, переполненнымъ живыми впечатлѣніями ѣзды и новизны, всего встрѣчнаго, я прибылъ, наконецъ, въ Туринъ около часу или двухъ пополудни. День былъ великолѣпный и въѣздъ въ городъ черезъ Новыя Ворота и площадь св. Карла до Благовѣщенія, возлѣ котораго жилъ мой дядя, привелъ меня въ восхищеніе. Я былъ внѣ себя—дѣйствительно кварталъ этотъ очень грандіозенъ и красивъ.

Вечеръ этого дня совсѣмъ не былъ для меня веселымъ. Оказавшись на новомъ мѣстѣ, окруженный незнакомыми людьми, далеко отъ матери, наставника, лицомъ къ лицу съ дядей, котораго лишь разъ видѣлъ мелькомъ и у котораго былъ гораздо менѣе привѣтливый и ласковый видъ, чѣмъ у матушки, я впалъ въ тоску, расплакался и предался еще болѣе жгучимъ сожалѣніямъ обо всемъ, что покинулъ наканунѣ.

Однако, черезъ нѣсколько дней, обжившись немного, я вернулся къ веселости и живости даже въ болѣе высокой степени, чѣмъ раньше; и, наконецъ, это приняло такіе размѣры, что дядѣ стало со мной трудно; увидавъ, что впустилъ въ свой домъ сорванца, все перевернушаго вверхъ дномъ и, вдобавокъ, за отсутствіемъ учителя понапрасну теряющаго время, онъ не сталъ дожидаться октября, чтобы помѣстить меня въ академію, какъ это было условлено, и водворилъ меня туда съ 1-го августа 1758 года.

На десятомъ году жизни меня пересадили въ среду чужихъ мнѣ людей, я оказался вдали отъ родныхъ, въ одиночествѣ и, такъ сказать, предоставленный самому себѣ, ибо этотъ способъ общественнаго воспитанія—если его можно назвать воспитаніемъ—состоялъ лишь въ одномъ ученѣ, оставляя въ сторонѣ душу дѣтей.

Никогда не слышали мы здѣсь ни одного правила нравственности и никто не внушалъ намъ того, какъ вести себя въ жизни. Да и кто бы могъ это сдѣлать, разъ сами воспитатели наши не знали жизни ни теоретически, ни практически?

Академія эта представляла собой великолѣпное зданіе, раздѣленное на четыре корпуса, посреди которыхъ былъ огромный дворъ. Двѣ части зданія были заняты воспитанниками, двѣ другія—королевскимъ архивомъ и королевскимъ театромъ. Какъ разъ противъ архивовъ было то помѣщеніе, которое занимали мы, ученики второго и третьяго отдѣленія; противъ театра помѣщались ученики перваго, о которыхъ я буду говорить въ свое время.

Верхняя галлерей съ нашей стороны называлась третьимъ отдѣленіемъ. Оно предназначалось для самыхъ маленькихъ дѣтей и для низшихъ классовъ; галлерей первого этажа называлась вторымъ отдѣленіемъ, была отведена для подростковъ, половина или треть которыхъ посѣщали университетъ, находившійся по сосѣдству съ академіей; остальные слушали внутри зданія курсъ военныхъ наукъ. Каждая галлерей состояла, по крайней мѣрѣ, изъ четырехъ комнатъ, въ каждой изъ которыхъ помѣщалось по одиннадцати учениковъ подъ наблюденіемъ какого-нибудь священника, называемаго ассистентомъ. Обыкновенно это былъ простой крестьянинъ, облеченный въ сутану и не получавшій никакого жалованья. Ему давали только столъ и квартиру, благодаря чему онъ могъ изучать въ университетѣ теологію или законы. Попадались среди ассистентовъ и старые, необыкновенно невѣжественные и грубые священники. Третью помѣщенія, завятаго первымъ отдѣленіемъ, была отдана королевскимъ пажамъ, въ числѣ двадцати или двадцати пяти; они были совершенно отдѣлены отъ насъ, на противоположномъ углу большого двора возлѣ архивовъ, о которыхъ я упоминалъ.

Итакъ, мы, маленькіе учащіеся, жили въ довольно плохомъ помѣщеніи. Съ одной стороны театръ, куда намъ позволялось ходить не больше пяти-шести разъ во время карнавала. Съ другой—пажи, придворная служба которыхъ, охота, кавалькады являли собой для насъ образъ жизни гораздо болѣе свободный и веселый, чѣмъ нашъ.

Все первое отдѣленіе, за небольшимъ исключеніемъ, состояло изъ иностранцевъ. Тутъ было цѣлое полчище свѣверянъ—преимущественно англичане, русскіе, нѣмцы и итальянцы не изъ Пьемонта. Эта часть академіи напоминала скорѣе отель для пріѣзжающихъ, чѣмъ институтъ; всѣ живущіе въ немъ подчинялись лишь одному правилу—возвращаться домой не позже полуночи.

Они свободно посѣщали театры и вечера проводили въ развлеченияхъ—въ дурномъ или въ хорошемъ обществѣ—сообразно со своими вкусами. Къ довершенію на-

шихъ испытаній мы, маленькіе мученики второго и третьяго отдѣленія, должны были, отправляясь на мессу или въ танцевальный и фехтовальный залъ, проходить черезъ галереи перваго отдѣленія, и, такимъ образомъ, передъ нашими глазами ежедневно было зрѣлище ихъ необузданной и дерзкой свободы. Это вело къ печальнымъ сравненіямъ со строгостью нашего режима, который мы всегда называли „галернымъ“. Распредѣлившій все это подобнымъ способомъ былъ глупецъ, ничего не понимавшій въ человѣческомъ сердцѣ. Онъ не давалъ себѣ отчета въ томъ, какое плачевное вліяніе должно было имѣть на юные умы постоянное созерцаніе запретныхъ плодовъ.

Г л а в а II.

ПЕРВЫЕ УРОКИ, ПЕДАНТИЗМЪ ЗАНЯТІЙ И ДРУГІЯ ДУРНЫЯ СТОРОНЫ ИХЪ.

1759.

Вотъ, наконецъ, я въ третьемъ отдѣленіи, въ комнатѣ, называемой срединной, подъ надзоромъ того же слуги Андрея, который почувствовалъ себя моимъ господиномъ и, не имѣя надъ собой узды со стороны кого-либо изъ моихъ родныхъ, превратился въ настоящаго дьявола. Этотъ человѣкъ всячески тиранилъ меня при каждомъ удобномъ случаѣ. Тоже дѣлалъ, въ свою очередь, и ассистентъ.

Въ день моего поступленія въ академію профессора проэкзаменовали меня и нашли, что я вполне гошусь для четвертаго класса съ тѣмъ, что черезъ три мѣсяца прилежныхъ занятій меня переведутъ въ третій. Дѣйствительно, я принялся за дѣло съ большимъ рвеніемъ и, познавъ здѣсь впервые все значеніе благороднаго соревнованія, скоро обогналъ старшихъ меня по возрасту учениковъ и въ ноябрѣ былъ въ третьемъ классѣ. Профес-

соромъ этого класса былъ нѣкто донъ Деджіованни, священникъ, быть можетъ, еще болѣе невѣжественный, чѣмъ мой добрый Ивальди; но, конечно, онъ удѣлялъ мнѣ гораздо меньше вниманія и любви, чѣмъ прежній наставникъ, такъ какъ ему надо было имѣть дѣло съ пятнадцатью или шестнадцатью учениками.

И такъ влачилась моя жизнь на скамьяхъ этой несчастной школы, гдѣ я, какъ осель, среди другихъ ословъ, подъ управленіемъ осла читалъ Корнелія Непота, эклоги Виргилія и тому подобныя вещи.

Темы намъ задавались безсмысленныя и нелѣпыя, такъ что во всякой настоящей школѣ мы должны были въ лучшемъ случаѣ быть въ четвертомъ классѣ.

Я никогда не былъ послѣднимъ среди товарищей. Соревнованіе подхлестывало меня до тѣхъ поръ, пока я не обгонялъ того, кто считался первымъ или, по крайней мѣрѣ, не равнялся съ нимъ.

Но за то, попавъ на первое мѣсто я сейчасъ же охладѣвалъ къ ученью и вообще впадалъ въ апатію.

Для этого, быть можетъ, найдутся вѣскія оправданія, такъ какъ ничто не могло сравниться по скучѣ и безсмысленности съ нашими уроками. Мы переводили жизнеописанія Корнелія Непота; но никто изъ насъ, вѣроятно, также и самъ учитель, не знали, кто были эти люди, про жизнь которыхъ мы читали, гдѣ и когда они жили, при какомъ образѣ правленія—да и что такое образъ правленія, мы не знали. Всѣ идеи, которыми мы пробавлялись, были узки, или совсѣмъ ложны или до крайности смутны.

Никакой цѣли не было передъ тѣмъ, кто преподавалъ, и никакого интереса у тѣхъ, кто учился.

Эта была въ общемъ позорная школа праздности; никто не наблюдалъ за нами, а если иногда и присматривали, все равно ничего не понимали въ воспитаніи. Такъ безвозвратно губили нашу молодость.

Проучившись такимъ способомъ весь 1759-ый годъ, въ ноябрѣ я былъ переведенъ въ слѣдующій классъ. Тамъ преподавалъ донъ Аматисъ, священникъ умный и

знающій, подъ руководствомъ котораго я сдѣлалъ большіе успѣхи и, насколько это позволяла нелѣзная система преподаванія, окрѣпъ въ латыни. Рвеніе мое увеличилось благодаря встрѣчѣ съ однимъ мальчикомъ, который оспаривалъ у меня первенство въ сочиненіяхъ и часто очень успѣшно; при этомъ онъ всегда обгонялъ меня тамъ, гдѣ требовалась память; не опибаясь ни въ одномъ слогѣ и безъ запинки онъ могъ декламировать шестьсотъ стиховъ *Виргилія*, тогда какъ я съ огромнымъ трудомъ одолѣвалъ четыреста; это меня очень огорчало. Но, насколько могу припомнить теперь свои тогдашнія чувства, мнѣ кажется, что характеръ мой не былъ особенно дуренъ.

Несомнѣнно, будучи побѣжденнымъ этими двумя сотнями строкъ, я задыхался отъ гнѣва и нерѣдко мнѣ случалось проливать горькія слезы и даже обрушиваться съ бранью на соперника. Но потому ли, что онъ лучше владелъ собою, или самъ я временами находилъ путь къ смиренію, мы почти никогда не ссорились и въ общемъ между нами существовало нѣчто вродѣ дружбы. Думаю также, что мое буйное дѣтское честолюбіе нашло удовлетвореніе и утѣшилось побѣдой въ сочиненіяхъ, которая почти всегда была на моей сторонѣ. Прибавьте къ этому, что мнѣ потому еще было трудно ненавидѣть этого юношу, что онъ отличался рѣдкой красотой, а я всегда чувствовалъ непосредственное преклоненіе передъ красотой—въ животныхъ, въ людяхъ, во всѣхъ вещахъ; и въ такой мѣрѣ, что красота временами мутитъ мой разумъ и затемняетъ истину.

Въ эти годы, посвященные гуманитарнымъ наукамъ, я хранилъ еще невинность и полную чистоту. Но природа сама, безъ моего вѣдома, вносила временами смущеніе въ мою жизнь. Въ это время попалъ мнѣ въ руки, не припомню какъ, *Аріосто*, полное собраніе сочиненій въ четырехъ томахъ. Несомнѣнно, я не покупалъ его—у меня не было для этого денегъ, также и не стащилъ; объ украденныхъ вещахъ у меня сохранилось живѣйшее воспоми-

наніе. Смутно мерещится мнѣ, что я приобрѣлъ эти книги томъ за томомъ у одного изъ товарищей, которому я уступалъ взамятъ свои полцыпленка каждое воскресенье; такъ что первый мой Аріосто обошелся мнѣ въ пару цыплятъ. Но, къ сожалѣнію, за достовѣрность этого не могу поручиться; хотя мнѣ и было бы радостно думать, что первый разъ уста мои приблизились къ источнику поэзіи за счетъ желудка и цѣною воздержанія отъ лучшаго куска за нашимъ столомъ. Это былъ не единственный случай такого торга; я прекрасно помню, что однажды цѣлые полгода оставался безъ воскресной порціи цыпленка; я приобрѣлъ себѣ такимъ способомъ право слушать исторіи, которыя намъ рассказывалъ нѣкій Линьяна, обжора по натурѣ, изощрявшій фантазію для округленія своего живота и позволявшій слушать его только за дань съѣстными припасами.

Какъ бы то ни было, Аріосто очутился въ моихъ рукахъ. Я читалъ его, раскрывая наугадъ, съ конца и съ середины, и половины прочтеннаго не понималъ.

Пусть судятъ на основаніи этого, каковы были мои учебныя занятія до сей поры. Я, король класса гуманистовъ, переводившій на итальянскій Георгики, что гораздо труднѣе Энеиды, съ трудомъ понималъ самаго легкаго изъ нашихъ поэтовъ. Никогда не забуду, какъ въ пѣснѣ Альцины, дойдя до того прекраснаго мѣста, гдѣ поэтъ описываетъ красоту феи, я ломалъ голову, стараясь понять его; но мнѣ не доставало еще очень многого. Напримѣръ, послѣднія двѣ строки этого станса:

Non così strettamente edera preme... Въ нихъ я никогда не могъ найти смысла; я совѣтовался относительно ихъ со своимъ соперникомъ, который также мало понималъ въ этомъ, какъ и я, и оба мы терялись въ океанѣ догадокъ.

Чѣмъ окончились эти тайныя чтенія и комментарія Аріосто? Ассистентъ, замѣтивъ у насъ въ рукахъ книжонку, исчезающую при его приближеніи, конфисковалъ ее и, заставивъ выдать себѣ остальные тома, отдалъ ихъ помощнику пріора. И мы, бѣдные маленькіе поэты, остались

безъ всякаго вожатаго въ области поэзіи, съ подрѣзанными крыльями.

Г л а в а Ш.

КАКИМЪ РОДСТВЕННИКАМЪ БЫЛИ ВВѢРЕНЫ МОИ ОТРОЧЕСКІЕ ГОДЫ ВЪ ТУРИНѢ.

Въ теченіе этихъ первыхъ двухъ лѣтъ я очень немногому научился въ академіи; здоровье мое серьезно распалось отъ переутомленія, дурного питанія, недостаточности сна, что было во всемъ противоположно моей жизни въ домѣ матери. Я не прибавился въ ростѣ ни на волосъ и сильно смахивалъ на маленькую и тонкую восковую свѣчку. Одну за другой я перенесъ нѣсколько болѣзней; и одна изъ нихъ истязала меня сильнѣйшей головной болью, сопровождаясь несносно тяжелымъ настроеніемъ; мои виски отъ этого синѣли до черноты и кожа на нихъ и на лбу, точно сожженная, сходила нѣсколько разъ подрядъ.

Мой дядя по отцу, кавалеръ Пелегрино Альфіери, былъ губернаторомъ города Кунео, гдѣ жилъ восемь мѣсяцевъ въ году. Изъ родныхъ моихъ въ Туринѣ оставались только съ материнской стороны семья Турнонъ и двоюродный братъ отца, графъ Бенедиктъ Альфіери. Онъ былъ главнымъ архитекторомъ короля и жилъ въ домѣ, примыкающемъ къ тому самому королевскому театру, который онъ задумалъ и выполнилъ съ такимъ искусствомъ и такъ изящно.

Время отъ времени я обѣдалъ у него или просто его посѣщалъ, что зависѣло отъ прихоти Андрея, распоразавшагося мною деспотически, хотя онъ и ссылался всегда на приказы и письма дяди изъ Кунео. Этотъ графъ Бенедиктъ былъ очень почтенный человекъ, съ прекраснымъ сердцемъ; онъ очень меня любилъ и баловалъ. Фанатически преданный своему искусству, простой по характеру,

онъ былъ нѣсколько чуждъ всему, что не имѣло отношенія къ его искусству.

Среди многихъ доказательствъ его безмѣрной страсти къ архитектурѣ, какія я могъ бы привести, мнѣ запомнилось, какъ часто и съ какимъ жаромъ говорилъ онъ со мной, мальчикомъ, ничего не понимавшимъ въ искусствѣ, о божественномъ Микель Анджело Буонаротти, чье имя онъ всегда произносилъ склоняя голову и снявъ шляпу съ почтительнымъ смиреніемъ, котораго я никогда не забуду. Онъ провелъ въ Римѣ большую часть своей жизни и весь былъ преисполненъ поклоненія передъ античной красотой. Это не мѣшало ему иногда отступать отъ хорошаго вкуса, дѣлая уступки современности. Не хочу приводить другихъ доказательствъ этому, кромѣ нелѣпой Кариньянской церкви въ формѣ вѣера. И не заглажены ли эти маленькіе грѣхи постройкой театра, о которомъ я уже упоминалъ, смѣлымъ и искуснымъ сводомъ, который вѣнчаетъ королевскій манежъ, большимъ заломъ Ступиниджи, мощнымъ и величавымъ фасадомъ св. Петра въ Женевѣ? Его архитектурному генію не хватало, можетъ быть, лишь болѣе полновѣснаго, чѣмъ у сардинскаго короля, кошелька. Доказательствомъ этому можетъ служить большое количество великолѣпныхъ рисунковъ, оставшихся послѣ его смерти, которые перешли въ собственность короля. Тамъ было много разнообразныхъ проектовъ различныхъ зданій въ Туринѣ, между прочимъ, проектъ передѣлки отвратительной стѣны, отдѣляющей площадь замка отъ королевскаго дворца, стѣны, которую неизвѣстно почему называли павильономъ.

Съ удовольствіемъ останавливаюсь на памяти этого добраго человѣка, который умѣлъ, по крайней мѣрѣ, дѣлать свое дѣло, чему лишь теперь я знаю истинную цѣну. Но въ бытность мою въ академіи, какъ ни ласковъ былъ онъ со мной, я находилъ его скорѣе скучнымъ, чѣмъ интереснымъ. И такова сила заблужденій и выдуманыхъ правилъ—больше всего меня отталкивалъ въ немъ его прекрасный тосканскій языкъ, которому онъ не измѣнялъ

со времени пребыванія въ Римѣ, и который въ Туринѣ, въ этомъ городѣ, смѣшавшемъ въ себѣ столько народностей, былъ контрабанднымъ нарѣчіемъ. Но велико могущество всего истиннаго и прекраснаго. И тѣ же люди, которые вначалѣ, когда дядя только что вернулся на родину, смѣялись надъ его языкомъ, въ концѣ концовъ признали, что въ сущности онъ одинъ говорилъ по-итальянски, они же объяснялись на варварскомъ жаргонѣ. И въ бесѣдахъ съ нимъ они старались тоже говорить по-тоскански; особенно отличались тѣ господа, которые коверкали это нарѣчіе, обращаясь къ дядѣ для починки своихъ жилищъ и приданія имъ вида дворцовъ. Въ такой ничтожной работѣ этотъ прекрасный человекъ тратилъ половину своего времени, совершенно безвозмездно оказывая услуги друзьямъ во вредъ себѣ и своему искусству, на что онъ не разъ при мнѣ жаловался. Сколько домовъ Турина, принадлежащихъ высокопоставленнымъ лицамъ, украшенныхъ или расширенныхъ его вестибюлями, лѣстницами, воротами и тысячью внутреннихъ пристроекъ, останутся памятникомъ его доброты, всегда готовой на услугу друзьямъ или тѣмъ, кто выдавалъ себя за друзей.

Этотъ дядя за два года до женитьбы моего отца на моей матери совершилъ съ нимъ путешествіе въ Неаполь; и отъ него я узналъ потомъ многое объ отцѣ, приходившемся ему двоюроднымъ братомъ. Между прочимъ, онъ рассказалъ мнѣ, что когда они были вмѣстѣ на Везувіи, отецъ во что бы то ни стало пожелалъ спуститься до края внутренняго кратера на очень большую глубину, что производилось тогда съ помощью канатовъ, управляемыхъ людьми, стоящими у края внѣшняго кратера. Спустя двадцать лѣтъ, когда я попалъ туда въ первый разъ, все уже было по другому и такой спускъ сталъ невозможенъ. Но пора вернуться къ предмету моего повѣствованія.

Г л а в а IV.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПСЕВДО-ЗАНЯТІЙ.

1760.

Никто изъ моихъ родственниковъ не занимался мною по настоящему и самые прекрасные годы я провелъ почти ничему не научившись. Здоровье мое день ото дня ухудшалось. Вѣчно хилый, всегда съ какой-нибудь болячкой на тѣлѣ, я сдѣлался посмѣшищемъ товарищей, которые окрестили меня граціознымъ именемъ падали; болѣе бойкіе и гуманные прибавили прозвище—гниль. Такое состояніе здоровья ввергало меня въ крайнюю меланхолію и любовь къ одиночеству вкоренялась во мнѣ все сильнѣе. Со всѣмъ этимъ въ 1760 году я перешелъ въ классъ риторики. Многочисленные недуги мои оставляли мнѣ кое-какіе промежутки для ученія, и не нужно было большихъ усилій, чтобы одолѣть подобную премудрость. Профессоръ риторики не обладалъ талантомъ своего собрата, читавшаго гуманитарныя науки, и хотя онъ изъяснялъ намъ Энеиду и заставлялъ писать латинскіе стихи, я не только не двинулся впередъ, но скорѣе отсталъ въ пониманіи духа латинскаго языка. А такъ какъ я не былъ послѣднимъ ученикомъ, то думаю, что и со многими случилось то же, что со мною.

Въ теченіе этого года, якобы посвященнаго риторикѣ, я обрѣлъ радость новой встрѣчи съ моимъ Аріосто, томики котораго похитилъ одинъ за другимъ у помощника пріора, который поставилъ ихъ въ библиотекѣ, вмѣстѣ со своими книгами, на виду. Я сдѣлалъ это, посѣщая его комнату въ числѣ нѣкоторыхъ избранныхъ, которые ходили смотрѣть изъ его оконъ на игру въ мячъ. Изъ этой комнаты, расположенной какъ разъ противъ играющихъ, была лучше видна игра, чѣмъ изъ нашихъ галлерей. Бывшая нужная мнѣ томикъ, искусно сдвигая остальные книги, мнѣ удалось въ четыре дня вернуть себѣ всѣ че-

тыре книжки. Это былъ великій праздникъ для меня, но я не повѣдалъ о немъ ни одной душѣ.

Возстановляя въ памяти это время, я долженъ сознаться, что возвративъ своего Аріосто, я почти не открывалъ его больше. Тому, мнѣ кажется, имѣлись двѣ причины (не считая самой главной, плохого здоровья): трудность пониманія, которая вмѣсто того, чтобы уменьшиться, увеличилась (благодаря профессору риторики), и вторая — излюбленная манера Аріосто прерывать рассказъ и оставлять васъ посреди дороги съ разинутымъ ртомъ. Это и до сихъ поръ не нравится мнѣ въ немъ какъ уловка, полная неправдоподобія и ведущая лишь къ тому, чтобы разрушить уже полученное впечатлѣніе. Не зная, гдѣ искать продолженія, я въ концѣ концовъ просто пересталъ искать его. Тассо больше соотвѣтствовалъ бы моему характеру, но тогда я не зналъ даже его имени. Однажды, не помню какъ именно, попала мнѣ въ руки Энеида Аннибала Каро, которую я читалъ и перечитывалъ нѣсколько разъ съ жадностью и страстью, отъ всей души принявъ сторону Турна и Камиллы. Я пользовался имъ также для переводовъ, которые задавалъ намъ профессоръ, что не увеличивало моихъ успѣховъ въ латыни. Я не зналъ ни одного изъ нашихъ поэтовъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ произведеній Метастазіо, «Катона», «Артаксеркса», «Олимпиады» и которыя доходили до насъ въ видѣ либретто оперъ, ставившихся во время карнавала. Эти вещи глубоко очаровывали меня. Но если въ аріи обрывалось развитіе страсти въ то время, когда я только начиналъ ею проникаться, я испытывалъ огорченіе и жгучую досаду, еще большую, чѣмъ въ перерывахъ Аріосто.

Я прочелъ также нѣсколько комедій Гольдони, которыя меня очень позабавили; ихъ я получилъ отъ самого профессора. Но склонность къ драматическому творчеству, которой въ зачаточной формѣ я, вѣроятно, обладалъ, была скоро заглушена недостаткомъ духовной пищи, отсутствіемъ руководства и еще многимъ другимъ.

Вообще, мое невѣжество, невѣжество моихъ учителей

и наша общая безпечность во всемъ уже не могли идти дальше.

Во время частыхъ и долгихъ перерывовъ въ занятіяхъ, когда здоровье мое не позволяло мнѣ посѣщать классъ, одинъ изъ товарищей, превосходящій меня по силѣ и по глупости, заставлялъ меня дѣлать за него уроки: это былъ какой-нибудь переводъ, сочиненіе, стихи. Вотъ великолѣпный аргументъ, которымъ онъ склонялъ меня къ работѣ:—если ты напишешь мнѣ сочиненіе, я тебѣ дамъ эти два мяча.—И онъ показывалъ мнѣ красивые, четырехцвѣтные, чудесно спитые и великолѣпно прыгающіе мячи.

— А если не напишешь, я дамъ тебѣ тумака.—И, говоря это, онъ угрожающе заносилъ свой чудовищный кулакъ надъ моей головой. Я предпочиталъ два мяча и писалъ сочиненіе. Сначала я дѣлалъ это добросовѣстно и какъ можно лучше, и преподаватели стали удивляться неожиданнымъ успѣхамъ ученика, который до сихъ поръ зарекомендовалъ себя безнадежнымъ тупицей. Я, разумеется, свято хранилъ тайну и, пожалуй, больше благодаря моей природной несообщительности, чѣмъ изъ-за боязни передъ этимъ циклопомъ.

Но сдѣлавъ за него, такимъ образомъ, порядочное число заданныхъ работъ и собравъ гораздо больше мячей, чѣмъ мнѣ было нужно, я сталъ тяготиться этими вынужденными занятіями, тѣмъ болѣе, что мнѣ стало непріятно видѣть, какъ онъ украшается принадлежащими мнѣ лаврами. Мало-по-малу я сталъ исполнять свое дѣло небрежнѣе и даже не безъ умысла допускалъ такія грубыя ошибки, какъ, на примѣръ, „rotebam“ и т. п., которыя навлекаютъ на васъ насмѣшки товарищей и колотушки учителя. Поэтому мой малый, видя, что подвергается публичному опозоренію, пересталъ заставлять меня дѣлать за него уроки; онъ былъ страшно разъяренъ, но не смѣлъ мстить, понимая, какимъ стыдомъ я могъ бы покрыть его, если бы выдалъ его тайну. Я не сдѣлалъ этого. Но какъ я втайнѣ смѣялся, когда слышалъ среди товарищей разговоры о томъ, какъ злосчастное rotebam

прогремѣло въ классѣ! Никто, однако, не подозрѣвалъ моего отношенія къ этому дѣлу. Кромѣ всего прочаго, меня побуждало къ скрытности и представленіе объ увѣсистомъ кулакѣ, занесенномъ надъ моею головою, которое постоянно носилось передъ моими глазами. Этотъ кулакъ долженъ былъ быть естественной расплатой за столько мячей, полученныхъ мною такъ коварно. Съ тѣхъ поръ я сталъ понимать, что міромъ правитъ лишь страхъ всѣхъ передъ всѣми.

1761.

Среди мальчишескихъ, бессмысленныхъ проказъ, частыхъ болѣзней и постоянной физической слабости закончился этотъ годъ, посвященный риторикѣ, и, послѣ обыкновеннаго экзамена, меня сочли достойнымъ перейти къ курсу философіи. Курсъ философіи читался внѣ академіи, въ университетѣ, находившемся поблизости, куда мы ходили дважды въ день: по утрамъ—для слушанія геометріи и послѣ полудня—на лекціи философіи или логики, если угодно. Я сталъ философомъ, едва достигши тринадцати лѣтъ. Я тѣмъ болѣе гордился этимъ званіемъ, что оно относило меня къ числу, такъ сказать, большихъ. Къ тому же оно доставило удовольствіе выходить два раза въ день на улицу изъ академіи. Это обстоятельство доставило намъ возможность дѣлать тайкомъ послѣ лекціи въ университетѣ маленькія прогулки по городу подъ предлогомъ разныхъ незначительныхъ надобностей.

Я былъ самымъ маленькимъ среди взрослыхъ учениковъ, къ которымъ попалъ въ галереѣ второго отдѣленія; но именно сравнительная ничтожность моего роста, моихъ лѣтъ и силъ стали тѣмъ побужденіемъ, которое одушевляло мои стремленія и внушало желаніе выдѣлиться изъ толпы. Благодаря этому я съ самаго начала проявилъ достаточное рвеніе къ ученью, чтобы быть допущеннымъ вмѣстѣ со старшими къ репетиціямъ, которыя по вечерамъ производили преподаватели академіи. Я отвѣчалъ

на вопросы не хуже другихъ, а иногда, пожалуй, и лучше. Эти успѣхи мои слѣдуетъ отнести исключительно на счетъ прекрасной памяти, такъ какъ, по правдѣ сказать, я ничего не понималъ въ преподаваемой намъ педагогической философіи, бессмысленной въ самомъ своемъ существѣ и, сверхъ того, облеченной въ латынь, которую мнѣ приходилось брать приступомъ и съ трудомъ одолѣвать въ союзѣ съ тяжеловѣснымъ словаремъ. Я прослушалъ также полный курсъ геометріи, т. е. мнѣ были изъяснены шесть первыхъ книгъ Эвклида; однако, я до конца такъ и не смогъ понять четвертой теоремы. И до сего дня я не понимаю ея, такъ какъ голова моя всегда была антигеометрична. Послѣ объѣда проходилъ курсъ аристотелевой философіи, отъ котораго мерли даже мухи. Въ теченіе перваго получаса мы записывали курсъ подъ диктовку профессора, а въ оставшееся время, которое преподаватель посвящалъ объясненію своего текста по-латыни (Богъ вѣсть, что это была за латынь!), мы, завернувшись по уши въ свои широкіе плащи, погружались въ сладкія грезы сна. Тогда въ этомъ философскомъ собраніи слышался лишь тягучій голосъ профессора, который самъ былъ бы не прочь вздремнуть, и звуки, издаваемые спящими, похрапывавшими на всѣ голоса, кто теноркомъ, кто басомъ, а кто баритономъ. Получался дивный концертъ.

Кромѣ непреодолимой силы этой снотворной философіи, была еще и другая причина, немало способствовавшая усыпленію всѣхъ слушателей, въ особенности насъ, учениковъ академіи, которымъ были отведены двѣ или три отдѣльныя скамьи по правую сторону профессора. Дѣло въ томъ, что по утрамъ насъ будили слишкомъ рано, не давая выспаться. Это было главной причиной всѣхъ моихъ недомоганій, такъ какъ желудокъ мой во время сна не успѣвалъ произвести пищеваренія. Начальство вскорѣ замѣтило эту мою особенность и, въ концѣ концовъ, мнѣ позволили спать до семи часовъ, а не до безъ четверти шесть, когда по правиламъ надо было вставать, чтобы сойти въ общій залъ, гдѣ читалась утренняя

молитва, послѣ которой начинались занятія, продолжавшіяся до половины восьмого.

Г л а в а V.

ПО ПОВОДУ РАЗНЫХЪ НЕИНТЕРЕСНЫХЪ ПРЕДМЕТАХЪ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ, ЧТО И ПРЕДЫДУЩЕЕ.

Зимой 1762 года мой дядя, губернаторъ въ Кунео, вернулся на нѣсколько мѣсяцевъ въ Туринъ, и найдя, что я могу кончить чахоткой, добился для меня еще нѣсколькихъ небольшихъ льготъ въ пищѣ, которая была улучшена, т. е. стала болѣе здоровой. Присоедините къ удовольствію выходить каждый день на улицу, чтобы посѣщать университетъ, изрѣдка хорошіе обѣды у дядюшки, затѣмъ дни отпуска, наконецъ, обычное сладкое дреманіе въ теченіе трехъ четвертей часа, во время уроковъ. Все это меня значительно ободрило и въ это время я сталъ замѣтно расти и развиваться. Моему дядѣ, бывшему нашимъ опекуномъ, пришла мысль выписать въ Туринъ и мою сестру Джулію, единственную, бывшую мнѣ сестрой и по отцу и по матери. Онъ думалъ помѣстить ее въ монастырь св. Креста, взявъ предварительно изъ обители св. Анастасія, въ Асти, гдѣ она жила больше шести лѣтъ на попеченіи одной нашей тетки, вдовы маркиза Тротти, давно удалившейся туда. Джульетта, вдали отъ нашихъ глазъ, росла въ своемъ монастырѣ, гдѣ ея воспитаніемъ занимались еще, пожалуй, меньше, чѣмъ моимъ, благодаря полной власти, которую она забрала надъ доброй тетушкой, сильно любившей и очень баловавшей ее. Сестрѣ было около пятнадцати лѣтъ; я былъ моложе ея на два съ лишнимъ года. Этотъ возрастъ у насъ обыкновенно уже заявляетъ о себѣ и громко говоритъ о любви нѣжному и хрупкому сердцу дѣвушекъ. Маленькая любовная исторія моей сестры, возможная при монастырскомъ порядкѣ, не понравилась дядѣ, хотя герой ея могъ

бы быть приличнымъ женихомъ для сестры; у дяди окрѣпло намѣреніе отдать Джульетту на попеченіе теткѣ съ материнской стороны, монахинѣ монастыря св. Креста. Свиданіе съ сестрой, которую я, какъ уже упомянуто, когда-то сильно любилъ и которая стала еще красивѣе за это время, доставило мнѣ большую радость и, освѣживъ мнѣ сердце и разумъ, сильно способствовало возстановленію моего здоровья. Общество сестры или скорѣе возможность, отъ времени до времени, видѣть ее, была мнѣ тѣмъ болѣе дорога, что мнѣ казалось, будто я облегчалъ ей немного страданія любви. Хотя и разлученная со своимъ возлюбленнымъ, она съ упорствомъ утверждала, что не желаетъ иного мужа. Я получилъ отъ Андрея, моего тюремщика, разрѣшеніе посѣщать ее почти каждый четвергъ и воскресенье: это были наши отпускные дни. И часто случалось мнѣ проводить все время свиданія съ сестрой, дившееся часъ и болѣе, плача вмѣстѣ съ ней у рѣшетки монастырской пріемной. Эти слезы были, повидимому, очень благотворны: всякій разъ я возвращался, хотя и печальный, но съ облегченнымъ сердцемъ, и, въ качествѣ философа, ободрялъ сестру и убѣждалъ ее настаивать на своемъ; она должна была, по моему мнѣнію, добиться, наконецъ, согласія дядюшки, оказывавшаго наибольшее сопротивленіе ея намѣреніямъ. Но время, оказывающее такое могущественное дѣйствіе и на самыя стойкія сердца, не замедлило исцѣлить сердце Джульетты и отдаленіе, препятствія, развлеченія и, главнымъ образомъ, воспитаніе, гораздо болѣе тщательное, чѣмъ то, какое она получала у тетушки, излѣчили сестру отъ любовнаго недуга и окончательно утѣшили горе въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ.

16 апрѣля.

Во время каникулъ этого года, посвященнаго философіи, я въ первый разъ пошелъ въ театръ Кариньяно, гдѣ давались комическія оперы. Это случилось благодаря милостивому содѣйствію моего дяди, архитектора, согла-

сившагося принять меня на эту ночь къ себѣ. Время окончанія театральныхъ представленій не согласовалось съ правилами академіи, не позволявшими никому возвращаться позже полуночи. Кромѣ того, намъ разрѣшалось посѣщать лишь королевскій театръ, куда насъ водили всѣхъ вмѣстѣ разъ въ недѣлю въ пору карнавала. Комическая опера, которую я имѣлъ счастье услышать благодаря хитрости добраго дядюшки, сказавшаго моему начальству, что онъ увозитъ меня съ собой въ деревню на 24 часа, называлась *Il Mercato di Malmantile*; въ ней пѣли лучшіе комическіе пѣвцы Италіи—Каратолли, Бальони со своими дочерьми, а музыка была написана однимъ изъ знаменитѣйшихъ въ то время композиторовъ. Блескъ и многозвучность этой чудесной музыки произвели на меня очень глубокое впечатлѣніе, оставивъ какъ бы яркій лучъ гармоніи въ моемъ слухѣ и воображеніи, задѣвъ самыя скрытыя закоулки моего существа. Такъ что въ продолженіе нѣсколькихъ недѣль я былъ погруженъ въ чрезвычайную меланхолію, которая, впрочемъ, была лишь пріятна мнѣ. Послѣдствіемъ этого было глубокое отвращеніе къ моимъ обычнымъ занятіямъ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, странное броженіе въ головѣ самыхъ фантастическихъ идей, которыя вдохновили бы меня къ писанію стиховъ, если бы я зналъ, какъ за это приняться, и развили бы во мнѣ очень страстныя чувства, если бы я не былъ въ такомъ же невѣдѣніи о себѣ самомъ, какъ и тѣ, кто считалъ себя моими воспитателями.

То было въ первый разъ, что музыка оказала на меня такое дѣйствіе и впечатлѣніе отъ нея оставило долгій слѣдъ въ моей памяти, такъ какъ никогда прежде я не испытывалъ столь сильныхъ ощущеній. И по мѣрѣ того, какъ я мысленно перебираю свои воспоминанія о карнавалѣ того года и о небольшомъ числѣ серьезныхъ оперъ, которыя мнѣ удалось услышать, сравнивая также впечатлѣнія, полученныя отъ нихъ съ тѣми, которыя я испытываю нынѣ, когда послѣ долгаго перерыва я вновь попадаю въ театръ, я начинаю сознавать, что

не существуетъ силы, болѣе неотразимо дѣйствующей на мою душу, сердце и разумъ, чѣмъ музыка вообще, а женскій голосъ и контральто—въ особенности. Ничто другое неспособно вызывать во мнѣ болѣе сильныхъ, болѣе потрясающихъ и разнообразныхъ чувствъ. Почти всѣ мои трагедіи задуманы подѣ непосредственнымъ впечатлѣніемъ прослушанной музыки или немного спустя.

Такъ прошелъ первый годъ моего пребыванія въ университетѣ и такъ какъ мои наставники сказали (я самъ не знаю, почему и какъ), что я отлично использовалъ этотъ годъ, я получилъ отъ дяди изъ Кунео разрѣшеніе пріѣхать къ нему въ этотъ городъ и провести тамъ двѣ недѣли въ августѣ. Это было вторымъ путешествіемъ за мою жизнь; и маленькій переѣздъ изъ Турина въ Кунео черезъ плодородную, веселую равнину нашего прекраснаго Пьемонта доставилъ мнѣ много радости и удался на славу, такъ какъ просторъ и движеніе всегда были для меня главнѣйшими элементами жизни. Однако, удовольствіе отъ путешествія было въ большой мѣрѣ ослаблено необходимостью совершить его въ наемномъ экипажѣ и ѣхать очень тихо, тогда какъ пять или шесть лѣтъ передъ тѣмъ, выѣхавъ впервые изъ дому, я съ такой быстротой прокатилъ пять станцій, отдѣляющихъ Асти отъ Турина. Мнѣ казалось, что съ годами мое положеніе ухудшилось и я былъ подавленъ этой позорной, ослиной меллитсльностью нашего пути. Поэтому, вѣзжая въ Кариньяно, въ Ракониджи, въ Савильяно, даже въ самое маленькое мѣстечко, я всякій разъ поглубже прятался въ уголъ своей противной коляски и закрывалъ глаза, чтобы не видѣть и не быть видимымъ; я боялся, что всякій прохожій непременно узнаетъ во мнѣ того самаго мальчика, который прежде такъ горделиво мчался на почтовыхъ, и посмѣется теперь надо мной за унижительную медленность. Такія чувства исходятъ изъ души пылкой и возвышенной или робко тщеславной и пустой. Не знаю: пусть судятъ объ этомъ на основаніи моей послѣдующей жизни. Но я твердо увѣренъ, что если бы вблизи меня въ

то время нашелся человекъ, свѣдущій въ дѣлахъ чело-
вѣческаго сердца, онъ могъ бы съ той самой поры сдѣ-
лать изъ меня нѣчто достойное, опираясь на имѣвшіяся
во мнѣ могучія побужденія—любовь къ похвалѣ и славѣ.

Во время краткаго пребыванія въ Кунео я сочинилъ
первый сонетъ, который затрудняюсь назвать своимъ,
такъ какъ то былъ винегретъ изъ чужихъ стиховъ,
либо списанныхъ цѣликомъ, либо испорченныхъ, не-
ловко пришитыхъ другъ къ другу и заимствованныхъ
у Метастазіо и Аріосто,—единственныхъ итальянскихъ
поэтовъ, которыхъ я немножко читалъ. Насколько помню,
въ нихъ не было ни рифмы, ни нужнаго числа стопъ.
Ганѣе я недурно сочинялъ латинскіе стихи въ гекзамет-
рахъ и пентаметрахъ, но никто не научилъ меня ни
одному правилу итальянскаго стихосложенія. Сколько я
ни старался съ тѣхъ поръ припомнить хотя бы одинъ
стихъ того сонета, мнѣ это не удавалось. Помню лишь,
что этотъ сонетъ былъ написанъ въ честь одной дамы,
за которой ухаживалъ мой дядя и которая нравилась
также и мнѣ. Сонетъ вышелъ, конечно, отвратительный;
это не помѣшало ему снискать себѣ похвалы, во-первыхъ,
воспѣтой дамы, которая ничего ровно не смыслила въ
этомъ дѣлѣ, а затѣмъ другихъ судей, столь же авторитет-
ныхъ. Благодаря этому я уже считалъ себя поэтомъ; од-
нако, дядя мой, суровый военный человекъ, достаточно
освѣдомленный въ политикѣ и исторіи, но совершенно
невинный въ области всякой поэзіи и мало этимъ обез-
покоенный, не одобрилъ произведенія моея рождавшейся
музы. Напротивъ, онъ порицалъ мой сонетъ и его колкія
насмѣшки замутили въ самомъ источникѣ мелкій потокъ
моего вдохновенія; и такъ случилось, что охота къ стихо-
творству вернулась ко мнѣ лишь, когда мнѣ минуло уже
двадцать пять лѣтъ. Сколько хорошихъ и дурныхъ сти-
ховъ погублено въ тотъ день рукой моего дяди въ колы-
бели моего перворожденного сонета!

1763.

Глупая философія смѣнилась въ слѣдующемъ году изученіемъ физики и этики, которое было распределено такимъ же образомъ, какъ на двухъ предшествующихъ курсахъ: физика—по утрамъ, этика—послѣ обѣда. Физика мнѣ, пожалуй, нравилась; но непрестанная борьба съ латинскимъ языкомъ и мое совершенное невѣжество въ геометріи ставили непреодолимые препятствія моимъ успѣхамъ. Поэтому я принужденъ, къ великому моему стыду и ради любви къ истинѣ, признаться, что послѣ цѣлаго года занятій физикой, подъ руководствомъ знаменитаго отца Беккариа, у меня не осталось въ головѣ ни одного опредѣленія и я не знаю ничего изъ его курса по электричеству, столь богатаго ученостью и изобилующаго замѣчательными открытіями. Тутъ повторилось со мною то же, что случилось по отношенію къ геометріи: благодаря точности моей памяти, я отлично сдавалъ провиночныя испытанія и получалъ отъ экзаменаторовъ болѣе похвалы, чѣмъ упрековъ. Поэтому зимой 1763 года дядя вздумалъ сдѣлать мнѣ небольшой подарокъ, чего онъ еще ни разу не дѣлалъ; онъ хотѣлъ вознаградить мое прилежаніе, о которомъ дошли до него самые лестные отзывы. Андрей съ пророческой торжественностью предупредилъ меня за три мѣсяца объ этомъ подаркѣ: онъ заявилъ мнѣ, что изъ вѣрнаго источника знаетъ, что я непременно получу его, если стану и дальше примѣрно вести себя, но рѣшительно не соглашался открыть, какую именно вещь мнѣ подарятъ.

Эта смутная надежда, которая росла и увеличивалась пылкимъ воображеніемъ, воодушевила меня и я сталъ еще болѣе усердствовать въ своей попугайской наукѣ. Наконецъ, случилось, что слуга дяди согласился показать драгоценный подарокъ, предназначавшійся мнѣ: то была серебряная шпага, довольно хорошей работы. Увидѣвъ ее, я воспламенился желаніемъ ее имѣть, и я ожидалъ каждый день, что получу ее, считая, что вполне это

заслужилъ; но шпага такъ и не стала моею. Насколько я понималъ или догадался впоследствии, дядѣ хотѣлось, чтобы я самъ попросилъ подарить мнѣ эту шпагу; однако, та самая черта моего нрава, которая нѣсколькими годами ранѣе, въ домѣ матери, помѣшала мнѣ высказать бабушкѣ свое желаніе, и на этотъ разъ заставила меня молчать, хотя я и тяготился этимъ. Такъ я и не попросилъ у дяди шпагу, и потому не получилъ ея.

Г л а в а VI.

ХИЛОСТЬ МОЕГО ЗДОРОВЬЯ.—ПОСТОЯННЫЯ НЕДОМОГАНІЯ.—ПОЛНАЯ НЕСПОСОБНОСТЬ КЪ КАКОМУ-ЛИБО ФИЗИЧЕСКОМУ НАПРЯЖЕНІЮ, ВЪ ОСОБЕННОСТИ КЪ ТАНЦАМЪ.—ПРИЧИНЫ.

Такъ прошелъ и этотъ годъ занятій физикой; лѣтомъ дядя былъ назначенъ вице-королемъ Сардиніи и сталъ готовиться къ отъѣзду. Онъ уѣхалъ въ сентябрѣ, передавъ меня попеченію тѣхъ немногочисленныхъ родственниковъ со стороны отца и матери, которые еще оставались у меня въ Туринѣ. Отъ веденія же денежныхъ моихъ дѣлъ и отъ опекунства онъ отказался или, по крайней мѣрѣ, раздѣлилъ эту заботу съ однимъ изъ своихъ друзей. Съ той поры я сталъ пользоваться нѣсколько большей свободой въ тратѣ денегъ, такъ какъ впервые началъ получать небольшое, но опредѣленное мѣсячное содержаніе, установленное моимъ новымъ опекуномъ. Дядя до сихъ поръ рѣшительно не соглашался на это; и, какъ тогда, такъ и сейчасъ, я считаю такой отказъ чрезвычайно неразумнымъ. Весьма вѣроятно, здѣсь мѣшалъ и Андрей, который, производя за меня необходимыя издержки, быть можетъ, не забывалъ и своихъ выгодъ и потому находилъ болѣе удобнымъ положеніе, при которомъ онъ одинъ представлялъ дядѣ отчеты о расходахъ и держалъ меня въ болѣе полной отъ себя зависимости. Этотъ Андрей

обладалъ поистинѣ умомъ государственнаго мужа изъ тѣхъ, какихъ въ наше время встрѣчается не мало и при томъ не изъ наименѣ знаменитыхъ. Въ концѣ 1762 года я перешелъ къ изученію гражданскаго и каноническаго права; эти науки должны были привести меня черезъ четыре года къ славѣ и увѣнчать адвокатскими лаврами. Но черезъ нѣсколько недѣль занятій юриспруденціей со мной вновь приключилась болѣзнь, которую я страдалъ два года назадъ, и отъ которой у меня слѣзла почти вся кожа съ головы. На этотъ разъ болѣзненные явленія были сильнѣе, чѣмъ раньше; до такой степени моя бѣдная голова была мало приспособлена къ тому, чтобы стать арсеналомъ опредѣлений, формулъ и прочихъ прелестей гражданскаго и каноническаго права. Лучше всего было бы сравнить состояніе покрововъ моего черепа съ землей, когда она въ засуху, выжженная солнцемъ, трескивается по всѣмъ направленіямъ, въ томленіи ожидая благодатнаго дождя. Изъ моихъ ранъ выдѣлялось столько гноя, что пришлось, скрѣпя сердце, обречь свои волосы въ жертву жестокимъ ножницамъ, и когда черезъ мѣсяцъ болѣзнь прошла, я былъ на-голо остриженъ и въ парикъ. Это происшествіе было однимъ изъ самыхъ печальныхъ въ моей жизни; тяжело было лишиться волосъ и надѣтъ парикъ, который тотчасъ сталъ предметомъ язвительныхъ насмѣшекъ моихъ дерзкихъ товарищей.

17 апрѣля.

Сначала я хотѣлъ было открыто встать на защиту несчастнаго парика, но сообразилъ вскорѣ, что никакой цѣной не спасти его отъ безудержнаго натиска насмѣшниковъ, и что я могу лишь погубить и себя вмѣстѣ съ нимъ; тогда я рѣшилъ тотчасъ же перейти во вражескій станъ. Я сорвалъ съ головы ни въ чемъ неповинный парикъ и прежде, чѣмъ дѣло приняло слишкомъ неблагоприятный оборотъ, подбросилъ его вверхъ какъ мячъ, измѣннически представивъ его всяческому поношенію. Черезъ нѣсколько дней общее возбужденіе, вызванное парикомъ, настолько

унылось, что я могъ спокойно носить его. И меня даже менѣ преслѣдовали за фальшивые волосы, чѣмъ двухъ-трехъ сотоварищей по несчастью. Я понялъ съ тѣхъ поръ, что всегда слѣдуетъ притвориться, будто отдаешь добровольно то, что все равно будетъ у тебя отнято.

Въ томъ же году у меня появились новые учителя,— одинъ по клавесину, другой по географіи. Я охотно занимался съ глобусомъ и картами, которые развлекали меня, и дѣлалъ недурные успѣхи въ географіи, куда присоединялись кое-какія свѣдѣнія по исторіи, въ особенности древней. Учитель географіи, родомъ изъ долины Аоста, преподавалъ по-французски и давалъ мнѣ для чтенія французскія книги, которыя я понемногу сталъ понимать; среди нихъ былъ Gil Blas, который привелъ меня въ восхищеніе: это была первая книга послѣ Энеиды въ переводѣ Каро, которую я прочелъ подрядъ и съ начала до конца. Съ той поры я сталъ увлекаться романами и прочелъ большое число ихъ въ родѣ „Кассандры“, „Альмажильды“ и т. п. Болѣе всего мнѣ нравились и сильнѣе всего меня трогали самые мрачные или самые чувствительные. Среди романовъ мнѣ попались „Записки значительнаго человѣка“, и я перечелъ ихъ по меньшей мѣрѣ разъ десять. Что же касается клавесина, то, несмотря на мою безмѣрную страсть къ музыкѣ и довольно большія природныя способности, я, все-таки, не дѣлалъ никакихъ успѣховъ и результатомъ моей игры было лишь физическое развитіе пальцевъ. Ноты совершенно не давались мнѣ, у меня былъ слухъ и музыкальная память, вотъ и все. Кромѣ всего прочаго, я приписываю непреодолимыя трудности, которыя я испытывалъ при ученіи нотъ, весьма неудачному выбору времени для урока: тотчасъ послѣ обѣда. Во всѣ поры жизни я на дѣлѣ убѣждался, что въ послѣобѣденный часъ я бываю совершенно неспособенъ къ какому бы то ни было умственному напряженію, не могу даже просто сосредоточить взоръ на бумагѣ или какомъ-либо предметѣ. Нотныя страницы, съ ихъ пятью строго параллельными линейками, плясали у меня въ гла-

захъ, и послѣ часового урока я отходилъ отъ клавесина какъ въ туманѣ и весь остатокъ дня чувствовалъ себя полубольнымъ и отупѣвшимъ.

Уроки танцевъ и фехтованія проходили не съ большимъ успѣхомъ: фехтованіе не давалось мнѣ, такъ какъ я былъ безусловно слабъ, чтобы долго находиться въ позиціи и принимать всѣ необходимыя положенія (къ тому же мнѣ приходилось браться за шпагу обыкновенно именно послѣ обѣда, часто даже какъ разъ послѣ клавесина); въ танцахъ же я не дѣлалъ успѣховъ потому, что глубоко ненавидѣлъ ихъ; кромѣ того, мой учитель былъ французъ, только что пріѣхавшій изъ Парижа; своимъ нагло-приличнымъ видомъ, каррикатурно вылощенными движеніями и слащавостью рѣчи онъ утверждалъ мою врожденную неприязнь къ этому кукольному искусству. Моя антипатія зашла такъ далеко, что по прошествіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ я совсѣмъ отказался отъ его уроковъ и такъ и не умѣлъ всю свою жизнь протанцовать даже половины менуэта. Достаточно одного этого слова, чтобы размѣшить меня и вмѣстѣ съ тѣмъ заставить раздражаться. Такъ дѣйствуетъ на меня съ того времени всякій французъ и всѣ ихъ поступки, представляющіе изъ себя нескончаемый менуэтъ, да еще часто плохо вытанцованный. Я отношу въ значительной степени на счетъ этого учителя танцевъ то неблагоприятное и, можетъ быть, несправедливое чувство, которое навсегда сохранилось у меня въ глубинѣ души противъ французской народности. У французовъ есть также немало милыхъ и цѣнныхъ качествъ, но первыя впечатлѣнія, которыя возникаютъ въ юномъ, столь воспримчивомъ, возрастѣ, уже не стираются и почти не ослабляются въ послѣдующіе годы. Позже разумъ борется съ ними, но это—борьба, которую надо возобновлять каждый день, чтобы добиться побѣды—безпристрастнаго сужденія; да и то оно рѣдко дается.

Отыскивая слѣды моихъ первыхъ размышленій, я нахожу еще двѣ причины, которыя съ дѣтскихъ лѣтъ про-

будили во мнѣ нерасположеніе ко всему французскому. Первая состоитъ въ томъ, что еще когда я жилъ въ Асти въ родительскомъ домѣ, до третьяго брака моей матери, черезъ этотъ городъ случилось проѣзжать герцогинѣ Пармской, французенкѣ по рожденію, которая ѣхала въ Парижъ или возвращалась оттуда. Она занимала со своими дамами и служанками огромную карету, всѣ онѣ были сильно нарумянены, что представляло для меня невиданное зрѣлище, такъ какъ въ Италіи румянъ не употребляли; все это сильно поразило мое воображеніе и я еще долго впослѣдствіи разспрашивалъ, теряясь въ догадкахъ, о томъ, какую цѣль могло имѣть украшеніе столь странное, смѣшное и столь противное природѣ. Вѣдь, когда болѣзнь, пьянство или любая иная причина придаетъ человѣческому лицу эту неприятную красноту, принимаютъ же мѣры, чтобы скрыть ее изъ опасенія стать предметомъ сожалѣнія или насмѣшекъ. Эти французскія мордочки надолго оставили во мнѣ глубокое чувство брезгливости и отвращенія къ французской женщинѣ.

А вотъ вторая причина моей антипатіи: когда, много времени спустя, я изучалъ географію, я отчетливо видѣлъ на картѣ, какъ велика разница въ протяженіи, занимаемомъ съ одной стороны Франціей, съ другой Англійей и Пруссіей; и, тѣмъ не менѣе, военныя извѣстія неизмѣнно говорили о новыхъ пораженіяхъ Франціи на сушѣ и на морѣ. Прибавьте къ этому, что еще въ раннемъ дѣтствѣ мнѣ говорили, что французы много разъ завладѣвали нашимъ Асти и что въ послѣдній разъ они были захвачены здѣсь въ мѣнѣ въ числѣ шести или семи тысячъ и даже болѣе, причемъ дозволили взять себя, какъ трусы, не оказавъ никакого сопротивленія, тогда какъ до этого вели себя, по своему обычаю, нагло и своевольно. Всѣ эти разнообразныя свойства, соединявшіяся для меня въ одно представленіе въ лицѣ моего учителя танцевъ, смѣшную наружность и нелѣпыя манеры котораго я изобразилъ выше, навсегда заронили въ мое сердце смѣшанное чувство отвращенія и презрѣнія къ этой неприятной націи.

Я увѣряю, что всякій человѣкъ, который въ зрѣломъ возрастѣ вздумаетъ спросить себя о первичныхъ причинахъ своихъ симпатій или антипатій къ отдѣльнымъ личностямъ, собирательнымъ цѣлымъ или даже народамъ, найдетъ, пожалуй, незамѣтная сѣмена этихъ чувствъ въ дѣтскихъ впечатлѣнiяхъ; можетъ быть, онѣ окажутся мало отличными отъ описанныхъ мною и столь же незначительными. Да! ничтожная вещь—человѣкъ.

Г л а в а VII.

СМЕРТЬ ДЯДИ.—Я СТАНОВЛЮСЬ ВПЕРВЫЕ СВОБОДНЫМЪ.—МОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЪ ПЕРВОЕ ОТДѢЛЕНИЕ АКАДЕМИИ.

1765.

Проживъ десять мѣсяцевъ въ Кальяри, дядя умеръ. Ему было не болѣе шестидесяти лѣтъ, но онъ сталъ слабъ здоровьемъ. Передъ отъѣздомъ въ Сардинiю, онъ постоянно говорилъ мнѣ, что я его больше не увижу. У меня не было къ нему настоящей привязанности. Я видался съ нимъ очень рѣдко и онъ былъ по отношенiю ко мнѣ строгъ, даже суровъ, хотя всегда справедливъ. Это былъ человѣкъ достойный уваженiя за прямоту и мужество, благодаря которымъ отличался на войнѣ. Одаренный очень твердымъ и очень рѣзко выраженнымъ характеромъ, онъ обладалъ всѣми нужными для начальствованiя качествами. Онъ слылъ, между прочимъ, за очень умнаго человѣка, но умъ его былъ совершенно задавленъ книгами, которыя онъ читалъ безъ всякой системы и безъ мѣры, и на которыя опирался съ самоувѣренностью, не дававшей пощады ни древней исторiи, ни новой. Меня не очень огорчила эта смерть, сразившая его вдали отъ меня и предвидѣнная всѣми его друзьями; къ тому же, благодаря ей, я становился свободнымъ и могъ неограниченно рас-

поряжаться доходами съ имущества моего отца, къ которому теперь прибавилось еще значительное наслѣдство дяди.

По пьемонтскимъ законамъ, юноши, достигшіе четырнадцатилѣтняго возраста, освобождаются отъ опеки, причемъ имъ назначаютъ попечителя, который предоставляетъ въ ихъ полное распоряженіе весь годовой доходъ, оставляя за собой власть запрещать продажу недвижимаго имущества. Сдѣлавшись столь самостоятельнымъ въ четырнадцатилѣтъ, я преисполнился гордостью и фантастическими планами. Въ это время пришелъ приказъ отъ опекуна удалить Андрея, моего полу-слугу, полу-воспитателя. Это было вполне разумно, такъ какъ онъ обратился въ настоящаго пьяницу, развратника и скандалиста. Его погубило бездѣлье и отсутствіе всякаго надзора. Онъ всегда дурно обращался со мною и когда бывалъ пьянъ, а это случилось четыре или пять дней въ недѣлю, то даже билъ меня. Во время моихъ частыхъ болѣзней онъ ограничивался тѣмъ, что давалъ мнѣ ѣсть, а потомъ уходилъ, оставляя меня запертымъ въ комнатѣ иногда отъ обѣда до самаго ужина. Все это, конечно, замедляло мое выздоровленіе и преждевременно вызвало то ужасное состояніе меланхолии, которое было естественнымъ слѣдствіемъ моего темперамента. И все же,—кто повѣритъ этому?—не одну недѣлю плакалъ я и вздыхалъ по немъ. Я не могъ противиться волѣ опекуна, у котораго были вѣскія основанія убрать его; но нѣсколько мѣсяцевъ подъ рядъ я навѣщалъ его по четвергамъ и воскресеньямъ, такъ какъ ему былъ запрещенъ входъ въ академію. Меня сопровождалъ къ нему новый лакей, ко мнѣ приставленный, человѣкъ хотя и грубоватый, но въ сущности добродушнаго нрава. Я даже снабжалъ его деньгами нѣкоторое время и давалъ ему всѣ, впрочемъ небольшія, имѣвшіяся у меня на рукахъ суммы. Въ концѣ концовъ онъ нашелъ себѣ другое мѣсто, и перемѣна обстановки, послѣдовавшая послѣ смерти дяди, развлекла меня настолько, что я пересталъ о немъ думать. Впослѣдствіи я старался отдать себѣ отчетъ въ этой не-

разумной привязанности къ столь недостойному человѣку. Если бы я хотѣлъ выставить себя въ лучшемъ свѣтѣ, я бы сказалъ, что она являлась результатомъ моего врожденнаго благородства, но на самомъ дѣлѣ причины были иныя. Лишь позже, при чтеніи Плутарха, я сталъ воспаменяться любовью къ славѣ и добродѣтели и учиться дивному искусству платить добромъ за зло. Я любилъ Андрея по старой семилѣтней привычкѣ и цѣнилъ тѣ хорошія качества, которыми онъ былъ одаренъ: легкость пониманія, ловкость въ исполненіи всего, за что бы онъ ни брался. Длиныя исторіи, которыя онъ мнѣ безпрестанно рассказывалъ, отличались складностью, были интересны и не лишены фантазіи. Благодаря имъ я скоро забывалъ его грубость и оскорбленія и онъ зналъ, что это было вѣрнымъ средствомъ примиренія. Тѣмъ не менѣе, мнѣ теперь трудно показать, какъ я, при своемъ врожденномъ отвращеніи къ насилію и грубости, могъ выкинуть къ гнету этого человѣка. Впослѣдствіи размышленіе объ этомъ сдѣлало меня снисходительнымъ къ деспотизму государей, который являлся только слѣдствиемъ ихъ дѣтскихъ впечатлѣній, оставляющихъ глубокій слѣдъ на всю жизнь.

Первое, чѣмъ я воспользовался по смерти дяди, была возможность посѣщать манежъ. Ходить туда было моимъ самымъ горячимъ желаніемъ, но до сихъ поръ мнѣ въ этомъ всегда отказывали. Теперь пріоръ академіи, узнавъ, что я хочу учиться верховой ѣздѣ, рѣшилъ использовать это для моего же блага. Онъ обѣщалъ мнѣ взять учителя верховой ѣзды, если я сдамъ университетскій экзамень по логикѣ, физикѣ и геометріи. Я тотчасъ же рѣшился на это и сталъ искать репетитора, который бы мнѣ помогъ возстановить въ памяти мои и безъ того сомнительныя познанія. Черезъ пятнадцать-двадцать дней я научился кое-какъ связывать дюжину латинскихъ фразъ и этого было достаточно, чтобы удовлетворительно отвѣчать на немногіе вопросы экзаменаторовъ. Такимъ путемъ, менѣе чѣмъ въ мѣсяцъ, я добился аттестата, вслѣдствіе чего, наконецъ,

могъ сѣсть въ первый разъ въ жизни на лошадь. Въ этомъ искусствѣ мнѣ суждено было отличиться много лѣтъ спустя. Тогда же я былъ малъ ростомъ, тѣлесенъ, не имѣлъ въ колѣняхъ той силы, которая необходима для искуснаго наѣздника. Но упорство и страстность, съ которыми я взялся за дѣло, замѣнили силу и я скоро сдѣлалъ замѣтные успѣхи въ умѣннн править лошадью, чувствовать ея движенія и особенности. Благодаря этому прекрасному упражненію я скоро поздоровѣлъ, выросъ и замѣтно возмужалъ. Словомъ, для меня началось новое существованіе.

По смерти дяди, опека смѣнилась попечительствомъ, гнѣтъ Андрея кончился, аттестатъ былъ въ карманѣ, лошадь въ моемъ распоряженіи, и надо было видѣть, какъ я день ото дня все выше подымалъ голову. Я объявилъ пріору и попечителю, что изученіе законовъ мнѣ надоѣло, что я на него только даромъ тратилъ время и твердо рѣшилъ бросить это. Попечитель посовѣтовался съ директоромъ академіи и они рѣшили перевести меня въ первое отдѣленіе: тамъ было больше свободы въ преподаваніи, о чемъ я говорилъ выше.

Я поступилъ туда 8 мая 1763 года. Лѣтомъ я остался тамъ почти въ единственномъ числѣ, осенью же возвратилось очень много иностранцевъ разныхъ національностей, за исключеніемъ французовъ; преобладали англичане. Прекрасный столъ, роскошная сервировка, разсѣянная жизнь, бездѣлье, хорошій сонъ, верховая ѣзда и съ каждымъ днемъ все большая свобода, всего этого было достаточно, чтобъ возстановить мое здоровье, укрѣпить его и усилить мою природную живость и смѣлость. Мои волосы отросли, я бросилъ парикъ, одѣвался какъ хотѣлъ, тратя на это не малые деньги, и какъ бы вознаграждая себя такимъ образомъ за черную одежду, которую долженъ былъ носить въ продолженіи пяти лѣтъ, проведенныхъ во второмъ и третьемъ отдѣленіи. Попечитель мой былъ сильно этимъ недоволенъ. Онъ считалъ, что мое платье слишкомъ нарядно и что я чрезмѣрно часто заказываю новое. Но портной, знавшій, что у меня есть

средства, охотно работалъ въ кредитъ и, кажется, одѣвался самъ на мой счетъ. Свободный, получившій только что большое наслѣдство, я скоро нашелъ друзей, готовыхъ исполнять всѣ мои затѣи, льстившихъ мнѣ, — словомъ, все, что приходитъ съ богатствомъ и исчезаетъ вмѣстѣ съ нимъ. Въ лихорадкѣ и новизнѣ закружившаго меня вихря, я въ свои четырнадцать съ половиной лѣтъ не такъ много натворилъ безумствъ, какъ этого можно было ожидать. Время отъ времени я ощущалъ внутренней призывъ къ работѣ. Тогда меня охватывало нетерпѣніе и стыдъ отъ собственнаго невѣжества, на счетъ котораго я нисколько не обманывалъ себя и не старался обманывать другихъ. Не имѣя ни прочнаго образованія, ни руководителя, не владѣя хорошо ни однимъ иностраннымъ языкомъ, я не зналъ куда и какъ направить свои силы. Благодаря чтенію многочисленныхъ французскихъ романовъ (итальянскіе читать невозможно) и постоянному общенію съ иностранцами, мнѣ не приходилось слышать итальянской рѣчи; и то небольшое по-тоскански (и какъ по тоскански!), что я узналъ во время комическихъ и нелѣпыхъ трехлѣтнихъ занятій риторикой и гуманитарными науками, понемногу стало испаряться. Французскій языкъ настолько занялъ мой праздный мозгъ, что въ первый годъ пребыванія въ академіи я въ порывѣ прилежанія впродолженіи двухъ или трехъ мѣсяцевъ почти цѣликомъ съ необлчайнымъ рвеніемъ прочелъ тридцать шесть томовъ исторіи церкви Флери. Я даже попробовалъ составлять французскіе конспекты и довелъ ихъ до восемнадцатой книги. Работу эту—нелѣпую, скучную и смѣшную—я исполнялъ съ большимъ упорствомъ; это доставляло мнѣ нѣкоторое удовольствіе, но было совершенно бесполезно. Книга Флери была толчкомъ для разочарованія моего въ священникахъ и во всемъ, что ихъ касается. Но скоро я бросилъ Флери и пересталъ думать объ этихъ вопросахъ. Конспекты же, которые я лишь недавно сжегъ, очень смѣшили меня, когда я ихъ просматривалъ спустя двадцать лѣтъ. Послѣ исторіи церкви я вновь набросился на романы, среди которыхъ

была и „Тысяча и одна ночь“, и перечитывалъ ихъ по нѣскольку разъ.

Въ это время я подружился съ нѣкоторыми молодыми людьми, которые были еще на попеченіи дядекъ. Мы встрѣчались ежедневно и устраивали кавалькады на скверныхъ, наемныхъ лошаденкахъ, рискуя сломать себѣ шею, какъ это было, напримѣръ, когда скакали изъ монастыря Камальдули въ Туринъ по отвратительной дорогѣ съ весьма крутымъ подъемомъ. Впослѣдствіи я не отважился бы на такую скачку и на самой лучшей лошади. Въ другой разъ мы мчались по лѣсу между По и Дорой, въ погонѣ за моимъ слугой. Мы изображали охотниковъ, а бѣдняга на своей клячѣ былъ оленемъ. Или же разнуздывали его лошадь и летѣли вслѣдъ за нимъ съ криками, хлопая хлыстами, стараясь губами подражать звуку рога. Перескакивали черезъ огромные рвы, часто скатываясь въ нихъ; переправлялись черезъ Дору вбродъ, обыкновенно тамъ, гдѣ она впадаетъ въ По. Однимъ словомъ, мы такъ безумствовали, что скоро намъ перестали давать въ наемъ лошадей за какую бы то ни было цѣну. Всѣ эти подвиги укрѣпляли мои силы и содѣйствовали умственному развитію. Они подготовляли мою душу цѣнить, выносить и, быть можетъ, современемъ пользоваться свободой, какъ физической такъ и моральной, свободой, которую я получилъ лишь теперь.

Г л а в а V I I I .

ПОЛНѢЙШЕЕ БЕЗДѢЛЬЕ.—СО МНОЙ СЛУЧАЮТСЯ НЕПРІЯТНОСТИ, КОТОРЫЯ Я МУЖЕСТВЕННО ПЕРЕНОШУ.

Въ это время никто не вмѣшивался въ мои дѣла, кромѣ новаго слуги. Мой попечитель считалъ его чѣмъ-то въ родѣ дядьки и вмѣнялъ ему въ обязанность всюду сопровождать меня. Я воспользовался его покладистостью и

извѣстной долей корысти, чтобы завоевать себѣ независимость. Несмотря на это, такъ какъ человѣкъ никогда не бываетъ вполне доволенъ, что въ особенности примѣнимо ко мнѣ, я скверно себя чувствовалъ, куда бы ни пошелъ, разъ всюду меня сопровождалъ лакей. Этотъ надзоръ былъ тѣмъ тягостнѣе, что лишь я одинъ изъ живущихъ въ первомъ отдѣленіи подвергался ему. Всѣ другіе могли выходить одни, когда и куда хотѣли. Я не слушалъ доводовъ, которые мнѣ приводили, что я самый младшій изъ всѣхъ, что мнѣ еще нѣтъ пятнадцати лѣтъ. Я вбилъ себѣ въ голову, что долженъ выходить одинъ. Я такъ и сдѣлалъ, и не говоря ни слова слугѣ и вообще никому, сталъ свободно распоряжаться собой. Сначала директоръ ограничился выговоромъ. Я не обратилъ на это никакого вниманія и снова ушелъ одинъ. На этотъ разъ я былъ подвергнутъ домашнему аресту. Черезъ нѣсколько дней меня выпустили, я повторилъ то же самое. Меня снова посадили подъ арестъ, еще болѣе строгій, я и послѣ этого не выказалъ желанія исправиться. Это повторялось періодически почти мѣсяцъ, такъ какъ наказаніе, каждый разъ болѣе суровое, на меня не дѣйствовало. Наконецъ, я объявилъ, что лучше ужъ меня все время держать подъ арестомъ, потому что я воспользуюсь свободой, чтобы опять уйти безъ спросу; что я не желаю ни въ чемъ, хорошемъ или дурномъ, отличаться отъ товарищей; что это отличіе несправедливо, отвратительно и дѣлаетъ меня всеобщимъ посмѣшищемъ. Если же находятъ, что я по лѣтамъ и характеру не гоюсь въ первое отдѣленіе, то пусть меня переведутъ обратно во второе. За всѣ эти дерзости меня продержали взаперти около трехъ мѣсяцевъ, т. е. весь карнавалъ 1764 года. Я упрямился и ни за что не хотѣлъ просить объ освобожденіи. Въ упорствѣ и озлобленіи я готовъ былъ скорѣе сгноить себя въ тюрьмѣ, чѣмъ покориться. Я спалъ почти цѣлый день, а къ вечеру растягивался на брошенномъ передъ каминномъ матрацѣ. Не желая ѣсть пищу, которую приносили мнѣ изъ академіи, я самъ на огнѣ варилъ по-

ленту и подобныя незамысловатыя кушанья. Я больше не причесывался, не одѣвался и велъ жизнь дикаря. Хотя мнѣ было запрещено выходить изъ комнаты, я могъ бы, все-таки, приглашать къ себѣ гостей, вѣрныхъ товарищей по героическимъ кавалькадамъ. Но я сталъ глухъ и нѣмъ, лежалъ неподвижно, какъ трупъ, не отвѣчая ни слова на вопросы. Такъ проводилъ я цѣлые часы, уставившись въ землю глазами полными слезъ, которыя всѣми силами сдерживалъ.

Г л а в а IX.

ЗАМУЖЕСТВО СЕСТРЫ.—МЕНЯ ВОЗСТАНОВЛЯЮТЬ ВЪ ПРАВАХЪ.—ПЕРВАЯ ЛОШАДЬ.

Наконецъ, одно обстоятельство—свадьба моей сестры Юліи съ графомъ Пѳацингомъ ди Куміана—избавило меня отъ этой жизни дикаго звѣря. Бракосочетаніе состоялось 1-го мая 1764 г., въ день для меня навсегда памятный; я ѣздилъ со свадебнымъ кортежемъ въ прелестную виллу Куміана за десять миль отъ Турина. Тамъ я провелъ необыкновенно веселый мѣсяцъ, какъ и должно было мнѣ казаться послѣ зимняго заключенія. Мой шуринъ сумѣлъ настоять на томъ, чтобы мнѣ была дана свобода и я вернулся въ академію на равныхъ правахъ со всѣми учениками перваго отдѣленія. Такимъ образомъ, я добился равенства съ товарищами цѣной долгаго заключенія. Кромѣ того, послѣ свадьбы сестры я получилъ позволеніе шире пользоваться своимъ имуществомъ. По закону мнѣ уже нельзя было этого запретить. Я воспользовался этимъ прежде всего, чтобы купить себѣ лошадь, которую взялъ съ собою на виллу Куміана. Это былъ прекрасный, бѣлый сардинскій конь, отличнаго сложенія, съ особенно изящной головой, шеей и грудью. Я любилъ его безумно и не могу вспомнить о немъ равнодушно и теперь. Страсть моя къ этой лошади лишила меня совершенно покоя. Я не ѣлъ и не спалъ

при малѣйшемъ ея нездоровьи; это случалось часто, такъ какъ она была очень горяча, а вмѣстѣ съ тѣмъ, и нѣжна. Но все это не мѣшало мнѣ мучить ее, когда я чувствовалъ ее подъ собой и она не хотѣла подчиниться моимъ фантазіямъ. Считаю, что это высокоцѣнное животное слишкомъ хрупко, я рѣшилъ завести себѣ другую лошадь, потомъ двухъ для коляски, одну для кабриолета и, наконецъ, еще двухъ верховыхъ. Такимъ образомъ, меньше чѣмъ въ годъ, у меня ихъ стало восемь. Надо было видѣть негодованіе моего попечителя,—самаго непокладистаго человѣка въ мірѣ; я, однако, заставилъ его плясать по своей дудкѣ. Когда мнѣ удалось, наконецъ, побороть мелочность и скупость этого попечителя, я, очертя голову, пустился въ мотовство, тратя главнымъ образомъ, какъ я уже сказалъ выше, на одежду. Нѣкоторые изъ моихъ товарищей англичанъ расходовали большія суммы и я ни за что не хотѣлъ отставать; вскорѣ мнѣ удалось даже перегнать ихъ. Но въ противоположность имъ мои друзья, жившіе внѣ академіи и съ которыми я видѣлся гораздо чаще, чѣмъ съ пансіонерами, были еще въ зависимости отъ родителей и имѣли мало денегъ. Такъ какъ они принадлежали къ лучшимъ семьямъ Турина, то, хотя ихъ платье было всегда очень изящно, ихъ расходы на удовольствія были сильно ограничены. Долженъ сознаться, что по отношенію къ этимъ послѣднимъ я всегда проявлялъ врожденное мнѣ свойство: никогда не стремился подчеркнуть свое превосходство среди тѣхъ, кто считалъ себя ниже меня по силѣ, уму, благородству, твердости характера, богатству. Поэтому, если мнѣ случалось одѣвать по утрамъ ко двору или на обѣдъ съ тѣми товарищами, которые соперничали со мной въ суетности, новую расшитую или мѣховую одежду, я всегда снималъ ее послѣ обѣда, въ часъ, когда приходили мои другіе друзья. Я даже тщательно пряталъ ее отъ нихъ въ шкафъ и стыдился этихъ нарядовъ передъ ними, какъ преступленія. Я упрекалъ себя за то, что обладалъ и кичился вещами, которыхъ не было у товарищей. Когда послѣ долгихъ

усилій, я добился отъ моего попечителя кареты, совершенно, впрочемъ, не нужной шестнадцатилѣтнему мальчику въ такомъ крошечномъ городкѣ какъ Туринъ, я никогда въ ней не показывался изъ-за того, что мои друзья вынуждены были ходить пѣшкомъ; что касается верховыхъ лошадей, то я нашелъ имъ оправданье въ томъ, что сдѣлалъ ихъ общимъ достояніемъ, несмотря на то, что у каждаго изъ пріятелей была собственная лошадь, содержащаяся на счетъ его родителей. Эта сторона роскоши доставляла мнѣ больше всего удовольствій и меньше угрызений совѣсти, такъ какъ она ничѣмъ не могла обидѣть товарищей. Когда теперь, стараясь быть правдивымъ, я оглядываюсь безпристрастно на мое отрочество, мнѣ кажется, что несмотря на всѣ ошибки кипучей юности, праздною, невоспитанной, невоздержанной,—во мнѣ жило естественное стремленіе къ справедливости, равенству, благородству, ко всему тому, что дѣлаетъ изъ челоука существо свободное или достойное стать свободнымъ.

Глава X.

ПЕРВАЯ МАЛЕНЬКАЯ ЛЮБОВЬ.—ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВІЕ.—ПОСТУПЛЕНІЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ.

1763.

Около мѣсяца прожилъ я въ деревнѣ, въ семьѣ двухъ братьевъ, моихъ лучшихъ товарищей и спутниковъ въ кавалькадахъ. Тутъ впервые я испыталъ несомнѣнное чувство любви къ женѣ ихъ старшаго брата. Это была маленькая брюнетка, живая, преисполненная острой граціи, производившей на меня большое впечатлѣніе. Симптомы страсти, впоследствии заставлявшей меня погружаться во всѣ бездны порока, проявлялись у меня тогда въ глубокой и непреходящей меланхоліи, въ постоянномъ исканіи любимаго существа и во внезапномъ бѣгствѣ отъ него. Когда

случайно мы бывали вмѣстѣ, впрочемъ, никогда не оставаясь на-единѣ (родители ея мужа очень слѣдили за ней), я испытывалъ ужасное смущеніе при разговорѣ съ ней.

Пріѣхавъ изъ деревни, я бѣгалъ по всему городу въ надеждѣ встрѣтиться съ нею гдѣ-нибудь на улицѣ, въ общественныхъ садахъ Валентино или около крѣпости. Я не выносилъ, когда говорили о ней, не смѣя самъ называть ея имени. Однимъ словомъ, я испыталъ все то, что такъ умѣло и любовно описалъ нашъ божественный маэстро божественной страсти—Петрарка и что столь немногіе могутъ понять и тѣмъ болѣе пережить сами. Но только этимъ избраннымъ дана окрыленность, поднимающая ихъ высоко надъ толпой во всѣхъ родахъ человѣческаго искусства. Это первое увлеченіе, не приведшее ни къ какимъ послѣдствіямъ, долго тлѣло въ глубинѣ моего сердца. И въ послѣдующіе годы, въ моихъ долгихъ путешествіяхъ, я всегда создавалъ себѣ правила поведенія, точно нѣкій голосъ повторялъ въ самыхъ тайникахъ моей души: если ты исправился въ томъ или этомъ отношеніи, то, можетъ быть, по возвращеніи ты ей понравишься больше и при тѣхъ условіяхъ сможешь сдѣлать жизнью то, что было лишь мечтой.

Осенью 1765 г. я ѣздилъ съ опекуномъ на десять дней въ Геную. Я въ первый разъ уѣзжалъ изъ Пьемонта. Видъ моря преисполнилъ меня восторгомъ и я не могъ насмотрѣться на него. Живописность этого прекраснаго города не менѣе подѣйствовала на мое воображеніе и, если бы я хорошо владѣлъ словомъ, или попалась мнѣ подъ руку книга какого-нибудь поэта, я бы навѣрно началъ писать стихи. Но уже около двухъ лѣтъ я не раскрывалъ ни одной книги, за исключеніемъ нѣкоторыхъ французскихъ романовъ (да и то весьма рѣдко) или двухъ-трехъ томовъ Вольтеровской прозы, доставлявшей мнѣ огромное наслажденіе. Всю дорогу я испытывалъ высокую радость при мысли, что вновь увижу свою мать и городъ, гдѣ я родился и который покинулъ семь лѣтъ назадъ; а въ такомъ возрастѣ семь лѣтъ—это вѣчность.

И мнѣ стало казаться, что я совершилъ очень важное дѣло и очень много увидѣлъ новаго. Даже, если бы мнѣ и удалось поразить моихъ городскихъ друзей (что, впрочемъ, я никогда не пытался дѣлать изъ боязни ихъ унизить), то въ противоположность имъ я себя чувствовалъ мальчишкой передъ товарищами по академіи; всѣ они были изъ дальнихъ странъ—Англии, Германіи, Россіи, Польши и пр. Мое путешествіе для нихъ было пустякомъ и они были, конечно, правы. Это разжигало мою страсть къ путешествіямъ; мнѣ хотѣлось самому видѣть всѣ эти страны.

1766.

Изъ-за бездѣлья и постоянной распущенности, послѣдніе восемнадцать мѣсяцевъ, проведенные въ первомъ отдѣленіи, показались мнѣ краткими. Въ первый годъ поступленія я записался въ число желающихъ служить. Въ маѣ 1766 г. тому исполнилось три года и къ этому времени я оказался среди ста пятидесяти молодыхъ людей, получившихъ ожидаемое назначеніе. Уже прошло болѣе года какъ, страннымъ образомъ, остылъ мой пылъ къ военной карьерѣ, но такъ какъ я не взялъ обратно своего прошенія, то считалъ своимъ долгомъ не мѣнять рѣшенія. Я получилъ чинъ знаменосца въ провинціальномъ отрядѣ въ Асти.

Сначала, движимый страстью къ лошадямъ, я просился было въ кавалерію, но потомъ раздумалъ, отдавъ предпочтеніе провинціальному полку, гдѣ въ мирное время служба ограничивалась сборами дважды въ годъ. Такимъ образомъ, я былъ свободенъ и могъ бездѣльничать; а это было единственное, что я намѣревался дѣлать. Все-таки, эта служба была мнѣ очень непріятна, такъ какъ я уже не могъ болѣе оставаться въ академіи, гдѣ прекрасно себя чувствовалъ. Мнѣ было настолько же хорошо теперь тамъ, насколько раньше я себя плохо чувствовалъ въ двухъ другихъ отдѣленіяхъ и первые восемнадцать мѣсяцевъ въ первомъ. Но надо было смириться и въ маѣ я покинулъ академію, въ которой провелъ почти

восемь лѣтъ. Въ сентябрѣ я отправился на первый сборъ моего полка въ Асти и исполнилъ въ точности всѣ свои немногія обязанности, хотя и съ отвращеніемъ. Я никакъ не могъ привыкнуть къ той цѣпи зависимостей, которая называется субординаціей. Она, конечно, составляетъ душу военной дисциплины, но въ ней мало полезнаго для души будущаго трагическаго поэта. Выйдя изъ академіи, я снялъ въ домѣ, гдѣ жила моя сестра, маленькую, но изящную квартиру, тратя деньги, главнымъ образомъ, на лошадей, на излишества всякаго рода, на обѣды, которые я устраивалъ своимъ друзьямъ и бывшимъ товарищамъ по академіи. Моя манія путешествовать возрасла послѣ безконечныхъ бесѣдъ съ иностранцами и я даже рѣшился на хитрость, несвойственную моей натурѣ, чтобы добиться позволенія посѣтить Римъ и Неаполь и остаться тамъ, по крайней мѣрѣ, на годъ. Но такъ какъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, въ семнадцать съ половиною лѣтъ меня не пустили бы одного, то я все вертѣлся около одного англичанина-гувернера, католика, чтобы вывѣдать, склоненъ ли онъ взять меня подъ свой надзоръ. Онъ долженъ былъ сопровождать въ эту часть Италіи фламандца и голландца, съ которыми я одновременно болѣе года былъ въ академіи. Въ концѣ концовъ я внушилъ этимъ молодымъ людямъ, что имъ будетъ очень пріятно путешествовать со мною. Затѣмъ благодаря шурина, я получилъ отъ короля позволеніе ѣхать съ англичаниномъ-гувернеромъ, человѣкомъ пожилымъ, очень хорошей репутаціи, и нашъ отъѣздъ былъ назначенъ въ первыхъ числахъ октября. Это былъ первый и рѣдкій случай моей жизни, когда я шелъ окольными путями и велъ интриги; но это было необходимо, чтобы уговорить гувернера, шурина и, главнымъ образомъ, скупѣйшаго попечителя. Все кончилось удачно, но въ душѣ мнѣ было стыдно и я былъ золъ, что для этого пришлось столько просить, скрывать и притворяться. Король, который въ нашей маленькой странѣ вмѣшивается въ самыя незначительныя событія, всегда неохотно позволялъ дворянамъ

путешествовать, въ особенности же неохотно онъ отпустилъ такого почти ребенка, едва оперившагося и уже обнаружившаго такой характеръ, какъ я.

Пришлось низко кланяться, но благодаря моей счастливой звѣздѣ, я скоро получилъ возможность выпрямиться во весь ростъ.

Тутъ, кончая вторую часть, я замѣчаю, что испортилъ ее столькими мелочами, что она стала еще менѣе интересной, чѣмъ первая и поэтому я посоветую читателю не останавливаться на ней. Эти восемь лѣтъ моего отрочества наполнены лишь болѣзнями и бездѣльемъ.

ЭПОХА ТРЕТЬЯ.

ЮНОСТЬ.

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ДЕСЯТЬ ЛѢТЪ ПУТЕШЕ-
СТВІЙ И БЕЗПОРЯДОЧНОЙ ЖИЗНИ.

ГЛАВА I.

ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВІЕ.—МИЛАНЪ.—ФЛОРЕНЦІА.— РИМЪ.

1766.

4 октября 1766 года, утромъ, съ присущей мнѣ пылкостью, я отправился въ давно желанное путешествіе, послѣ ночи, проведенной безъ сна, въ безумныхъ мечтаніяхъ. Въ нашей каретѣ было четверо уже извѣстныхъ вамъ людей, за нами слѣдовалъ кабріолетъ съ двумя слугами; двое другихъ помѣстились на козлахъ нашего экипажа, а мой камердинеръ ѣхалъ верхомъ, курьеромъ. Но это не былъ тотъ старичокъ слуга, котораго приставили ко мнѣ три года назадъ въ видѣ дядьки,—я оставилъ его въ Туринѣ. Мой новый камердинеръ былъ нѣкто Илья, который лѣтъ двадцать жилъ у моего дяди, а послѣ его смерти перешелъ ко мнѣ. Онъ уже путешествовалъ съ этимъ дядей и побывалъ во Франціи, Англіи, Голландіи и два раза въ Сардиніи. Это былъ необыкновенно дѣятельный человекъ рѣдкаго ума; онъ одинъ стоилъ четырехъ другихъ слугъ; между прочимъ, онъ будетъ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ въ комедіи этого моего путешествія; онъ сразу сталъ единственнымъ и настоящимъ его руководителемъ, въ виду неспособности къ этому остальныхъ восьми путешественниковъ: полу-дѣтей, полу-впавшихъ въ дѣтство.

Первый разъ мы остановились въ Миланѣ, гдѣ провели около двухъ недѣль. Для меня, два года тому назадъ видѣвшаго Геную, и привыкшаго къ великолѣпному мѣстоположенію Турина, видъ Милана не представлялъ никакого интереса. Тѣ сокровища, которыя можно было уви-

дать здѣсь, я не видалъ, или осматривалъ плохо и бѣгло, какъ совершенный невѣжда, не имѣющей склонности ни къ пріятнымъ, ни къ полезнымъ искусствамъ. Помню, между прочимъ, какъ въ Амброзіанской бібліотекѣ, я, какъ настоящій варваръ, не зналъ, что дѣлать съ одной изъ подлинныхъ рукописей Петрарки, которую мнѣ далъ посмотреть бібліотекаръ. Въ глубинѣ души у меня сохранилось чувство непріязни къ Петраркѣ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, занимаясь философійю, я случайно наткнулся на томъ Петрарки; просмотрѣвъ нѣсколько страницъ, я прочелъ отрывки нѣкоторыхъ стиховъ, въ которыхъ не могъ уловить никакого смысла, разбираясь въ нихъ съ большимъ трудомъ; поэтому, какъ это часто дѣлаютъ французы и вообще всѣ самомнительные невѣжды, я причислилъ Петрарку къ скучнымъ и нелѣпымъ писателямъ,—неудивительно, что я такъ обошелся съ его безцѣнными манускриптами.

Кромѣ того, уѣзжая, я взялъ съ собою нѣкоторыя итальянскія путешествія, написанныя по французски, и потому съ каждымъ днемъ дѣлалъ новые успѣхи въ этомъ языкѣ. Со своими спутниками я говорилъ тоже по французски, какъ въ путешествіи, такъ и въ тѣхъ миланскихъ домахъ, которые мы посѣщали вмѣстѣ. Такимъ образомъ, все немногое, чѣмъ наполнялось и надъ чѣмъ размышляла моя бѣдная голова, было одѣто въ лохмотья французскаго; я писалъ кое-какія письма—по-французски; кое-что изъ курьезныхъ замѣтокъ объ этомъ путешествіи писалось тоже по-французски и хуже всего было то, что я и этого языка не зналъ порядочно; не помнилъ ни одного правила, если когда-либо и зналъ ихъ; и зналъ еще менѣе итальянскій, пожиналъ достойные плоды того горестнаго обстоятельства, что родился въ несамостоятельномъ по языку Пьемонтѣ и получилъ столь серьезное образованіе.

Мы пробыли въ Миланѣ около трехъ недѣль. Я велъ глупыя путевыя записки, но скоро предалъ ихъ единственному исправленію, котораго они заслуживали—бросилъ

въ печку. И здѣсь я не стану распространяться объ этомъ полудѣтскомъ путешествіи, и о столь всѣмъ извѣстныхъ странахъ. Скажу лишь немного о тѣхъ городахъ, которые я осматривалъ, какъ вандалъ, чуждый изящнымъ искусствамъ, и буду говорить, главнымъ образомъ, о себѣ, избравъ себя злополучнымъ героемъ этого повѣствованія.

Мы скоро достигли Болоньи, проѣхавъ черезъ Пьяченцу, Парму и Модену. Мы лишь не надолго останавливались въ этихъ городахъ, осматривая ихъ достопримѣчательности поверхностно и невнимательно. Наибольшимъ и даже единственнымъ удовольствіемъ путешествія были для меня переѣзды, которые я совершалъ верхомъ, скача впереди. Болонья со своими портиками и монахами не очаровала меня; о живописи болонской я ничего не узналъ; и, преслѣдуемый жаждой переменъ мѣстъ и впечатлѣній, я постоянно мучилъ нашего стараго наставника, торопя его продолжать путь. Мы пріѣхали во Флоренцію въ концѣ октября; это былъ первый городъ послѣ Турина и Генуи, который понравился мнѣ своимъ мѣстоположеніемъ. Мы провели здѣсь цѣлый мѣсяць. Художественная слава Флоренціи побуждала меня кое какъ осмотрѣть галерею, палаццо Питти и нѣкоторыя церкви, но я не получилъ отъ этого никакого удовольствія; въ особенности не чувствовалъ я живописи. Если бы у меня была малѣйшая склонность къ искусству, скульптура и архитектура скорѣе бы заинтересовали меня; быть можетъ, тутъ было отдаленное вліяніе почтеннаго дяди-архитектора. Среди немногихъ вещей, замѣченныхъ мною, была гробница Микель-Анджело въ Санта-Кроче, вызвавшая во мнѣ размышленія объ этомъ великомъ человѣкѣ; и тогда я ясно почувствовалъ, что истинно велики лишь тѣ люди (много ли ихъ?), которые оставляютъ человѣчеству долговѣчныя произведенія рукъ своихъ. Но это размышленіе было одинокимъ среди той постоянной разсѣянности духа, въ которой я жилъ, и его можно было буквально назвать каплей въ морѣ. Среди заблужденій молодости, которыя

всегда будутъ вызывать во мнѣ краску стыда, не послѣднее мѣсто занимаетъ слѣдующая глупая выдумка: во время нашего короткаго пребыванія во Флоренціи я вздумалъ брать уроки англійскаго языка у плохого учителя, съ которымъ встрѣтился случайно, вмѣсто того, чтобы заниматься итальянскимъ; будучи въ центрѣ Тосканы, съ ея изумительнымъ нарѣчіемъ, я могъ бы на практикѣ изучить его; но я продолжалъ варварски искажать итальянскій языкъ и всячески избѣгалъ говорить на немъ, такъ какъ лѣнь заглушала во мнѣ чувство стыда за мое незнаніе. Тѣмъ не менѣе, я старался исправить свое произношеніе, избѣгая употреблять французскій и ломбардскій звукъ „и“ *), который заставляетъ такъ некрасиво складывать губы, что человѣкъ становится похожимъ на обезьяну, собирающуюся говорить. И теперь еще, несмотря на то, что я прожилъ во Франціи пять или шесть лѣтъ и достаточно привыкъ къ этому „и“, я невольно улыбаюсь, вслушиваясь въ его произношеніе.

Теряя, такимъ образомъ, время во Флоренціи, гдѣ почти ничего не видалъ, я скоро соскучился и сталъ तो рошить нашего ментора; 1 декабря мы отправились въ Лукку, черезъ Прато и Пистойю. День, проведенный въ Луккѣ, мнѣ показался цѣлой вѣчностью и мы поспѣшили въ Пизу. Несмотря на то, что я вполне оцѣнилъ Кампо-Санто, но мы также пробыли здѣсь лишь день и не медля тронулись въ Ливорно. Этотъ городъ очень мнѣ понравился, какъ своимъ сходствомъ съ Туриномъ, такъ и мѣстоположеніемъ на берегу моря, которымъ я никогда не могъ вдоволь налюбоваться.

Въ Ливорно мы пробыли восемь-десять дней; я продолжалъ болтать исключительно по-англійски, пренебрегая тосканскимъ. Когда, позже я старался понять причину этого глупаго предпочтенія, то нашелъ, что мной, помимо моего сознанія, руководило ложное самолюбіе. Я болѣе двухъ лѣтъ прожилъ среди англичанъ, слышалъ, какъ превозносились могущество и богатство Англій и видѣлъ ея политическое вліяніе; съ другой стороны передо мной была

умирающая Италія и слабые, разъединенные и униженные итальянцы; я стыдился своего происхожденія и не хотѣлъ имѣть съ ними ничего общаго.

Изъ Ливорно мы отправились въ Сиену. Этотъ городъ мнѣ не очень понравился самъ по себѣ; но такова сила истинно-прекраснаго, что и почувствовалъ, будто лучъ свѣта озарилъ мою душу; я былъ глубоко очарованъ рѣчью здѣшнихъ жителей; самые скромные изъ нихъ говорили съ такой удивительной точностью и правильностью выражений. И тѣмъ не менѣе, я лишь день пробылъ въ Сиенѣ. Время моего литературнаго и политическаго обращенія было еще далеко: мнѣ предстояло долго жить за предѣлами Италіи, чтобы узнать и оцѣнить итальянцевъ. Итакъ, я отправился въ Римъ. Сердце у меня замирало, я плохо спалъ по ночамъ и цѣлые дни думалъ о св. Петрѣ, о Колизеѣ, Пантеонѣ и о всѣхъ другихъ прославленныхъ сокровищахъ Рима. Мое воображеніе то и дѣло останавливалось на различныхъ мѣстностяхъ, извѣстныхъ изъ римской исторіи, которую я зналъ въ общихъ чертахъ; я изучалъ ее плохо и беспорядочно, но это была единственная исторія, которую я соглашался хоть немного изучать въ дни отрочества.

Наконецъ, въ одинъ изъ декабрьскихъ дней 1766 года я оказался передъ Порта-дель-Пополо, о которыхъ такъ мечталъ. Начиная отъ Витербо, мое настроеніе очень перемѣнилось подъ впечатлѣніемъ унылыхъ пейзажей, говорящихъ о бѣдности и бесплодіи этой страны. Но величественныя Порта-дель-Пополо глубоко очаровали меня, вернули мнѣ бодрость духа. Едва высадившись въ гостиницѣ на Пьяцца ди Спанья, мы, трое юношей, употребили остатокъ дня на бѣглый осмотръ города, оставивъ наставника отдыхать. Между прочимъ, мы посѣтили Пантеонъ. На товарищѣ моихъ все видѣнное произвело бѣльшее впечатлѣніе, чѣмъ на меня. Нѣсколько лѣтъ спустя, познакомившись со странами, откуда они были родомъ, я понялъ причину ихъ энтузіазма. На этотъ разъ мы провели въ Римѣ лишь восемь дней, стараясь спѣшно удовлетворить наше

нетерпѣливое любопытство. Что касается меня, я предпочиталъ два раза въ день возвращаться въ соборъ св. Петра вмѣсто того, чтобы смотрѣть новое. Долженъ сказать, что это изумительное собраніе величественныхъ созданий рукъ человѣческихъ съ перваго раза поразило меня менѣе, чѣмъ я этого ожидалъ и желалъ; мое восхищеніе возрастало постепенно: даже больше того, я только тогда дѣйствительно оцѣнилъ величіе этихъ памятниковъ, когда, много лѣтъ спустя, утомленный жалкой роскошью сѣверныхъ странъ, вернулся въ Римъ и прожилъ здѣсь нѣсколько лѣтъ.

Глава II.

ПРОДОЛЖЕНІЕ ПУТЕШЕСТВІЯ.—Я ИЗБАВЛЯЮСЬ ОТЪ НАСТАВНИКА.

1767.

Между тѣмъ, зима приближалась и я торопился нашего безпечнаго наставника скорѣе ѣхать въ Неаполь, гдѣ было рѣшено провести карнавалъ. Мы отправились въ извозчичьей каретѣ, такъ какъ съ одной стороны дорога отъ Рима до Неаполя была тогда очень плоха, а съ другой, мой камердинеръ Илья, упавъ съ лошади въ Радикофани, сломалъ себѣ руку; мы взяли его въ свою карету, гдѣ онъ очень страдалъ отъ толчковъ, по дорогѣ въ Римъ. Въ этомъ случаѣ онъ выказалъ большую душевную силу, твердость и присутствіе духа: онъ самъ поднялся, взялъ лошадь подъ уздцы, дотащился пѣшкомъ и безъ посторонней помощи до Радикофани, больше, чѣмъ за милю разстоянія. Въ Радикофани онъ послалъ за хирургомъ и въ ожиданіи его попросилъ засучить себѣ рукавъ, самъ ощупалъ руку и, убѣдившись, что она сломана, вправилъ ее и настолько хорошо, что хирургъ, пріѣхавшій одновременно съ нами, не счелъ нужнымъ поправлять его

дѣло и удовольствовался тѣмъ, что забинтовалъ руку. Менѣе чѣмъ черезъ, часъ мы отправились далѣе, уложивъ въ карету бѣднаго Илью, который, несмотря на жестокия страданія, старался сохранить спокойное выраженіе лица. Въ Аквапенденте у нашей кареты сломалось дышло и мы всѣ очутились въ большомъ затрудненіи, рѣшительно не зная, что дѣлать; я говорю „всѣ“, имѣя въ виду только насъ,—молодыхъ людей, стараго наставника и четырехъ слугъ; что касается Ильи, то, несмотря на подвязанную руку, онъ больше всѣхъ суетился и старался починить дышло. Благодаря его помощи, намъ удалось черезъ два часа пуститься въ дальнѣйшій путь и починенное дышло благополучно дотащило насъ до Рима.

Мнѣ захотѣлось упомянуть объ этомъ эпизодѣ моего путешествія, ясно указывающемъ на мужество и присутствіе духа этого скромнаго человѣка; да и вообще я не могу не поклоняться передъ простыми и естественными добродѣтелями, къ которымъ такъ несправедливо относятся недостойные правители, не довѣряя имъ и стараясь ихъ подавить....

Мы пріѣхали въ Неаполь на второй день Рождества; погода стояла почти весенняя. Я никогда не забуду нашего вѣзда отъ Капо-ди-Кина по улицамъ Студи и Толедо. Городъ произвелъ на меня впечатлѣніе чрезвычайно веселаго и оживленнаго.

Первыя впечатлѣнія смѣнились иными, когда пришлось остановиться въ очень скверномъ постояломъ дворѣ, въ грязномъ и темномъ закоулкѣ: лучшія гостиницы были переполнены иностранцами. Эта непріятность омрачала мое пребываніе въ Неаполѣ, такъ какъ помѣщеніе всегда оказывало и оказываетъ большое вліяніе на состояніе моего капризнаго духа.

Съ первыхъ же дней, по рекомендаціи нашего посла, я былъ представленъ во многіе дома. Благодаря публичнымъ спектаклямъ, безчисленнымъ частнымъ празднествамъ и разнообразію развлеченій, здѣшній карнавалъ показался мнѣ роскошнѣе и интереснѣй, чѣмъ въ Туринѣ.

Тѣмъ не менѣе, въ водоворотѣ новыхъ и постоянныхъ развлеченій, совершенно независимый, богатый, привлекательный по наружности, восемнадцати лѣтъ, въ душѣ я испытывалъ пресыщеніе, скуку и тоску. Наибольшимъ моимъ удовольствіемъ было посѣщеніе новаго театра—буффъ; но музыка, даже и легкая, всегда навѣвала на меня меланхолю, вызывая печальныя и мрачныя мысли. Впрочемъ, въ этомъ я находилъ особую прелесть, которой упивался въ одинокихъ прогулкахъ по набережнымъ Кіаіа и Портичи. Я познакомился съ нѣкоторыми молодыми неаполитанцами, но ни съ кѣмъ не сдружился: неподатливый характеръ мѣшалъ мнѣ искать сближенія съ людьми и эта особенность, отражавшаяся, вѣроятно, на моемъ лицѣ, мѣшала и другимъ сойтись со мной. То же было и съ женщинами, къ которымъ я вообще чувствовалъ большую склонность; я предпочиталъ скромныхъ, а нравился только наглымъ. Кромѣ того, горячее желаніе продолжить путешествіе и по ту сторону горъ, заставляло меня старательно избѣгать всякихъ любовныхъ цѣпей; благодаря этому въ первое свое путешествіе я избѣжалъ ловушекъ. Я цѣлыми днями ѣздилъ по окрестностямъ, но не изъ-за интереса къ посѣщаемымъ мѣстамъ, а исключительно изъ любви къ передвиженію: мнѣ никогда не надоѣдало ѣхать, а на одномъ мѣстѣ я скорѣе начиналъ скучать.

Будучи представленъ ко двору, я нашелъ большое сходство въ манерахъ между Фердинандомъ IV, которому было тогда лишь 15—16 лѣтъ, и тѣми тремя правителями, которыхъ мнѣ приходилось видѣть раньше: нашего прекраснѣйшаго стараго короля Карла-Эммануила, правителя Милана-герцога моденскаго и великаго герцога Тосканскаго-Леопольда, еще совсѣмъ юношу. Изъ этого я заключилъ, что всѣ государи на одно лицо и что всѣ дворы—одна лакейская. Во время пребыванія въ Неаполѣ, я вторично прибѣгъ къ хитрости: я обращался къ нашему сардинскому послу съ тѣмъ, чтобы получить отъ Туринскаго двора разрѣшеніе оставить своего наставника

и продолжать путешествіе самостоятельно. Я прекрасно ладилъ со своими молодыми спутниками и наставникъ намъ ничѣмъ не докучалъ; но при переѣздахъ изъ города въ городъ, нужно было столковываться между собой, въ поискахъ-же помѣщенія онъ постоянно колебался, тормозилъ дѣло и этимъ стѣснялъ насъ. Итакъ, я рѣшился просить министра написать обо мнѣ въ Туринъ, чтобы засвидѣтельствовать мое хорошее поведеніе и доказать, что я вполне способенъ жить и путешествовать самостоятельно. Дѣло къ счастью удалось и я былъ отъ души благодаренъ посланнику, который съ своей стороны отнесся ко мнѣ съ большой симпатіей и посовѣтовалъ заняться политикой, чтобы обезпечить себѣ дипломатическую карьеру. Это предложеніе пришлось мнѣ по сердцу и я съ удовольствіемъ остановился на немъ мыслью, считая, что этотъ родъ службы наименѣе униженъ; однако, я не предпринималъ ничего для осуществленія своихъ намѣреній. Я никому не говорилъ объ этихъ своихъ мысляхъ и старался держать себя не по лѣтамъ серьезно и благопристойно. Мои природныя качества помогли мнѣ въ этомъ больше, чѣмъ сила воли; я всегда былъ серьезнаго нрава (и это не было обманомъ), и въ самой беспорядочности соблюдалъ порядокъ; заблуждаясь я всегда сознавалъ, что заблуждаюсь.

Между тѣмъ, совершенно не разбираясь въ себѣ, не находя въ себѣ способностей ни къ чему и страдая вдобавокъ склонностью къ постоянной меланхоли, я нигдѣ не находилъ покоя, такъ какъ самъ не зналъ, чего хотѣлъ. Я смѣло подчинялся своей природѣ, не стремясь никогда къ изученію ея. И лишь много лѣтъ спустя я понялъ, откуда происходило мое несчастье: я убѣдился, что мое душевное равновѣсіе обезпечено лишь тогда, когда сердце полно возвышенной любовью, а умъ занятъ благороднымъ трудомъ. Всякій разъ, какъ мнѣ не хватало одного изъ этихъ условій, я становился неспособенъ къ другому и невыразимо тосковалъ и мучился.

Тѣмъ временемъ, мнѣ хотѣлось испытать новую, пол-

ную свободу. И не успѣлъ кончиться карнаваль, какъ я рѣшилъ непремѣнно ѣхать въ Римъ одинъ: нашъ старшій менторъ все не назначалъ дня отъѣзда, говоря, что ждетъ извѣстій изъ Фландріи. Я не сталъ болѣе медлить и простился со спутниками; мнѣ хотѣлось покинуть Неаполь и вновь увидѣть Римъ, а главное испытать на дѣлѣ свою самостоятельность. Я не раскался въ своемъ поступкѣ, такъ такъ товарищи дѣйствительно просидѣли въ Неаполѣ весь апрѣль и опоздали въ Венецію къ празднику Вознесенія, которымъ я живо интересовался.

Глава III.

ПРОДОЛЖЕНІЕ ПУТЕШЕСТВІЯ.—ПЕРВОЕ ПРОЯВЛЕНІЕ СКУПОСТИ.

Пріѣхавъ въ Римъ, гдѣ меня поджидалъ мой вѣрный Илья я поселился близъ Тринита-де-Монти (церковь Св. Троицы на горѣ) въ чистой, веселой квартирѣ, которая меня вполне вознаградила за неудобства, перенесенныя въ Неаполѣ. Въ остальномъ—та же разбросанность, та же скука, та же меланхолія и жажда вновь отправиться въ путешествіе. И что хуже всего—то же невѣжество въ такихъ вещахъ, которыхъ стыдно не знать, и отсюда—съ каждымъ днемъ растущее равнодушіе къ тѣмъ прекраснымъ и великимъ памятникамъ, которыми такъ богатъ Римъ. Изъ наиболѣе извѣстныхъ только четыре-пять были мнѣ знакомы и я постоянно посѣщалъ ихъ. Почти ежедневно я бывалъ у графа Ривера, сардинскаго посла, очень достойнаго старика, который не смотря на свою глухоту, не казался мнѣ скучнымъ, а давалъ превосходные совѣты. Однажды я нашелъ у него на столѣ великолѣпное изданіе *Virgilia in folio*, открытое на шестой книгѣ Энеиды. Тогда добрый старикъ, подозвалъ меня къ себѣ, началъ съ увлеченіемъ декламировать знаменитые, дивные стихи о Марцеллѣ, которые весь свѣтъ

знаеть наизусть. Но несмотря на то, что нѣсколько лѣтъ тому назадъ я переводилъ и изучалъ ихъ, теперь я почти ихъ не понималъ, и это такъ пристыдило меня, что я нѣсколько дней страдалъ и не рѣшался идти къ графу. Но ржавчина, которою покрывался мой мозгъ, была такъ сильна, и такъ росла, что для того, чтобы снять ее, недостаточно было мимолетной непріятности. Вотъ почему и святое чувство стыда не оставило ни малѣйшаго слѣда въ моей душѣ; я такъ и не прочелъ ни *Виргилія*, ни другихъ хорошихъ книгъ въ теченіе многихъ лѣтъ.

Во время этого второго пребыванія въ Римѣ я былъ представленъ папѣ Клименту XIII въ его пышномъ дворцѣ, Монте-Кавалло. Красивый и величественный старецъ въ этой роскошной обстановкѣ произвелъ на меня такое сильное впечатлѣніе, что я безъ всякаго колебанія палъ ницъ передъ нимъ и поцѣловалъ его туфлю. А между тѣмъ, я читалъ уже исторію церкви и зналъ цѣну этой туфли.

Пользуясь покровительствомъ графа Ривера, я въ третій разъ просилъ его ходатайствовать за меня при Туринскомъ дворѣ: я хотѣлъ попросить разрѣшенія путешествовать еще годъ съ тѣмъ, чтобы посѣтить Францію, Англію и Голландію, такъ какъ эти страны особенно привлекали меня. Это удалось мнѣ, какъ и въ предыдущіе разы, и на 1768 годъ я получилъ полную свободу и возможность странствовать по бѣлому свѣту. Но тутъ случилась маленькая непріятность, которая надолго меня огорчила. Мой опекунъ, который вполнѣ самостоятельно велъ мои дѣла и никогда не давалъ мнѣ подробнаго отчета въ моихъ доходахъ, снабжая меня деньгами по собственному усмотрѣнію, написалъ по поводу предстоящаго путешествія, что на второй годъ онъ назначить мнѣ 1500 пехиновъ: на первое же путешествіе опредѣляетъ 1200. Это извѣстіе меня очень испугало, хотя я не палъ духомъ. Я много слышалъ о дороговизнѣ жизни за границей и мнѣ представлялось весьма печальнымъ ѣхать безъ достаточныхъ средствъ, и производить тамъ впечатлѣніе бѣдняка.

Но я также боялся написать объ этомъ скареду-опекуну; онъ не преминулъ бы пригрозить мнѣ вмѣшательствомъ короля, безъ котораго не обходились даже самыя интимныя дѣла Туринской знати. Ему ничего не стоило представить меня въ видѣ безпутнаго мота и принудить возвратиться на родину.

Въ виду этого я рѣшилъ не портить отношеній съ опекуномъ передъ путешествіемъ и старался жить какъ можно экономнѣе, чтобы такимъ способомъ увеличить сумму ассигнованную на него и довести ее до 1500 цехиновъ. Тутъ впервые заговорила во мнѣ скупость. Отъ безопасной расточительности я перешелъ къ самымъ мелочнымъ расчетамъ. Я дошелъ до того, что не только пересталъ посѣщать римскія древности, гдѣ нужно было давать на чай, но даже прекратилъ выдачу жалованья моему вѣрному Ильѣ. Бѣдный малый объявилъ мнѣ, что въ такомъ случаѣ ему придется воровать у меня свой заработокъ и лишь тогда, скрѣпя сердце, я уплатилъ ему, что слѣдовало.

И такъ измелъчавши душой отъ всѣхъ этихъ скаредныхъ расчетовъ, въ первыхъ числахъ мая я отправился въ Венецію. Скупость заставила меня взять наемную карету, не смотря на мою ненависть къ медленному передвиженію. Разница между почтовой и извозчичьей ѣздой была огромная; я съ проклятіями покорился. Часто оставлялъ я Илью въ экипажѣ со слугою и нѣкоторое состояніе ѣхалъ верхомъ на жалкой, ежеминутно спотыкавшейся, клячѣ. Всю дорогу я считалъ по пальцамъ, во что мнѣ обойдутся эти десять-двѣнадцать дней пути и мѣсяцъ жизни въ Венеціи; рассчитывалъ, сколько мнѣ удастся выгадать такимъ образомъ для дальнѣйшаго путешествія, и тратилъ силы ума и сердца на эти презрѣнныя вычисления.

Карета была нанята до Болоньи; но доѣхавъ до Лорето, я почувствовалъ такую скуку и душевную тоску, что пересталъ скаредничать и рѣшилъ разстаться какъ можно скорѣе съ надѣвшимъ мнѣ возничимъ. Молодость

и пылкость нрава побѣдила во мнѣ на этотъ разъ холодную расчетливость; понеся порядочный убытокъ, (я заплатилъ почти за все разстояніе до Болоньи), я рассчитался съ кучеромъ и со свободной душой отправился дальше на почтовыхъ и съ тѣхъ поръ сдѣлался благо-разумнымъ, безъ скаредности.

На обратномъ пути Болонья мнѣ понравилась еще меньше, чѣмъ когда я ее видѣлъ въ первый разъ. Лорето меня очень мало тронуло; и думая только о Венеціи, о которой съ дѣтства слышалъ столько чудесныхъ разсказовъ, я лишь на одинъ день остановился въ Болонѣ, а затѣмъ продолжалъ путь черезъ Феррару. Я покинулъ этотъ городъ даже не вспомнивъ, что тутъ родился и умеръ божественный Аріосто, чью поэму я читалъ съ такимъ удовольствіемъ и чьи стихи были первыми прочитанными мною въ жизни. Но мой бѣдный умъ еще постыдно спалъ и съ каждымъ днемъ становился все менѣе и менѣе отзывчивымъ ко всему, что касалось литературы. Что касается знанія жизни и людей, то каждый день приносилъ мнѣ нѣчто, хотя я этого и не замѣчалъ, ибо мнѣ приходилось наблюдать очень многое въ области нравовъ.

У моста Лагоскуро я сѣлъ въ быстроходную барку, чтобы скорѣй добраться до Венеціи, и очутился въ обществѣ нѣсколькихъ танцовщицъ, изъ которыхъ одна была очень красива. Но эта встрѣча нисколько не скрасила мнѣ скучнаго пути, который до Кіюцца продолжался два дня и одну ночь: эти нимфы изображали изъ себя добродѣтельныхъ Сусаннъ, а я никогда не могъ перенести вида притворной добродѣтели. Но вотъ, наконецъ, я въ Венеціи. Въ первые дни необычайность мѣстополюженія приводила меня въ восторгъ. Даже здѣшнее нарѣчіе я слушалъ съ удовольствіемъ, быть можетъ, благодаря тому, что комедіи Гольдони съ дѣтства приучили меня къ нему; оно отличается большимъ изяществомъ и ему не хватаетъ лишь величавости. Толпа иностранцевъ, большое количество театровъ, разнообразіе развлеченій и тор-

жествъ, еще болѣе пышныхъ изъ за приѣзда герцога Вюртембергскаго, чѣмъ бываетъ обычно на праздникъ Вознесенія,—и кромѣ того, великолѣпныя гонки задержали меня въ Венеціи до половины іюня.

Но все это меня мало развлекало. Обычная меланхолія, скука и желаніе переменъ начинали преслѣдовать меня какъ только я немного привыкалъ къ новымъ впечатлѣніямъ. Часто я цѣлыми днями не выходилъ на улицу, одиноко проводя ихъ въ своей комнатѣ. Я подходилъ къ окну, оттуда переглядывался и переговаривался съ молодой дамой, жившей напротивъ; конецъ дня я проводилъ въ дремотѣ или чаще всего въ слезахъ, не находя себѣ душевнаго покоя и не понимая причины своей тоски. Нѣсколько лѣтъ спустя, когда я сталъ лучше разбираться въ себѣ, я понялъ, что это было болѣзненное состояніе, которое охватывало меня каждый годъ весной, иногда даже въ іюнь мѣсяцѣ. Оно длилось и давало себя чувствовать въ зависимости отъ того, насколько праздны и опустошены были мой умъ и сердце. Съ тѣхъ поръ я сдѣлалъ еще одно наблюденіе, сравнивъ себя съ безошибочнымъ барометромъ: мое творчество было тѣмъ легче и вдохновеннѣе, чѣмъ меньше было давленіе атмосферы. Я становлюсь совершенно тупымъ во время вѣтровъ равноденствія и солнцестоянія, по вечерамъ я бываю несравненно менѣе проникательнымъ, чѣмъ по утрамъ. И, наконецъ, мой энтузіазмъ гораздо сильнѣе зимой и лѣтомъ, чѣмъ въ переходное время года. Эта особенность моей природы, которая, впрочемъ, присуща всѣмъ чуткимъ людямъ, сильно усмиряла во мнѣ горделивое сознаніе кое-чего достигнутаго и очень облегчала минуты недовольства собой; я могъ утѣшать себя мыслью, что не въ моей власти поступить иначе.

ГЛАВА IV.

КОНЕЦЪ ПУТЕШЕСТВІЯ ПО ИТАЛІИ.—Я ВПЕРВЫЕ
ВЪ ПАРИЖѢ.

Въ общемъ, пребываніе въ Венеціи скорѣе наскучило мнѣ, чѣмъ развлекло. Я ничего не вынесъ изъ него. Исключительно занятый мыслями о предстоящемъ путешествіи, я не видалъ и десятой доли тѣхъ сокровищъ живописи, скульптуры и архитектуры, которыми такъ богата Венеція; достаточно сказать, къ моему безконечному стыду, что я не видалъ и Арсенала. Я даже бѣгло не старался ознакомиться съ образомъ правленія этой страны, который такъ своеобразенъ и можетъ быть названъ, если не образцовымъ, то, во всякомъ случаѣ, рѣдкимъ, ибо существовалъ нѣсколько вѣковъ, давая миръ, благоденствіе и способствуя процвѣтанію города. Я просто прозябалъ въ бездѣйствіи, все еще лишенный пониманія изящныхъ искусствъ. Наконецъ, я покинулъ Венецію и мой отъѣздъ, по обыкновенію, былъ гораздо болѣе радостнымъ, чѣмъ пріѣздъ сюда. Пріѣхавъ въ Падую и сразу разочаровавшись въ этомъ городѣ, я не искалъ случая познакомиться съ тѣми знаменитыми профессорами, которыхъ, нѣсколько лѣтъ позже, я такъ желалъ узнать; но тогда одно упоминаніе о профессорахъ, о научныхъ занятіяхъ, объ университетѣ—заставляло меня содрогаться. Я не вспомнилъ,—если только зналъ объ этомъ,—что въ нѣсколькихъ миляхъ отъ Падуи покоится прахъ нашего великаго второго учителя—Петрарки. Да и что мнѣ было до него за дѣло, когда я и не читалъ, и не слышалъ, и не понималъ бы ни строки изъ его произведеній. Такимъ образомъ, постоянно подстрекаемый и гонимый своей праздною и скукой, я, не останавливаясь, проѣхалъ черезъ Виченцу, Верону, Мантую и Миланъ, чтобы какъ можно скорѣе попасть въ Геную, которую видѣлъ раньше лишь наскоро, во время пути. У меня были рекомендательныя письма во всѣ города, которые я выше

назвалъ; но, большей частью, я не пользовался ими, а если и отдавалъ по назначенію, то показывался туда вторично лишь тогда, когда на этомъ настаивали, что случалось весьма рѣдко. Эта чрезмѣрная нелюдимость происходила во мнѣ отъ гордости и непреклонности характера, предоставленнаго самому себѣ, а также и отъ природнаго и непобѣдимаго отвращенія къ новымъ лицамъ. Однако, трудно было не встрѣчать новыхъ людей, постоянно мѣняя мѣсто жительства. Я былъ бы вполне удовлетворенъ, если бы могъ жить всегда съ тѣми же людьми, но не на одномъ и томъ же мѣстѣ.

Такъ какъ въ Генуѣ не было сардинскаго посланника, а у меня не было другихъ знакомыхъ, кромѣ моего банкира, я скоро сталъ скучать и рѣшилъ уѣхать въ концѣ іюня, но въ одинъ прекрасный день этотъ банкиръ пришелъ навѣстить меня. Это былъ достойный человекъ, хорошо знавшій свѣтъ; узнавши о моей меланхоліи, нелюдимости и одиночествѣ, онъ спросилъ меня, какъ я провожу время; узнавъ, что у меня нѣтъ ни книгъ, ни знакомыхъ, и что я только и дѣлаю, что сижу на балконѣ, бѣгаю по улицамъ Генуи или катаюсь вдоль берега на лодкѣ, онъ сжалился надо мною и захотѣлъ непременно познакомить меня съ однимъ изъ своихъ друзей. Это былъ кавалеръ Карло Негрони, прожившій въ Парижѣ большую часть своей жизни; видя, какъ я стремился попасть туда, онъ мнѣ рассказалъ всю правду о Парижѣ; я повѣрилъ его словамъ лишь нѣсколько мѣсяцевъ спустя, когда пріѣхалъ въ Парижъ. Тѣмъ временемъ, этотъ любезный господинъ представилъ меня во многіе хорошіе дома, а также ввелъ на банкетъ, дававшійся, по обыкновенію, въ честь новаго дожа. Здѣсь я чуть не влюбился въ одну прелестную даму, которая была со мной очень любезна; но съ другой стороны, я такъ стремился покинуть Италію для новаго путешествія, что на этотъ разъ любовь не овладѣла моимъ сердцемъ: она ждала меня въ недалекомъ будущемъ.

Наконецъ, я сѣлъ на небольшое судно, отправлявшееся

въ Антибъ, и мнѣ показалось, что я ѣду въ Индію. Въ моихъ прогулкахъ по морю я обыкновенно удалялся отъ берега лишь на нѣсколько миль; но на этотъ разъ, благодаря попутному вѣтру, мы вышли въ открытое море; постепенно вѣтеръ такъ усилился, что мы очутились въ опасности, и намъ пришлось зайти въ Савону, на два дня,—ждать хорошей погоды. Эта задержка такъ меня опечалила и раздосадовала, что я не вышелъ на берегъ, даже для того, чтобы посмотрѣть знаменитую Савонскую Мадонну. Я не хотѣлъ больше ни видѣть Италіи, ни слышать о ней; каждое лишнее мгновеніе, проводимое мною здѣсь, было мнѣ въ тягость, и, казалось, сокращало удовольствія, ожидавшія меня въ Парижѣ. Это происходило отъ необузданнаго моего воображенія, которое постоянно преувеличивало и радости и горе, раньше чѣмъ я испытывалъ ихъ; поэтому на дѣлѣ они всегда оказывались совсѣмъ не такими значительными и не соответствовали моимъ ожиданіямъ.

Когда я высадился въ Антибо, мнѣ казалось, что все здѣсь создано, чтобы радовать меня: другой языкъ, другіе обычаи, другая архитектура, новыя лица; и хотя эта разница во всемъ не говорила въ пользу здѣшней страны, я находилъ въ ней много прелести. Я скоро отправился въ Тулонъ, а оттуда въ Марсель, ничего не посмотрѣвъ въ Тулонъ, который мнѣ не понравился съ перваго взгляда. Другое дѣло—Марсель; веселый видъ города, его новыя, чистыя и прямыя улицы, красота гавани, ловкость и бойкость дѣвицъ,—все это сразу привело меня въ восторгъ, и я быстро рѣшилъ остаться здѣсь на мѣсяцъ. Я думалъ поступить такъ и для того, чтобы не быть въ пути во время сильной іюльской жары. Въ гостиницѣ, къ обѣду и къ ужину, за круглымъ столомъ собиралось многочисленное общество; но я не былъ обязанъ разговаривать, (а это всегда стоило мнѣ большихъ трудовъ изъ за природной молчаливости); остальные часы дня я проводилъ одинъ, но не скучалъ. Моя молчаливость, происшедшая отчасти отъ застѣнчивости, которую я никогда не могъ

виолнѣ побороть въ себѣ, еще увеличивалась за этимъ столомъ, изъ за безконечнаго пустословія окружавшихъ меня французовъ. Они были люди различныхъ положеній, но большинство офицеры и купцы. Замкнутость моего характера мѣшала мнѣ сблизиться или подружиться съ кѣмъ нибудь изъ нихъ. Я охотно слушалъ ихъ, хотя малому научился отъ этого; но я всегда могъ слушать, безъ особаго труда, кого угодно, и даже самыя глупыя разсужденія пустыхъ людей.

Одна изъ главныхъ причинъ моего стремленія во Францію была возможность часто посѣщать здѣсь театръ. За два года до этого я видѣлъ въ Туринѣ труппу французскихъ комиковъ и въ теченіе всего лѣта посѣщалъ ихъ представленія; мнѣ были знакомы почти всѣ комедіи и лучшія изъ трагедій, которыя они играли. Ни въ Туринѣ, ни во время моихъ путешествій по Франціи, мнѣ еще не приходила въ голову мысль, что настанетъ день, когда у меня явятся склонность и талантъ къ драматическому творчеству. Я смотрѣлъ произведенія другихъ авторовъ съ большимъ вниманіемъ, но безъ всякой опредѣленной цѣли и безъ малѣйшаго желанія самому отдаться творчеству; долженъ признаться къ тому же, что комедіи производили на меня гораздо болѣе сильное впечатлѣніе, чѣмъ трагедіи, хотя я отъ природы былъ скорѣе склоненъ къ слезамъ, чѣмъ къ смѣху. Позднѣе, когда я сталъ думать объ этомъ, мнѣ показалось, что главная причина моего равнодушія къ трагическому искусству заключалась въ томъ, что почти во всѣхъ французскихъ трагедіяхъ есть эпизодическія лица, которыя своими выступленіями только удлиняютъ дѣйствіе и этимъ ослабляютъ впечатлѣніе. Благодаря-же тому, что мой слухъ былъ избалованъ итальянскимъ языкомъ, (хотя я и не желалъ быть итальянцемъ), мнѣ было очень непріятно слушать скучные французскіе стихи съ парными римами, и не нравились самыя звуки этого языка. Не знаю почему, но, несмотря на то, что артисты были гораздо лучше нашихъ и играли превосходныя и глубоко-содержательныя произведенія, я ча-

сто не выносилъ отъ нихъ никакого впечатлѣнія и уходилъ домой недовольнымъ. Изъ трагедій болѣе всего мнѣ нравились „Федра“, „Альзира“, „Магометъ“ и еще немногія другія.

Кромѣ театра, моимъ любимымъ удовольствіемъ въ Марселѣ было цѣлыми вечерами купаться въ морѣ. Я нашелъ очень живописное мѣстечко на мысѣ, расположенномъ направо отъ гавани. Тамъ я сидѣлъ на песчаномъ берегу, прислонившись къ скалѣ, скрывавшей отъ меня землю, и видѣлъ лишь небо и море. Среди этого величія природы я предавался мечтамъ цѣлыми часами, любуясь на игру солнца въ волнахъ; и сколько поэтическихъ произведеній я могъ бы создать тогда, если бы умѣлъ выразаться прозой или стихами хоть на какомъ-нибудь языкѣ!

Но въ концѣ концовъ и жизнь въ Марселѣ надоѣла мнѣ, т. к. все скоро надоѣдаетъ бездѣльникамъ. Я все время бредилъ Парижемъ; 10-го августа, покинувъ Марсель, похода скорѣе на бѣглеца, чѣмъ на путешественника, я безъ остановокъ прокатилъ до Ліона. Ни Эксъ со своими чудными прогулками, ни Авиньонъ, служившій нѣкогда мѣстопробываніемъ папъ и хранящій прахъ знаменитой Лауры, ни Воклюзъ, гдѣ такъ долго жилъ божественный Петрарка,—ничто не могло остановить меня по пути въ Парижъ. Въ Ліонѣ усталость задержала меня на двѣ ночи и одинъ день; но послѣ этой остановки я съ прежней стремительностью пустился въ путь и черезъ Бургундію, меньше чѣмъ въ три дня, доѣхалъ до Парижа.

Г л а в а V.

ПЕРВОЕ ПРЕБЫВАНІЕ ВЪ ПАРИЖѢ.

Я вѣзжалъ въ Парижъ въ августѣ, не помню какого числа, между 15-ымъ и 20-ымъ, въ пасмурное, холодное и дождливое утро. Послѣ лучезарнаго неба Италіи и Про-

ванса, я еще ни разу не видалъ такихъ ужасныхъ тумановъ, особенно въ августѣ. Я въѣхалъ въ Парижъ черезъ убогое предмѣстье Сенъ Марсо; путь по грязнымъ, смраднымъ улицамъ до Сенъ Жерменскаго предмѣстья заставилъ мое сердце сжаться. Не помню, чтобы когда нибудь раньше подобныя впечатлѣнія отражалась на мнѣ столь болѣзненно. Такъ торопиться, такъ тѣшить себя радужными мечтами—и все это только для того, чтобы погрузиться въ грязную клоаку. Пріѣхавъ въ гостиницу, я уже полонъ былъ такого разочарованія, что если бы не усталость и чувство стыда, внезапно охватившее меня, я уѣхалъ бы отсюда немедленно. Каждый день моего пребыванія въ Парижѣ, гдѣ я осматривалъ малѣйшіе закоулки, приносилъ мнѣ новое разочарованіе. Посредственность построекъ и ихъ варварская архитектура, комическое и жалкое величіе немногихъ домовъ, претендовавшихъ на званіе дворцовъ; грязь и готическій стиль церковей, вандальская архитектура театровъ этой эпохи и множество другихъ непріятныхъ предметовъ, проходившихъ ежедневно передъ моими глазами, не говоря объ ужасныхъ раскрашенныхъ лицахъ женщинъ—все это не искупалось ни прелестью безчисленныхъ садовъ, ни блескомъ и нарядностью гуляній, гдѣ можно было встрѣтить лучшее общество, ни изяществомъ и роскошью выѣздовъ, ни великолѣпнымъ фасадомъ Лувра, ни множествомъ спектаклей и другими хорошими сторонами Парижа.

Между тѣмъ, плохая погода настойчиво продолжалась; солнце ни разу не выглянуло въ первые двѣ недѣли, проведенныя мною въ Парижѣ. А на мои сужденія о морали, скорѣе сужденія поэта, чѣмъ философа, всегда сильно вліяла погода. Это первое впечатлѣніе отъ Парижа такъ глубоко врѣзалось въ мою память, что теперь еще (т. е. черезъ 23 года) я часто представляю его себѣ такимъ, хотя и вижу неправильность подобнаго представленія.

Дворъ находился въ это время въ Компьенѣ, гдѣ долженъ былъ провести весь сентябрь, и сардинскаго посланника, къ которому у меня имѣлись письма, не было изъ-за

этого въ Парижѣ. Я никого не зналъ здѣсь, кромѣ нѣкоторыхъ иностранцевъ, съ которыми встрѣчался въ разныхъ итальянскихъ городахъ; но и они не имѣли въ Парижѣ никакихъ серьезныхъ знакомствъ. Я проводилъ время въ прогулкахъ, въ посѣщеніи театровъ и женщинъ и, при этомъ, въ постоянной меланхоли. Такъ прошло время до конца ноября, когда посланникъ переѣхалъ изъ Фонтенебло въ Парижъ. Онъ ввелъ меня во многіе дома и, преимущественно, къ посланникамъ иностранныхъ державъ. У испанскаго посла я впервые сталъ играть въ карты; я ни выигралъ, ни проигралъ, но игра мнѣ надоѣла такъ-же скоро, какъ и другія парижскія увеселенія, и я рѣшилъ въ январѣ уѣхать въ Лондонъ. Я скоро усталъ отъ Парижа, въ которомъ зналъ собственно только улицы; да и вообще я гораздо менѣе страстно сталъ относиться къ новому, т. к. убѣдился, что оно не только не соответствовало моимъ фантастическимъ ожиданіямъ, но оказывалось гораздо ниже того, что я могъ видѣть въ разныхъ городахъ Италіи. Но только послѣ Лондона я по настоящему оцѣнилъ и Неаполь, и Римъ, и Венецію, и Флоренцію.

Передъ отъѣздомъ въ Лондонъ посланникъ предложилъ представиться ко двору въ Версалѣ, на что я согласился; мнѣ было интересно увидать дворъ, болѣе величественный, чѣмъ тѣ, какіе я зналъ раньше, хотя нужно прибавить, что у меня было вполне трезвое отношеніе ко всѣмъ дворамъ вообще. Это произошло 1 января 1768 года,—въ день, отличавшійся отъ другихъ интересными и разнообразными церемоніями. Меня предупредили, что король обращается лишь къ знатнымъ иностранцамъ, но мнѣ было совершенно безразлично, будетъ онъ говорить со мной, или нѣтъ. Тѣмъ не менѣе, я не сразу привыкъ къ олимпійскому обращенію Людовика XV, который съ головы до ногъ измѣрялъ взглядомъ того, кто представлялся ему, ничѣмъ не выражая при этомъ своего впечатлѣнія. Если бы гиганту сказали: „имѣю честь представить вамъ муравья“,—гигантъ, вѣроятно, улыбнулся бы,

или сказалъ: „какой крошечный звѣрекъ!“ а если бы онъ и ничего не сказалъ, то выраженіе его лица сказало бы за него. Но это высокоомѣрное молчаніе перестало огорчать меня, когда черезъ минуту король отнесся такъ же и къ гораздо больше значительнымъ, чѣмъ я, лицамъ. Послѣ короткой молитвы, которую онъ совершилъ съ двумя прелатами,—одинъ изъ нихъ, насколько я помню, былъ кардиналомъ,—король направился къ часовнѣ; къ нему навстрѣчу вышелъ старшина купеческаго сословія, первое лицо парижскаго муниципалитета и, согласно обычаю, пробормоталъ краткое привѣтствіе по случаю новаго года. Монархъ отвѣчалъ ему безмолвнымъ кивкомъ головы и, обратившись къ одному изъ придворныхъ, слѣдовавшихъ за нимъ, спросилъ, гдѣ остальные магистраты, которые обычно сопровождаютъ его. Тогда изъ толпы придворныхъ раздался шутливый голосъ: „они завязли въ грязи“. Всѣ засмѣялись, даже монархъ благоволилъ улыбнуться и затѣмъ прослѣдовалъ далѣе, чтобы прослушать ожидавшую его мессу. Непостоянная судьба захотѣла, чтобы, лѣтъ около двадцати спустя, я увидалъ въ Парижѣ, въ Ратушѣ другого Людовика. Онъ съ гораздо большей благосклонностью принималъ привѣтствіе отъ другого старшины, съ титуломъ мэра, 17 іюля 1789 года; и тогда пришлось придворнымъ завязнуть, въ свою очередь, по дорогѣ изъ Версаля въ Парижъ, хотя это было лѣтомъ; но въ тѣ времена на той дорогѣ была постоянная грязь. Я, быть можетъ, благословилъ бы Бога, за то, что онъ сдѣлалъ меня свидѣтелемъ этихъ событій, если бы не былъ слишкомъ увѣренъ, что правленіе плебейскихъ владыкъ можетъ стать для Франціи и для міра еще больше гибельнымъ, чѣмъ владычество капетинговъ.

Г л а в а VI.

ПУТЕШЕСТВИЕ ВЪ АНГЛЮ И ГОЛЛАНДИЮ—ПЕРВАЯ
ЛЮБОВНАЯ ВСТРѢЧА.

Итакъ, я выѣхалъ изъ Парижа въ половинѣ января; спутникомъ моимъ былъ одинъ мой соотечественникъ, очень красивый молодой человѣкъ, неглупый отъ природы; онъ былъ десятью-двѣнадцатью годами старше меня, но будучи столь же невѣжественнымъ, какъ и я, еще менѣе предавался размышленіямъ; онъ больше любилъ участвовать въ свѣтской жизни, чѣмъ наблюдать и изучать людей. Это былъ двоюродный братъ нашего посланника въ Парижѣ и племянникъ испанскаго посла въ Лондонѣ, князя ди-Массерано, у котораго долженъ былъ остановиться. Я былъ мало склоненъ къ путешествію въ чьемъ нибудь обществѣ, но для переѣзда въ опредѣленное мѣсто ничего не имѣлъ противъ спутника. Все время онъ былъ въ веселомъ и болтливомъ настроеніи, и мы отлично ладили между собой; я могъ спокойно молчать, слушая его и предоставляя ему вдоволь говорить и хвастаться: онъ былъ очень высокаго мнѣнія о себѣ, т. к. имѣлъ громадныя успѣхъ у женщинъ; съ увлеченіемъ перечислялъ онъ мнѣ всѣ свои любовныя побѣды, что забавляло меня, не вызывая зависти. Вечеромъ, въ гостиницѣ, мы играли въ шахматы, въ ожиданіи ужина; я всегда проигрывалъ: у меня не было способностей ни къ какой игрѣ. Чтобы попасть въ Калэ, намъ пришлось проѣхать въ объѣздъ черезъ Лиль, Дуэ и Сентъ-Омэръ. Было такъ холодно, что въ нашей каретѣ, гдѣ накрѣпко закрывались окна и горѣла свѣча, разъ ночью замерзъ не только хлѣбъ, но и вино. Этотъ необычайный холодъ радовалъ меня, т. к. я отъ природы склоненъ ко всякимъ крайностямъ.

Но, оставивъ берега Франціи и высадившись въ Дуврѣ, мы вдвое меньше стали чувствовать холодъ и по дорогѣ въ Лондонъ почти не видали снѣга. Насколько Парижъ мнѣ не понравился съ перваго взгляда, настолько сразу

понравилась Англія, и особенно Лондонъ. Улицы, гостиницы, лошади, женщины, всеобщее благосостояніе и жизнедѣятельность этого острова, чистота и комфортъ домовъ, хотя и небольшихъ, отсутствіе нищихъ, постоянный круговоротъ денегъ и промышленности, одинаково распространенной въ столицѣ и въ провинціи, словомъ все то, что прославило эту исключительно-свободную и счастливую сторону—очаровало меня съ перваго взгляда, и мои два послѣдующихъ посѣщенія ея ни въ чемъ не измѣнили этого мнѣнія. О, насколько Англія отличается отъ другихъ государствъ Европы во всѣхъ отрасляхъ общественнаго благосостоянія, благодаря превосходству своего правленія! Хотя я тогда не изучалъ серьезно конституцію Англіи, дарующую ей это процвѣтаніе, я все-же сумѣлъ замѣтить и оцѣнить великіе плоды ея.

Въ Лондонѣ иностранцу гораздо легче попасть въ общество, чѣмъ въ Парижѣ. Вслѣдствіе этого и при помощи своего спутника я въ первые-же мѣсяцы увлекся свѣтской жизнью. Моя неотесанность и природная нелюдимость быстро поддались отеческой ласкѣ и любезному вниманію, которые я встрѣтилъ со стороны князя ди-Массерано, испанскаго посланника, горячо любившаго пьемонтцевъ: онъ самъ былъ родомъ изъ Пьемонта, хотя отецъ его навсегда переселился въ Испанію. Но, черезъ три мѣсяца, убѣдившись, что выѣзды, ужины и банкеты меня совершенно не развлекаютъ, и я ничего не могу въ нихъ почерпнуть, я перемѣнилъ образъ жизни; вмѣсто того, чтобы разыгрывать роль салоннаго кавалера, я предпочелъ взять на себя скромную должность кучера, ожидающаго у подѣздовъ. И вотъ я сталъ развозить изъ одного конца Лондона въ другой моего товарища, прекраснаго Ганимеда, которому я предоставилъ славу любовныхъ побѣдъ. Я такъ освоился со своей новой кучерской должностью и исполнялъ ее такъ развязно, что даже успѣшно участвовалъ въ гонкахъ, которыя устраиваются англійскими кучерами при разѣздѣ изъ театровъ и изъ Ренлафа, безъ ущерба для экипажа и для лошадей. Итакъ, я

проводилъ каждое утро 4—5 часовъ верхомъ, а вечеромъ 2—3 часа правя на козлахъ во всякую погоду; это было единственнымъ моимъ развлеченіемъ до конца зимы.— Въ апрѣлѣ я совершилъ со своимъ всегдашнимъ спутникомъ экскурсію въ лучшія провинціи Англіи. Мы побывали въ Портсмутѣ, Сальсбери, Батѣ, Бристолѣ и вернулись въ Лондонъ черезъ Оксфордъ. Страна эта мнѣ чрезвычайно понравилась, и гармонія, царящая на этомъ островѣ, гдѣ все стремится къ наибольшему общественному благосостоянію, съ каждымъ днемъ все болѣе очаровывала меня. Съ того времени во мнѣ родилось желаніе обосноваться здѣсь навсегда. Не могу сказать, чтобы мнѣ очень нравились англичане, хотя они и казались симпатичнѣе французовъ, такъ какъ отличались большимъ добродушіемъ. Но общій характеръ страны, простота нравовъ, красота и скромность женщинъ, духъ законности въ правленіи, настоящая свобода, отсюда проистекающая—все это заставляло меня вполне примириться съ непріятностями климата, меланхоліей, которую онъ навѣваетъ и съ раззорительною дороговизной жизни.

Вернувшись изъ этой поѣздки, я съ новой силой былъ охваченъ желаніемъ путешествовать и мнѣ стоило большихъ трудовъ отложить свой отъѣздъ въ Голландію до начала іюня; когда насталъ долго жданный день, я отплылъ изъ Гарвича въ Гельветльвусъ, куда прибылъ черезъ 12 часовъ благодаря попутному вѣтру.

Голландія — пріятная, смѣющаяся страна въ лѣтнее время, но она бы мнѣ еще болѣе понравилась, если бы я посѣтилъ ее до путешествія въ Англію, т. к. все то, чѣмъ восхищаешься въ Англіи: ея населеніе, богатства, чистота, мудрость законовъ, чудеса оживленной промышленности — все это находишь и въ Голландіи, но въ меньшей степени. Въ самомъ дѣлѣ, послѣ многихъ другихъ путешествій, увеличившихъ мою опытность, только Англія и Италія изъ европейскихъ странъ оставили во мнѣ желаніе посѣтить ихъ вновь: первая, потому, что умѣние въ ней, такъ сказать, покорило и видоизмѣнило природу;

вторая же потому, что въ ней природа всегда энергично возставала, чтобы всячески отомстить часто плохимъ и всегда бездѣтельными правительствомъ.

Во время моего пребыванія въ Гаагѣ, гдѣ я остался гораздо дольше, чѣмъ предполагалъ, я попалъ, наконецъ, въ первый разъ въ жизни, въ любовныя сѣти. Прелестная молодая женщина, бывшая только годъ замужемъ, полная природной граціи, скромной красоты и наивности, ранила меня въ самое сердце. Городъ былъ маленькій, развлечения рѣдки; я видалъ ее чаще, чѣмъ мнѣ сначала этого хотѣлось; но скоро я сталъ жаловаться, что вижу ее слишкомъ рѣдко. Не замѣчая этого, я самымъ ужаснымъ образомъ попалъ въ плѣнъ; я уже сталъ думать о томъ, чтобы никогда не покидать Гаагу, будучи убѣжденъ что я не въ состояніи жить безъ этой женщины. Мое непокорное сердце, извѣдавши любовь, открылось также и для чувства нѣжной дружбы. Моимъ новымъ другомъ оказался донъ Хозе д'Акуна, тогда португальскій посланникъ въ Голландіи.

Это былъ человекъ большого ума, крайне оригинальный, достаточно образованный, съ желѣзнымъ характеромъ, добрымъ сердцемъ и пламенной, возвышенной душой. Извѣстное соотвѣтствіе нашихъ замкнутыхъ характеровъ сблизило насъ незамѣтнымъ образомъ, а искренность и пылкость нашихъ душъ довершили остальное. Такимъ образомъ, въ Гаагѣ я почувствовалъ себя счастливѣйшимъ изъ смертныхъ: въ первый разъ въ жизни я ничего на свѣтѣ не желалъ, кромѣ друга и любовницы. Я былъ любовникомъ и другомъ, и пользовался взаимностью съ обѣихъ сторонъ; моя душа питалась исключительно нѣжными чувствами: съ другомъ я говорилъ о любовницѣ, съ ней же—о другѣ. Такимъ образомъ, я вкушалъ тогда радости несравненныя и до тѣхъ поръ еще невѣдомыя моему сердцу, хотя оно всегда искало ихъ, предчувствуя ихъ въ будущемъ. Этотъ достойный другъ всегда давалъ мнѣ самые мудрые совѣты. Онъ обладалъ особеннымъ искусствомъ (котораго я никогда не забуду) за-

ставлять меня краснѣть и раскаиваться въ пустой и праздной жизни, которую я велъ, никогда не открывая книги, безконечно многого не зная. Мое невѣжество сказывалось особенно въ томъ, что мнѣ совершенно чужды были многіе великіе поэты, составляющіе гордость Италіи, а также, хотя и немногіе, но значительные ея прозаики и философы; между прочимъ, бессмертный Никколо Макиавелли, котораго я зналъ лишь по имени. Это гений, очерченный и искаженный предрассудками въ нашихъ школахъ, гдѣ ограничиваются одной характеристикой, не знакомя учащихъ съ его твореніями, и не давая себѣ труда прочесть и понять его. Другъ д'Акуна подарилъ мнѣ экземпляръ Макиавелли, который я до сихъ поръ храню; я неоднократно перечитывалъ его и сдѣлалъ въ немъ нѣкоторыя замѣтки; но это было много лѣтъ спустя. Какъ ни странно (я замѣтилъ это много позже), но никогда духъ мой съ такой любовью не жаждалъ работы и творчества, какъ въ тѣ времена, когда мое сердце было полно любви. Безъ сомнѣнія, любовь мѣшала мнѣ примѣнять мои умственные способности, но именно она способствовала ихъ пробужденію. Лучше всего я преуспѣвалъ въ литературѣ тогда, когда могъ отдѣть, въ видѣ дани, плоды своего творчества любимому и дорогому существу.

Но это блаженство въ Голландіи продолжалось недолго. Мужъ моей любовницы былъ богатый человекъ, сынъ губернатора Батавіи. Онъ часто мѣнялъ мѣсто жительства и, купивъ незадолго передъ этимъ баронское помѣстье въ Швейцаріи, рѣшилъ провести тамъ осень. Въ августѣ онъ поѣхалъ съ женою на воды въ Спа, куда я дружески сопровождалъ ихъ, не вызывая его ревности. Возвращаясь изъ Спа въ Голландію, мы ѣхали вмѣстѣ до Местрихта, гдѣ я былъ принужденъ покинуть ихъ—возлюбленная моя должна была ѣхать съ матерью въ деревню, а мужъ ея направился въ Швейцарію. Я не былъ знакомъ съ ея матерью и не имѣлъ никакого удобнаго предлога или приличнаго средства проникнуть въ чужой домъ. Мое сердце разрывалось отъ тоски при этой

первой разлукѣ, но оставалась еще слабая надежда, что мы вновь увидимся. И, въ самомъ дѣлѣ, черезъ нѣсколько дней послѣ моего возвращенія въ Гаагу и отъѣзда мужа въ Швейцарію, моя подруга вновь появилась въ городѣ. Счастье мое было безпредѣльно, но пролетѣло какъ единый мигъ. Десять дней я считалъ себя, и дѣйствительно былъ, счастливейшимъ изъ людей. Моя подруга не смѣла сообщить мнѣ о своемъ отъѣздѣ въ деревню, а я не имѣлъ смѣлости спросить объ этомъ... Разъ утромъ ко мнѣ явился другъ д'Акуна и сообщилъ, что ей пришлось уѣхать. Онъ передалъ мнѣ письмецо, написанное ея рукой, которое было для меня смертельнымъ ударомъ: она писала съ откровенной нѣжностью, что во избѣжаніе скандала не могла больше откладывать своего возвращенія къ мужу, который приказалъ ей немедленно вернуться. Другъ участливо посовѣтовалъ покориться необходимости и быть разсудительнымъ, такъ какъ зло было непоправимо.

Я думаю, никто не повѣрилъ бы мнѣ, если бы я описалъ всѣ безумства, которыя совершилъ въ припадкѣ горя, доведшаго меня до отчаянія. Въ общемъ, говоря кратко, я хотѣлъ во что бы то ни стало умереть.

Не сказавъ объ этомъ никому и, притворившись больнымъ, чтобы избавиться отъ присутствія друга, я послалъ за хирургомъ, котораго попросилъ пустить кровь; когда онъ исполнилъ мое желаніе и удалился, я сдѣлалъ видъ, что хочу спать и, задернувъ занавѣски, принялся срывать съ себя повязки, чтобы истечь кровью.

Но въ это время преданный и благоразумный Илья подбѣжалъ къ моей кровати и отдернулъ занавѣски: онъ прекрасно видѣлъ въ какомъ я состояніи и, кромѣ того, былъ предупрежденъ моимъ другомъ. Застигнутый врасплохъ, смущенный и, можетъ быть, уже раскаявшійся въ своемъ мальчишескомъ поступкѣ, я сказалъ ему, что повязка у меня развязалась нечаянно. Сдѣлавъ видъ, что вѣритъ мнѣ, онъ снова завязалъ ее, но затѣмъ уже не переставалъ за мной наблюдать. И даже болѣе того—

онъ послалъ за д'Акуной, который сейчасъ же прибѣжалъ ко мнѣ; они заставили меня встать съ постели и другъ увелъ меня къ себѣ, гдѣ продержалъ нѣсколько дней, ни на минуту не оставляя одного.

Мое отчаяніе было безпросвѣтно и безмолвно, такъ какъ стыдливость, или, быть можетъ, недоувѣрчивость, не позволяли мнѣ высказать его: я или молчалъ, или плакалъ. Но совѣты друга, легкія развлечения, которыя онъ мнѣ доставлялъ, смутная надежда вновь встрѣтиться съ любимою и пріѣхать на будущій годъ въ Голландію и, вѣроятно, еще въ большей мѣрѣ моя естественная девятнадцатилѣтняя безопасность—все это по-немногу облегчило мое горе. И хотя душа моя еще долго продолжала болѣть, я взялъ себя въ руки черезъ нѣсколько дней.

Внявъ голосу благоразумія, хотя и съ сердцемъ полнымъ печали, я рѣшилъ ѣхать обратно въ Италію, такъ какъ мнѣ было слишкомъ тяжело видѣть ту страну и тѣ мѣста, которыя живо напоминали о счастіи, также внезапно утраченномъ, какъ внезапно оно ворвалось въ мою жизнь. Мнѣ было также очень тяжело разстаться съ другомъ; но, видя мою глубокую душевную боль, онъ самъ уговаривалъ меня ѣхать, увѣряя, что путешествіе, новизна впечатлѣній и время залечатъ все.

Въ половинѣ сентября я вырвался изъ объятій д'Акуны, который захотѣлъ проводить меня до Утрехта; я поѣхалъ черезъ Брюссель, Лотарингію, Эльзасъ, Швейцарію, Савойю, останавливаясь вплоть до Пьемонта лишь для ночевокъ. Меньше чѣмъ въ три недѣли, я добрался до Куміаны, гдѣ была вилла моей сестры, куда проѣхалъ изъ Сузы прямымъ путемъ, миновавъ Туринъ, во избѣжаніе всякихъ встрѣчъ со знакомыми. Мнѣ нужно было пережить остатокъ своего горя въ полномъ одиночествѣ. И во все время моего путешествія я видѣлъ лишь стѣны Нанси, Страсбурга, Базеля, Женевы и другихъ городовъ, которые проѣзжалъ: я не говорилъ ни слова съ вѣрными

Ильей, который, приравливаясь къ моему болѣзненному состоянію, повиновался мнѣ по одному знаку и преудреждалъ всѣ мои желанія.

Г л а в а VII.

ВЕРНУВШИСЬ НА РОДИНУ, Я ПРЕДАЮСЬ ВТЕЧЕНІЮ
ПОЛУГОДА ИЗУЧЕНІЮ ФИЛОСОФІИ.

1769.

Таково было мое первое путешествіе, продолжавшееся два года и нѣсколько дней.

Я провелъ шесть недѣль въ деревнѣ съ моей сестрой, а затѣмъ вмѣстѣ съ нею вернулся въ Туринъ. Многие не узнавали меня, такъ я возмужалъ за эти два года. Такъ полезна оказалась для меня эта разнообразная, свободная и богатая впечатлѣніями жизнь. Проѣзжая черезъ Женеву, я накупилъ цѣлый сундукъ книгъ: среди нихъ были произведенія Руссо, Монтескье, Гельвеція и т. п. Вернувшись на родину съ сердцемъ, полнымъ меланхоліи и любви, я почувствовалъ необходимость занять умъ серьезной работой, но не зналъ на чемъ остановиться. Мое воспитаніе, такое небрежное вначалѣ и законченное шестью годами праздной, разсѣянной жизни, сдѣлало меня неспособнымъ ни къ какимъ занятіямъ.

Въ нерѣшительности относительно того, что предпринять,—остаться на родинѣ или ѣхать вновь путешествовать,—я поселился на эту зиму въ домѣ сестры; цѣлые дни я занимался чтеніемъ, гулялъ немного и не завязывалъ никакихъ новыхъ отношеній съ людьми. Я все еще продолжалъ читать только французовъ: мнѣ очень хотѣлось прочесть „Элоизу“ Руссо и я много разъ начиналъ ее; но хотя и былъ исполненъ увлеченій и попрежнему страстно влюбленъ, я все же находилъ въ этой книгѣ столько преувеличенныхъ чувствъ, изысканности и

холоднаго анализа, а съ другой стороны такъ мало искренняго чувства и такъ много разсудочности, что не могъ кончить перваго тома. Что касается политическихъ произведеній Руссо, напримѣръ, его „Общественнаго договора“, я не понималъ ихъ и потому оставилъ въ покоѣ.

Изъ Вольтера меня особенно очаровывала проза, стихи же его я находилъ скучными. „Генриаду“ я читалъ лишь отрывками; «Дѣвственницу» никогда не могъ дочитать, такъ какъ всегда имѣлъ отвращеніе къ непристойнымъ произведеніямъ. Были мнѣ знакомы и нѣкоторыя изъ его трагедій. Монтескье, наоборотъ, я прочелъ два раза подрядъ, съ начала до конца съ большимъ увлеченіемъ, и не безплодно. Философія Гельвеція произвела на меня также глубокое, хотя и тяжелое, впечатлѣніе. Но любимой книгой, въ продолженіе всей зимы дарившей меня огромнымъ наслажденіемъ, была «Жизнеописанія великихъ людей» Плутарха.

Нѣкоторыя изъ нихъ, какъ, напримѣръ, Тимолеона, Цезаря, Брута, Пелопида, Катона я перечитывалъ по четыре-пять разъ, и при этомъ съ такими слезами, съ такими изступленными возгласами восторга, а иногда и гнѣва, что если бы кто-нибудь услышалъ все это изъ сосѣдней комнаты, меня непремѣнно сочли бы за сумасшедшаго. Часто, читая о высокихъ качествахъ этихъ великихъ людей, я вскакивалъ вѣ себя, и слезы ярости и страданья наполняли мои глаза при одной мысли, что я родился въ Пьемонтѣ, и въ такое время, и при такомъ правительствѣ, когда ничто великое не могло быть проявлено ни словомъ, ни дѣломъ и гдѣ можно было лишь безплодно мечтать о великихъ подвигахъ. Этой зимой я усердно занимался также изученіемъ планетной системы и законовъ движенія небесныхъ тѣлъ, вѣрнѣе сказать, тѣмъ въ этихъ наукахъ, что можетъ быть понято безъ геометріи, которая все еще была для меня недоступна. Другими словами, я изучалъ историческую часть этой, по существу математической, науки. Не-

781272

смотря на ограниченность моихъ знаній, я понималъ ее настолько, что постигъ величіе творенія, и если бы былъ настолько развитъ, чтобы продолжать дальнѣйшее изученіе ея, то никакая наука не могла бы плѣнять меня болѣе.

Но среди этихъ пріятныхъ и благородныхъ занятій, восхищавшихъ меня, возрастала моя сумрачность, меланхолія и отвращеніе ко всякимъ обычнымъ развлеченіямъ, и мой шуринъ постоянно настаивалъ на томъ, чтобы я женился. По природѣ я былъ скорѣе склоненъ къ семейной жизни; но въ девятнадцать лѣтъ я побывалъ въ Англіи, а двадцати прочелъ и горячо оцѣнилъ Плутарха; этого было достаточно, чтобы отвратить меня отъ женитьбы и семейнаго быта въ Туринѣ. Тѣмъ не менѣе, благодаря легкомысленности моего возраста, я понемногу сталъ сдаваться и позволилъ шурину подыскать молодую наслѣдницу знатнаго рода; впрочемъ, она оказалась довольно красивой, съ прекрасными черными глазами, которые безъ труда заставили бы меня забыть Плутарха, подобно тому, какъ Плутархъ, быть можетъ, заслонила мою страсть къ прекрасной голландкѣ. Я долженъ сознаться, къ своему стыду, что въ этомъ случаѣ богатство молодой дѣвушки прельщало меня больше, нежели красота ея: я рассчитывалъ про себя, что мои доходы, вдвое этимъ увеличенные, дадутъ мнѣ возможность стать болѣе виднымъ лицомъ въ обществѣ. Но тутъ моя счастливая звѣзда послужила мнѣ лучше, чѣмъ низменные расчеты. Молодая дѣвушка, которая сначала была ко мнѣ расположена, подъ влияніемъ доброй тетушки, обратила свое вниманіе на другого молодого человѣка. Онъ былъ членомъ большой семьи, и благодаря множеству братьевъ и дядей, его матеріальное положеніе было гораздо хуже моего; но при дворѣ онъ пользовался покровительствомъ герцога савойскаго, предполагаемаго наслѣдника короны, нажемъ котораго онъ былъ ранѣе и отъ котораго впоследствии дѣйствительно получилъ желанныя милости. Кромѣ того, онъ обладалъ прекраснымъ характеромъ и

пріятными манерами. Меня же, наоборотъ, считали чело-
вѣкомъ страннымъ, въ плохомъ значеніи этого слова; я
не могъ привыкнуть къ мнѣніямъ, нравамъ, сплетнямъ
и рабству своей родины и слишкомъ легко позволялъ себѣ
порицать и осмѣивать ея обычаи, что никогда не про-
щается въ свѣтѣ, по правдѣ сказать, съ полнымъ осно-
ваніемъ. Итакъ, мнѣ было окончательно отказано и пред-
почтеніе было отдано упомянутому молодому чело-
вѣку. Это обстоятельство послужило ко благу молодой особы,
ибо она очень счастливо прожила свою жизнь, вступивъ
въ новую семью; а также и къ моему, такъ какъ
попавши съ женой и дѣтьми въ сѣти жизни, я былъ
бы принужденъ разстаться съ музами. Отказъ обрадо-
валъ и огорчилъ меня, такъ какъ пока велось это дѣло,
я часто чувствовалъ сожалѣніе и стыдъ, стараясь лишь
не обнаруживать его. Я внутренно краснѣлъ оттого, что
унижаясь ради денегъ, совершаю поступокъ совершенно
противный моимъ убѣжденіямъ. Но маленькая ошибка
рождаетъ другую и т. д. Причиной моей алчности
была мечта, родившаяся во мнѣ еще въ Неаполѣ,—
стать когда-нибудь дипломатомъ. Шуринокъ поддержи-
валъ во мнѣ эту мысль своими совѣтами и выгодный
бракъ являлся для меня основаніемъ будущей карьеры
посланника, которая требуетъ большихъ средствъ. Къ
счастью, вмѣстѣ съ этимъ бракомъ разсѣялись, какъ
дымъ, всѣ мои планы дипломатической карьеры. Я въ
сущности никогда не хлопоталъ о подобной службѣ и то,
что объ этомъ желаніи, родившемся и умершемъ въ глу-
бинѣ моей души, не зналъ никто, кромѣ моего шурина,
значительно уменьшало стыдъ.

Какъ только рухнули эти два замысла, я вдругъ почув-
ствовалъ, что во мнѣ возродилось желаніе путешество-
вать въ продолженіи, по крайней мѣрѣ, трехъ лѣтъ, чтобы
по дорогѣ выяснить свое назначеніе въ жизни; мнѣ было
20 лѣтъ и я могъ не торопиться съ этимъ. Такъ какъ
власть опекуна кончается въ нашей странѣ послѣ 20-ти
лѣтъ, я свелъ всѣ счеты со своимъ попечителемъ. Будучи

теперь въ состояніи яснѣе разобраться въ своихъ дѣлахъ, я убѣдился, что мое состояніе гораздо больше, чѣмъ обыкновенно говорилъ опекунъ. Но этимъ онъ приучилъ меня довольствоваться немногимъ и съ тѣхъ поръ я былъ всегда очень воздержанъ въ своихъ расходахъ. Итакъ, считавъ, что доходы мои равны приблизительно двумъ съ половиною тысячамъ цехиновъ, къ которымъ прибавлялись еще нѣкоторыя сбереженія за періодъ моего несовершеннолѣтія, я рѣшилъ, что для холостого человѣка въ условіяхъ жизни Пьемонта я довольно богатъ; я не собирался увеличивать своего состоянія и сталъ готовиться ко второму путешествію, которое хотѣлъ совершить съ большими удобствами, ни въ чемъ себя не стѣсняя.

ГЛАВА VIII.

ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВІЕ ВЪ ГЕРМАНІЮ, ДАНИЮ И ШВЕЦІЮ.

Получивъ, какъ всегда, съ большимъ трудомъ необходимое разрѣшеніе короля, я выѣхалъ по направленію къ Вѣнѣ въ маѣ 1769 года. Предоставивъ распоряжаться скучными дорожными расходами преданному Ильѣ, я погрузился дорогой въ глубокія размышленія о вещахъ этого міра. И вмѣсто празднои и несносной меланхоліи, вмѣсто нетерпѣливой потребности переѣзжать съ мѣста на мѣсто, которая въ первомъ путешествіи не переставая гнала меня впередъ, я испытывалъ другую меланхолію, тихую и серьезную: она происходила отчасти отъ воспоминанія о прежней любви, отчасти оттого, что я провелъ шесть мѣсяцевъ въ занятіяхъ возвышенными предметами. „Опыты“ Монтэня (если съ тѣхъ поръ я научился немного мыслить, то я обязанъ этимъ только его книгѣ)—изумительные „Опыты“ также очень способствовали этому. Эти неразлучные мои спутники, въ десяти маленькихъ томахъ, были разсованы по всѣмъ ящичкамъ моей кареты.

Они меня просвѣщали, плѣняли и странно льстили моему лѣни и невѣжеству. Мнѣ было достаточно на обумъ открыть какой-нибудь томъ и прочесть въ немъ одну-двѣ страницы, чтобы потомъ думать о нихъ нѣсколько часовъ. Но встрѣчая на каждой страницѣ латинскія выраженія и вынужденный искать ихъ переводъ въ примѣчаніи, я испытывалъ нѣкоторый стыдъ, такъ какъ не могъ понять даже простѣйшихъ цитатъ въ прозѣ, не говоря уже о тѣхъ, которыя Монтэнъ заимствуетъ у великихъ поэтовъ. Я и не пытался разобраться въ нихъ и, какъ невѣжда, прямо обращался къ примѣчанію. Болѣе того, я просто пропускалъ отрывки лучшихъ итальянскихъ поэтовъ, которыми переполнено произведеніе Монтэна, не желая дѣлать усилія, чтобы понять ихъ; такъ велико было мое невѣжество и такъ я забывалъ тотъ божественный языкъ, отъ котораго приходилось отвыкать съ каждымъ днемъ.

По дорогѣ въ Вѣну я побывалъ въ Миланѣ и Венеціи, въ двухъ городахъ, которые мнѣ хотѣлось вновь увидеть; въ Трентѣ, Инсбрукѣ, Аугсбургѣ и Мюнхенѣ я останавливался очень не надолго. Вѣна показалась мнѣ также мизерна, какъ и Туринъ, но хуже по мѣстоположенію. Я прожилъ тамъ все лѣто, но ничему въ ней не научился. Въ іюлѣ я совершилъ экскурсію въ Будапештъ, чтобы хотя немного повидать и Венгрію. Я опять сталъ бездѣльникомъ и занимался лишь тѣмъ, что бывалъ въ самомъ разнообразномъ обществѣ: но всегда старался остерегаться любовныхъ сѣтей. Чтобы лучше всего противостоять имъ, я пользовался средствомъ, рекомендованнымъ Катонемъ. Во время моего пребыванія въ Вѣнѣ я легко могъ бы познакомиться и посѣщать знаменитаго поэта Метастазію, у котораго ежедневно проводилъ часть вечера нашъ посланникъ, досточтимый графъ Канале. Тамъ собиралось избранное общество, состоявшее изъ немногихъ литераторовъ, и постоянно читались отрывки изъ греческихъ, латинскихъ и итальянскихъ классиковъ. Добрѣйшій старый графъ Канале, который очень привязался ко мнѣ и не могъ равнодушно относиться къ моему бездѣлю

многokrатно предлагалъ представить меня *Метастазіо*. Но кромѣ моей природной дикости и необщительности, я все еще находился цѣликомъ подъ вліяніемъ всего французскаго и былъ полонъ презрѣнія къ итальянскимъ книгамъ и авторамъ: собраніе людей, преданныхъ изученію классической литературы, казалось мнѣ компаніей скучныхъ педантовъ. Помимо этого, я имѣлъ случай разъ видѣть *Метастазіо* въ *Шенбруннѣ* въ садахъ императора; я обратилъ вниманіе, какъ работѣнно дѣлалъ онъ обычный поклонъ съ колѣнопреклоненіемъ передъ *Маріей-Терезіей*. Увлеченный *Плутархомъ* и склонный искать всюду абсолютное совершенство, я ни за что не хотѣлъ вступить въ какія-либо отношенія съ продажной музой, подкупленной деспотической властью, которая была мнѣ такъ отвратительна. Такимъ образомъ, я постепенно превратился въ задумчиваго дикаря и такъ какъ къ моимъ странностямъ примѣшивались страсти, естественныя для двадцатилѣтняго юноши, а также ихъ послѣдствія, то неудивительно, что я слылъ оригиналомъ и чудакомъ.

Въ сентябрѣ я продолжилъ свое путешествіе и черезъ Прагу поѣхалъ въ Дрезденъ, гдѣ остановился на мѣсяць, а оттуда—въ Берлинъ, гдѣ пробылъ столько же. Попавъ во владѣнія *Фридриха Великаго*, которыя показались мнѣ одной огромной гауптвахтой, я почувствовалъ еще большее отвращеніе къ подлomu военному ремеслу, единственной и отвратительной основѣ деспотизма, поддерживаемаго тысячами наемныхъ приспѣшниковъ. Я былъ представленъ королю. Но не только не ощутилъ восхищенія или почтенія, а скорѣе меня охватило негодованіе и ярость, чувства, возраставшія съ каждымъ днемъ при видѣ столькихъ явленій жизни, преисполненныхъ лжи и прикрываемыхъ личиною истины. *Графъ де-Финкъ*, министръ короля, представлявшій меня, спросилъ, почему, состоя на государственной службѣ, я въ этотъ день не надѣлъ своего мундира? Я отвѣтилъ: — „мнѣ кажется, что при этомъ дворѣ нѣтъ недостатка въ мундирахъ“. Король обратился ко мнѣ съ обычными двумя-тремя словами привѣтствія; я

внимательно наблюдалъ за нимъ, почтительно глядя ему въ глаза и благодарилъ Бога, что не родился его рабомъ. Въ половинѣ ноября я выѣхалъ изъ этой обширной казармы, Пруссіи, чувствуя къ ней вполне справедливое отвращеніе.

Затѣмъ я отправился въ Гамбургъ, откуда черезъ три дня выѣхалъ въ Данію. Въ Копенгагенъ я пріѣхалъ въ началѣ декабря; страна мнѣ понравилась, такъ какъ я находилъ въ ней нѣкоторое сходство съ Голландіей. Я, дѣйствительно, обратилъ вниманіе на ея дѣятельную торговлю и промышленность, что, обыкновенно, не встрѣчается при чисто монархическомъ образѣ правленія. Слѣдствіемъ этого является общественное благосостояніе, которое сразу бросается въ глаза иностранцу и, конечно, говоритъ въ пользу правителя. Ничего подобнаго нѣтъ въ Пруссіи, хотя великій Фридрихъ и приказалъ, чтобы науки, искусства и общественное благосостояніе процвѣтали подъ зловредной тѣнью его трона. Можетъ быть, потому мнѣ и нравился Копенгагенъ, что въ немъ нѣтъ ничего общаго ни съ Берлиномъ, ни вообще съ Пруссіей; ни одна страна не произвела на меня такого тяжелаго впечатлѣнія, какъ Пруссія, хотя архитектура, особенно въ Берлинѣ, и представляетъ часто прекрасное и грандіозное зрѣлище; но эти вѣчные солдаты, какъ только вспомню о нихъ, и до сихъ поръ приводятъ меня въ ярость, которая кипѣла во мнѣ тогда при видѣ ихъ.

1770.

Этой зимой я опять началъ немного болтать по-итальянски съ неаполитанскимъ посломъ въ Даніи, который былъ родомъ изъ Пизы, графомъ Катанти, шуриномъ знаменитаго маркиза Тануччи, перваго министра неаполитанскаго короля, бывшаго профессора Пизанскаго университета. Я поддался очарованію тосканскаго нарѣчія и произношенія, особенно сравнивая его съ тягучимъ и гнусавымъ датскимъ языкомъ, который принужденъ былъ слушать, къ счастью, ничего въ немъ не понимая. При

разговоръ съ упомянутымъ графомъ Катанти мнѣ было трудно со стороны словоупотребленія, краткости и выразительности языка, столь высоко стоящей у тосканцевъ; что же касается произношенія моихъ итальянизированныхъ варваризмовъ, оно было довольно чисто и близко къ тосканскому. Такъ какъ я привыкъ насмѣхаться надъ всѣми остальными итальянскими діалектами, которые, по правдѣ сказать, оскорбляли мой слухъ, я приучилъ себя какъ можно лучше произносить звуки — „u“, „z“, „gi“, „ci“, однимъ словомъ, всѣ тѣ особенности, которыми отличается тосканскій выговоръ. Итакъ, побуждаемый графомъ Катанти, я пересталъ пренебрегать этимъ великолѣпнымъ и, въ концѣ концовъ, роднымъ языкомъ (я ни за что не хотѣлъ быть французомъ) и принялся опять за чтеніе нѣкоторыхъ итальянскихъ книгъ. Я прочелъ, между прочимъ, діалоги Аретино, которые возбуждали во мнѣ отвращеніе своей непристойностью, но восхищали оригинальностью, разнообразіемъ и удачнымъ выборомъ выраженій. Эти занятія развлекали меня, потому что этой зимой я нерѣдко принужденъ былъ оставаться въ комнатахъ и даже въ постели изъ-за частаго нездоровья, которое происходило отъ моей слишкомъ воздержанной въ извѣстныхъ отношеніяхъ жизни. Я опять съ удовольствіемъ въ третій-четвертый разъ перечитывалъ Плутарха. Монтэня же читалъ всегда. Такимъ образомъ, въ головѣ моей была странная смѣсь философіи, политики и раслуцства. Когда здоровье позволяло мнѣ это, однимъ изъ любимыхъ моихъ удовольствій подъ сѣвернымъ небомъ было катанье на саняхъ: поэтическая быстрота движенія сильно возбуждала меня и восхищала не менѣе быструю фантазію.

Въ концѣ марта я выѣхалъ въ Швецію. Хотя Зундъ былъ уже вполне свободенъ отъ льда, также, какъ и Сканиа отъ снѣга, но не дальше какъ при выѣздѣ изъ Норкопинга я снова очутился въ царствѣ глубокой зимы: повсюду сугробы снѣга и замерзшія озера. Дальше невозможно было ѣхать на колесахъ и мою карету пришлось

поставить на полозья, какъ здѣсь обычно дѣлаютъ; и только такимъ образомъ я добрался до Стокгольма. Новизна зрѣлища, дѣвственная и величественная природа, эти большіе лѣса, озера и пропасти наполнили мою душу восторгомъ. Я еще не читалъ Оссіана, но, тѣмъ не менѣе, множество образовъ, родственныхъ его поэзіи, предстали здѣсь предо мной и глубоко запечатлѣлись въ душѣ; и впослѣдствіи, когда я изучалъ Оссіана въ искусномъ переводѣ знаменитаго Чезаротти, я узнавалъ въ нихъ свои собственные впечатлѣнія.

Пейзажъ Швеціи, какъ и ея обитатели, мнѣ очень понравился; можетъ быть, потому, что я всегда любилъ крайности, а можетъ быть и безъ опредѣленной причины; но, во всякомъ случаѣ, если бы я захотѣлъ провести жизнь на сѣверѣ, то предпочелъ бы эту дальнюю окранию Европы всѣмъ другимъ извѣстнымъ мнѣ странамъ. Полуконституціонная форма правленія Швеціи, допускающая нѣкоторую степень свободы, возбудила во мнѣ желаніе ознакомиться съ ней подробнѣе. Но я не былъ способенъ къ серьезнымъ, усидчивымъ занятіямъ и изучалъ ее лишь поверхностно; несмотря на это, понялъ ее настолько, что составилъ себѣ слѣдующее представленіе: бѣдность четырехъ избирающихъ сословій и крайняя развращенность дворянъ и буржуазіи содѣйствовали тому, что Россія и Франція пѣною золота пріобрѣли вредное для государства вліяніе. Вслѣдствіе этого въ Швеціи не могло быть ни единообразія въ управленіи, ни дѣятельной администраціи, ни законности, ни прочной свободы. Я продолжалъ кататься на саняхъ въ глубинѣ мрачныхъ лѣсовъ по замерзшимъ озерамъ и это увлеченіе продолжалось до 20-хъ чиселъ апрѣля, когда, меньше чѣмъ въ четыре дня, растаяла съ невѣроятной быстротой вся толща льда подъ настойчивымъ солнцемъ и при тепломъ морскомъ вѣтрѣ. По мѣрѣ того, какъ таяли громадныя снѣжные сугробы, появлялась свѣжая зелень: зрѣлище по истинѣ изумительное, которое вдохновило бы меня писать стихи, если бы мнѣ знакомо было это искусство.

Г л а в а IX.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПУТЕШЕСТВИЙ: РОССІЯ, СНОВА
ПРУССІЯ, СПА, ГОЛЛАНДІЯ И АНГЛІЯ.

Я хорошо чувствовалъ себя въ Стокгольмѣ, но, постоянно преслѣдуемый страстью къ передвиженію, рѣшилъ покинуть Швецію въ половинѣ мая и черезъ Финляндію направился въ Петербургъ. Въ концѣ апрѣля я совершилъ небольшую экскурсію въ Упсалу, знаменитую своимъ университетомъ, и по дорогѣ посѣтилъ нѣсколько желѣзныхъ рудниковъ, гдѣ видѣлъ много интереснаго. Но изъ-за поверхностности осмотра и потому, что я ничего не записывалъ, посѣщеніе это прошло для меня безслѣдно. Добравшись до Гриссельхамна, маленькаго порта на восточномъ берегу Швеціи, противъ входа въ Ботнической заливъ, я снова очутился среди глубокой зимы. Какъ будто я нарочно гнался за нею. Значительная часть моря замерзла и переѣздъ съ материка на первый островокъ (у входа въ заливъ—ихъ пять) оказался невозможнымъ: вода совершенно застыла. Мнѣ пришлось задержаться дня на три въ этомъ скучномъ мѣстѣ; наконецъ, подъ вліяніемъ благоприятнаго вѣтра, плотная ледяная кора понемногу покрылась трещинами, а затѣмъ раздѣлилась на огромныя пловучія глыбы, между которыми можно бы было проложить себѣ путь на лодкѣ: но для этого требовалась отвага. Дѣйствительно, на другой день въ Гриссельхамну причалилъ рыбакъ, приплывшій въ маленькомъ челнѣ съ того острова, черезъ который лежалъ мой путь; онъ сказалъ намъ, что проѣхать можно, хотя это и нелегко. Я тотчасъ рѣшилъ попытать счастья.

Судно, въ которое должна была помѣститься моя карета, значительно больше маленькой рыбацкой лодки. Пробраться на немъ было труднѣе, но за то менѣе опасно; естественно, что болѣе крупное судно лучше противостояло ударамъ льдинъ. Я не ошибся въ расчетахъ. Ледяныя плавучіе островки придавали необычный видъ гроз-

ному морю, которое скорѣе походило на растрескавшуюся и покоробленную землю, чѣмъ на водный просторъ. Къ счастью, вѣтеръ былъ очень слабъ и льдины скорѣе ласкались къ моему судну, чѣмъ стремились раздавить его. Все же, благодаря ихъ подвижности и многочисленности, онѣ нерѣдко сталкивались передъ носомъ нашей барки и, сцѣпляясь, заграждали путь; къ нимъ присоединились все новыя и, нагромождаясь другъ на друга, казалось, намекали мнѣ, что слѣдуетъ вернуться на материкъ. Мнѣ оставался только одинъ выходъ—прибѣгнуть къ помощи топора. Не разъ моимъ матросамъ и мнѣ самому приходилось выпрыгивать на льдины, разрубать ихъ и отталкивать отъ бортовъ судна, чтобы дать проходъ его носу и весламъ. Потомъ мы бросались обратно въ судно и уже нѣсколько свободнѣе плыли дальше. Понадобилось болѣе десяти часовъ, чтобы при этихъ условіяхъ проплыть разстояніе въ семь шведскихъ миль. Необычность такого путешествія сильно меня развлекала; но, можетъ быть, рассказывая его съ такими подробностями, я плохо развлекаю читателя. Здѣсь я поддался искушенію описать нѣчто совершенно неизвѣстное итальянцамъ. Послѣ перваго перевѣзда остальные шесть, болѣе короткіе и менѣе загроможденные льдомъ, казались уже гораздо легче. Изъ европейскихъ странъ Швеція, съ дикой суровостью своей природы, лучше всего подходила къ складу моего ума и мысли, рождаемая ею во мнѣ, всегда носили фантастическій, меланхолическій и даже величественный характеръ; я думаю, что это происходило подъ влияніемъ безграничнаго молчанія и тишины, царящей здѣсь, гдѣ такъ легко повѣрить, что находишься уже за предѣлами земного шара.

Высадившись, наконецъ, въ Або, столицѣ шведской Финляндіи, я продолжалъ путешествіе по прекраснымъ дорогамъ, на отличныхъ лошадяхъ, до Петербурга, куда пріѣхалъ въ концѣ мая. Не сумѣю сказать, днемъ или ночью пріѣхалъ я туда, такъ какъ, съ одной стороны, ночей почти не существуетъ на сѣверѣ въ это время года, а

съ другой, благодаря множеству бессонныхъ ночей въ путешествіи, у меня въ головѣ все путалось; я чувствовалъ тоску отъ этого постоянного печальнаго дневнаго свѣта и совершенно не помнилъ, какой былъ день недѣли, въ которомъ часу и въ какой части свѣта я находился въ тотъ моментъ. Тѣмъ болѣе, что нравы, одежды и московскія бороды заставляли меня чувствовать себя скорѣе среди татаръ, чѣмъ европейцевъ.

Я читалъ исторію Петра Великаго Вольтера; былъ знакомъ съ нѣкоторыми русскими въ Туринской академіи и слышалъ много восторженныхъ разсказовъ объ этой нарождающейся націи. Такимъ образомъ, все то, что я видѣлъ, приѣхавъ въ Петербургъ, при моемъ пламенномъ воображеніи, часто приводившемъ къ разочарованію, заставляло меня сильно волноваться и ждать какихъ-то чудесъ. Но, увы, едва я оказался въ этомъ азіатскомъ лагерѣ, съ правильно расположенными бараками, какъ мнѣ живо вспомнились Римъ, Генуя, Венеція, Флоренція и я не могъ удержаться отъ смѣха. Все, что я узналъ затѣмъ здѣсь, лишь подтверждало мое первое впечатлѣніе и я пришелъ къ тому важному заключенію, что эта страна вовсе недостойна посѣщенія. Все въ ней такъ противорѣчило моимъ вкусамъ (кромѣ лошадей и бородъ), что въ продолженіи шести недѣль, проведенныхъ мною среди этихъ варваровъ, наряженныхъ европейцами, я ни съ кѣмъ не познакомился и даже не захотѣлъ повидаться съ двумя или тремя молодыми людьми изъ высшаго общества, моими товарищами по Туринской академіи. Я отказался быть представленнымъ знаменитой императрицѣ Екатеринѣ II; не поинтересовался и взглянуть на эту государыню, которая въ наши дни заставила такъ много говорить о себѣ. Когда впоследствии я старался открыть причину такого безцѣльнаго, дикаго поведенія, то пришелъ къ заключенію, что это была явная нетерпимость непреклоннаго характера и естественное отвращеніе къ тираниі, вообще, вдобавокъ, воплощенный въ женщинѣ, справедливо обвиняемой въ самомъ ужасномъ пре-

ступленіи—измѣнѣ и убійствѣ безоружнаго мужа. Я отлично помню, какъ говорили, что среди смягчающихъ обстоятельствъ, выдвигаемыхъ защитниками этого преступленія, были слѣдующія: будто бы Екатерина, насильственно захвативъ власть, хотѣла дарованіемъ справедливой конституціи хотя бы отчасти возстановить человѣческія права, такъ жестоко попираемыя всеобщимъ и полнымъ рабствомъ, тяготѣющимъ надъ русскимъ народомъ. И не смотря на это, послѣ пяти-шести лѣтъ правленія этой Клитемнестры-философа, я нашелъ народъ въ прежнемъ рабскомъ состояніи; кромѣ того, я убѣдился, что петербургскій тронъ былъ еще большей поддержкой милитаризма, чѣмъ берлинскій. Вотъ, безъ сомнѣнія, въ чемъ была причина, заставившая меня презирать эти народы и возбуждавшая мою бѣшеную ненависть къ ихъ преступнымъ правителямъ.

Вся эта азіатчина такъ мнѣ не понравилась и такъ меня утомила, что я рѣшилъ не ѣздить въ Москву, куда раньше собирался; мнѣ казалось, что я за тысячу верстъ отъ Европы. Въ концѣ іюня я выѣхалъ въ Ригу, черезъ Нарву и Ревель; тоской, наводимой на меня этими унылыми равнинами, я вполне заплатилъ за наслажденіе, которое испыталъ на краю пропастей и въ необозримыхъ эпическихъ лѣсахъ Швеціи. Я продолжалъ свой путь черезъ Кенигсбергъ и Данцигъ. Этотъ городъ, до сихъ поръ свободный и процвѣтающій, какъ разъ въ томъ году началъ подпадать подъ вліяніе дурнаго сосѣда. Прусскій деспотъ уже успѣлъ силой ввести туда своихъ низкихъ приспѣшниковъ. Такимъ образомъ, пославъ къ чорту русскихъ, пруссаковъ и всѣхъ, позволяющихъ тиранамъ поирать ихъ человѣческое достоинство, и возмущенный проволочкой времени изъ-за безчисленныхъ формальностей, требуемыхъ полиціей—(въ каждой деревушкѣ фельдфебель допрашиваетъ васъ при входѣ, проѣздѣ и выѣздѣ о вашемъ имени, возрастѣ и всѣхъ вашихъ качествахъ и намѣреніяхъ)—я, наконецъ, вторично попалъ въ Берлинъ, послѣ мѣсяца самаго непріятнаго и скучнаго пути, пол-

наго притѣсненій, возможныхъ лишь при сошествіи въ адъ. Проѣзжая черезъ Цорндорфъ, я посѣтилъ поле сраженія пруссаковъ и русскихъ, гдѣ столько тысячъ тѣхъ и другихъ освободились, наконецъ, изъ-подъ ярма, сложивъ здѣсь свои кости. Мѣста погребеній легко можно было узнать по богатому зеленѣющему всходу хлѣбовъ, которые на здѣшней бѣдной и бесплодной почвѣ, обычно ничѣмъ не удобряемой, отличаются жалкими и рѣдкими колосьями. Я невольно пришелъ тутъ къ грустному, но, увы, вполнѣ справедливому заключенію: что рабы рождены именно для того, чтобы удобрять собою землю. Все прусское заставляло меня съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе стремиться въ счастливую Англію.

1 мая.

Итакъ, я въ три дня отдѣлался отъ своей второй Берлиніады, остановившись въ Берлинѣ лишь для того, чтобы отдохнуть немного отъ труднаго пути. Въ концѣ іюля я отправился въ Магдебургъ, Брауншвейгъ, Геттингенъ, Кассель и Франкфуртъ. Въѣзжая въ Геттингенъ, который, какъ всѣмъ извѣстно, славится своимъ знаменитымъ университетомъ, я встрѣтилъ маленькаго ослика и видъ его доставилъ мнѣ великую радость: я не встрѣчалъ этихъ животныхъ въ продолженіи цѣлаго года, проведеннаго на далекомъ сѣверѣ, гдѣ они не могутъ жить и размножаться. Эта встрѣча итальянскаго осла съ нѣмецкимъ осликомъ у стѣнъ столь славнаго университета, конечно, вдохновила бы меня написать оригинальное и полное юмора стихотвореніе, если бы я владѣлъ перомъ; но моя писательская несостоятельность увеличивалась съ каждымъ днемъ. Поэтому я довольствовался лишь мечтами, развлекавшими меня весь этотъ день; я провелъ его въ обществѣ осла. Это было для меня большой рѣдкостью, такъ какъ большей частью я проводилъ праздничные дни въ полномъ одиночествѣ, ничего не дѣлая, ничего не читая и даже не открывая рта.

Пресыщенный всякаго рода нѣметчиной, я черезъ два

дня покинулъ Франкфуртъ, чтобы направиться въ Майнцъ, гдѣ сѣлъ на рейнское судно. Спускаясь внизъ по теченію этой могучей, спокойной рѣки, я подпалъ подъ очарованіе ея живописныхъ береговъ. Изъ Кельна, проѣхавъ черезъ Аахенъ, я вернулся въ Спа, гдѣ провелъ нѣсколько недѣль два года тому назадъ; этотъ городъ оставилъ во мнѣ желаніе вновь увидѣть его, но уже со свободнымъ сердцемъ. Здѣшній образъ жизни, казалось, предназначенъ былъ для моего характера, такъ какъ соединялъ въ себѣ шумъ и уединеніе, и здѣсь легко можно было сохранить инкогнито, находясь въ толпѣ и на собраніяхъ. Дѣйствительно, въ Спа мнѣ было настолько хорошо, что я пробылъ здѣсь съ половины августа до конца сентября; это было уже много для человѣка, нигдѣ не уживавшагося долго. Я купилъ у одного ирландца двухъ лошадей, изъ которыхъ одна была необычайной красоты; я къ ней очень привязался. Утромъ я совершалъ прогулки верхомъ, а вечеромъ обѣдалъ съ нѣсколькими иностранцами съ разныхъ концовъ свѣта; затѣмъ смотрѣлъ на танцы, на красивыхъ женщинъ и дѣвицъ и, такимъ образомъ, проводилъ время или, вѣрнѣе, убивалъ его самымъ удобнымъ способомъ. Но погода стала портиться, большинство купающихся разъѣзжалось и я также рѣшилъ уѣхать въ Голландію, чтобы повидаться съ другомъ д'Акуна; я былъ увѣренъ, что не встрѣчу той, которую любилъ: я зналъ, что она больше не живетъ въ Гаагѣ и уже годъ какъ поселилась съ мужемъ въ Парижѣ. Такъ какъ я не могъ разстаться съ двумя лучшими своими лошадьми, то послалъ Илью впередъ съ каретой, а самъ отправился въ Льежъ, совершая путь то верхомъ, то пѣшкомъ. Въ Льежѣ я встрѣтилъ французскаго посланника, съ которымъ былъ знакомъ, и черезъ него представился князю-епископу, дѣлая это отчасти изъ любезности, отчасти по случайной причудѣ: если ужъ пропустилъ случай увидѣть знаменитую Екатерину II, то посмотрю хоть дворъ льежскаго князя. Во время моего пребыванія въ Спа, я имѣлъ случай быть представленнымъ другому

князю церкви, еще менѣе значительному, аббату де-Ставелло въ Арденнахъ. Къ его двору меня представилъ все тотъ же французскій посланникъ въ Льежъ и мы очень весело и вкусно тамъ обѣдали. Эти маленькіе дворы, управляемые пастырскимъ жезломъ, возбуждали во мнѣ меньшее отвращеніе, чѣмъ большіе, гдѣ царятъ ружье и барабанъ, два бича человѣчества, къ которымъ трудно отнестись со снисходительной улыбкой. Изъ Льежа я отправился со своими лошадьми въ Брюссель, Антверпенъ и черезъ Мордикъ въ Роттердамъ и Гаагу. Мой другъ, съ которымъ я оставался въ перепискѣ съ самаго отъѣзда, принялъ меня съ распростертыми объятіями, и находя, что я недалеко ушелъ въ развитіи, онъ принялся просвѣщать меня своими горячими и дружественными совѣтами. Я пробылъ съ нимъ около двухъ мѣсяцевъ, но намъ пришлось разстаться въ концѣ ноября, такъ какъ приближалась зима и я горѣлъ желаніемъ вновь увидать Англию. Я отправился тѣмъ же путемъ, какъ два года назадъ, и благополучно высадившись въ Гарвичѣ, вскорѣ прибылъ въ Лондонъ. Я нашелъ тутъ почти всѣхъ друзей, которыхъ посѣщалъ въ свое первое пребываніе, между прочимъ, испанскаго посланника, князя ди-Массерано, и неаполитанскаго, маркиза Караччіоли, человѣка рѣдкой пронитательности и живости. Въ продолженіи семи мѣсяцевъ моего пребыванія въ Лондонѣ эти двое людей выказали по отношенію ко мнѣ болѣе чѣмъ отеческую ласку, особенно когда я очутился въ тѣхъ странныхъ обстоятельствахъ, о которыхъ вы скоро узнаете.

Г л а в а X.

ВТОРИЧНАЯ, НА ЭТОТЪ РАЗЪ ТРАГИЧЕСКАЯ,
ЛЮБОВНАЯ ВСТРѢЧА.

4-е мая. 1771.

Еще въ первое пребываніе мое въ Лондонѣ я не безъ удовольствія и волненія встрѣчалъ одну прекрасную особу изъ высшаго общества, образъ которой незамѣтно для меня запечатлѣлся въ моемъ сердцѣ; это увлеченіе способствовало тому, что я находилъ столько привлекательнаго въ этой странѣ и вдвойнѣ увеличивало мое желаніе вновь вернуться сюда. Но не смотря на расположеніе, оказанное мнѣ этой красавицей, мой дикій и причудливый нравъ предохранялъ меня отъ цѣпей любви. Теперь же, пріобрѣвъ нѣкоторый лоскъ и находясь въ возрастѣ особенно склонномъ къ любви, не вполне оправившись отъ перваго приступа этой пагубной болѣзни, столь неудачно постигшей меня въ Гаагѣ, я попался въ новую ловушку и влюбился такъ страстно, что, вспоминая, содрогаюсь еще и теперь, по прошествіи двадцати пяти лѣтъ.

Мнѣ часто представлялись случаи видѣть эту прекрасную англичанку, главнымъ образомъ, у князя ди-Массерано: у нея была съ княгиней общая ложа въ итальянской оперѣ. Я не бывалъ у нея, такъ какъ тогда въ Англіи не было въ обычаѣ, чтобы дамы принимали у себя и, въ особенности, иностранцевъ. Прибавьте къ этому, что мужъ ея былъ ревнивъ, насколько это возможно для сѣверянина. Эти маленькія препятствія лишь раздували мое увлеченіе: мы встрѣчались каждое утро то въ Гайдъ-паркѣ, то на другихъ прогулкахъ; по вечерамъ я также видѣлъ ее или въ свѣтскихъ кружкахъ, или въ театрѣ; и узелъ затягивался все сильнѣе и сильнѣе. Очень скоро я сталъ считать себя несчастнѣйшимъ изъ смертныхъ, хотя мнѣ слѣдовало бы наслаждаться счастьемъ взаимности, въ которой я былъ увѣренъ; но все было для меня отравлено ненадежностью и опасностью такихъ

отношеній. Между тѣмъ, время летѣло и приближалась весна, а въ концѣ іюня она должна была уѣхать въ деревню на 7 или 8 мѣсяцевъ и, такимъ образомъ, окончательно терялась возможность видѣться съ ней; я ждалъ іюня съ отчаяніемъ, считая его послѣднимъ мѣсяцемъ своей жизни. Ни сердце мое, ни больной умъ не допускали возможности пережить такую разлуку; эта новая страсть, уже испытанная временемъ, была гораздо сильнѣе моего перваго увлеченія. Мысль, что день ея отъѣзда будетъ и днемъ моей смерти, привела меня въ такое отчаяніе, что я сталъ вести себя какъ человѣкъ, которому нечего терять; кромѣ того, осторожность не была въ характерѣ любимой женщины. Дѣло дошло до того, что ея мужъ, который давно обо всемъ догадывался, далъ мнѣ понять, что сумѣетъ постоять за свою честь; съ своей стороны, я не желалъ ничего лучшаго. Единственное, что могло меня или спасти или окончательно погубить, была его месть. Около пяти мѣсяцевъ я прожилъ въ этомъ ужасномъ состояніи, но, наконецъ, дѣло разрѣшилось слѣдующимъ образомъ. Уже нѣсколько разъ въ разные часы дня она принимала меня въ своемъ домѣ, что было небезопасно для насъ обоихъ. Никто этого не видалъ, такъ какъ въ Лондонѣ дома очень маленькіе и двери всегда заперты. Большую часть времени прислуга проводитъ въ комнатахъ подвального этажа, такъ что можно легко открыть изнутри наружную дверь и впустить посѣтителя въ одну изъ комнатъ перваго этажа. Вотъ почему мои тайные визиты сходили такъ безнаказанно; тѣмъ болѣе, что мы выбирали часы, когда мужа не было дома, а слуги обѣдали. Успѣхъ подстрекнулъ насъ на болѣе опасное. Въ маѣ мужъ увезъ ее въ деревню, въ 16 миляхъ отъ Лондона, гдѣ она должна была пробыть самое большее восемь или десять дней, и мы условились о дняхъ и часѣ, когда она, какъ и въ Лондонѣ, введетъ меня въ свой домъ. Мы выбрали день, когда мужъ ея, въ качествѣ гвардейскаго офицера, долженъ былъ непременно присутствовать на смотрѣ войскъ и ночевать въ Лондонѣ.

Я отправился къ ней въ тотъ же вечеръ одинъ, верхомъ. Любовница подробно описала мнѣ мѣстность; я оставилъ лошадь въ харчевнѣ, находившейся въ милѣ отъ ея дома, и дальше пошелъ пѣшкомъ (была уже ночь) до калитки парка, гдѣ она ждала меня, чтобы незамѣтно провести въ домъ. Казалось, насъ никто не замѣтилъ. Но эти рѣдкія посѣщенія не могли удовлетворить нашей страсти; мы должны были найти болѣе вѣрный способъ дѣйствій. Мы приняли нѣкоторыя мѣры, чтобы сдѣлать наши свиданія болѣе частыми; ибо во время краткихъ разлукъ я съ отчаяніемъ начиналъ думать о той ужасной разлукѣ, которая грозила намъ въ скоромъ будущемъ. Возвращаясь утромъ въ Лондонъ, я сходилъ съ ума при мысли, что цѣлыхъ два дня не увижусь съ ней и съ нетерпѣніемъ считалъ часы и минуты. Такъ я жилъ постоянно внѣ себя, въ безуміи, чему врядъ ли повѣрятъ не испытавшіе этого, а пожалуй немногіе пережили подобное. Я только тогда немного успокаивался, когда находился въ состояніи безцѣльнаго передвиженія. Но достаточно мнѣ было попробовать отдохнуть, попытаться заснуть или поѣсть, какъ съ неистовыми криками я вскакивалъ и бѣсновался въ своей комнатѣ, если почему-нибудь не могъ выйти изъ дому. У меня было нѣсколько лошадей, между прочимъ, отличный конь, котораго я купилъ въ Спа; на немъ я продѣлывалъ самыя безумныя вещи, которымъ ужасались наиболѣе неустрашимые лондонскіе наѣздники; я бралъ самыя высокія и широкія изгороди, самыя глубокія рвы и всевозможныя преграды. Разъ утромъ, между двумя визитами въ дорогу для меня виллу, катаясь съ маркизомъ Карачіоли, я захотѣлъ показать ему, какіе прыжки умѣетъ дѣлать мой изумительный конь; намѣтивъ глазами очень высокій заборъ, отдѣлявшій большую дорогу отъ обширнаго поля, я помчался къ нему галопомъ. Но, наполовину потерявъ голову, я забылъ во время отпустить поводья и пришпорить лошадь; она зацѣпила ногой за барьеръ и со мной вмѣстѣ полетѣла на землю; лошадь поднялась, я

такъ же, въ полной увѣренности, что ничего не повредилъ себѣ. Страстная любовь, сжиравшая меня, учетверяла мою дерзость и можно было подумать, что я нарочно ищу случая сломать себѣ шею. Карачіюли, оставшійся на дорогѣ, по ту сторону забора, черезъ который я такъ неудачно перескочилъ, напрасно кричалъ мнѣ, чтобы я не дѣлалъ новой глупости и возвращался къ нему обычной полевой дорогой; не помня себя, я подбѣжалъ къ своей лошади, которая, казалось, собиралась ускакать въ поле, схватилъ ее за поводья, вскочилъ на сѣдло, подбѣжалъ къ забору и на этотъ разъ мой конь безъ колебанія перескочилъ черезъ препятствіе, возстановивъ, такимъ образомъ, и свою и мою честь. Однако, юношеское тщеславіе не долго наслаждалось триумфомъ; проѣхавъ нѣсколько шаговъ и остывъ душой и тѣломъ отъ своего безумнаго порыва, я ощутилъ страшную боль въ лѣвомъ плечѣ; оно было вывихнуто, а ключица сломана. Боль все усиливалась и немного миль, отдѣлявшихъ меня отъ дома, показались мнѣ безконечно длинными, такъ какъ пришлось проѣхать ихъ шагомъ. Пріѣхавшій хирургъ долго мучилъ меня и сказалъ, что плечо вправлено, перевязалъ его и велѣлъ лежать въ постели. Нужно знать, что такое любовь, чтобы представить себѣ мою ярость, когда я оказался въ постели, какъ разъ наканунѣ того счастливаго дня, когда было назначено вторичное посѣщеніе виллы. Это несчастье случилось со мной въ субботу утромъ; я рѣшилъ быть терпѣливымъ до вечера слѣдующаго дня и этотъ маленькій отдыхъ, придавъ силы моей рукѣ, еще увеличилъ мою смѣлость.

Въ шесть часовъ вечера я поднялся съ постели и, несмотря на увѣщанія Ильи, который былъ при мнѣ какъ бы наставникомъ, сѣлъ въ почтовую карету и отправился на свиданіе. Я не могъ ѣхать верхомъ вслѣдствіе боли въ рукѣ, а также изъ-за перевязокъ, которыя сильно стѣсняли меня; однако, я не могъ и не смѣлъ подбѣхать въ каретѣ къ самому дому; и я рѣшилъ выйти изъ нея, не доѣзжая двухъ миль, и прошелъ остальную часть пути

пѣшкомъ; одна рука у меня была на перевязи, другой, подъ плащемъ, я, разумѣется, держался за шпагу, какъ человѣкъ, идущій ночью одинъ, да еще въ чужой домъ, гдѣ его не считаютъ другомъ. Между тѣмъ, отъ тряски во время ѣзды боль возобновилась съ новой силой и перевязка такъ разстроилась, что съ тѣхъ поръ я такъ и не могу вполне свободно дѣйствовать плечомъ. Тѣмъ не менѣе, приближаясь къ завѣтной цѣли, я считалъ себя счастливейшимъ изъ смертныхъ. Наконецъ, я добрался до нея и мнѣ стоило большихъ трудовъ перелѣзть черезъ заборъ парка (у насъ не было сообщниковъ и некому было помочь; я не смогъ отворить калитки, которая въ прошлый разъ была не заперта). Мужъ уѣхалъ въ тотъ вечеръ ночевать въ Лондонъ, все для того же смотра завтра утромъ. Наконецъ, я дотащился до дома, гдѣ моя любовь ждала меня; ни она, ни я не подумали о томъ странномъ обстоятельстве, что калитка, которую она открыла нѣсколько часовъ тому назадъ, оказалась теперь запертой; и я пробылъ у нея до разсвѣта. Вышелъ я также, какъ и вошелъ, увѣренный, что ни одна душа не видала меня. Я благополучно добрался до своей кареты и къ семи часамъ утра былъ уже въ Лондонѣ, полный жгучаго сожалѣнія о томъ, что пришлось разстаться съ любовницей и досады на усилившуюся боль въ плечѣ. Душа моя была въ состояніи такого возбужденія и безумія, что я ничего не боялся, готовый, впрочемъ, на все. Я попросилъ хирурга перевязать мнѣ плечо, не позволяя ему, однако, дотронуться до больного мѣста. Во вторникъ вечеромъ я почувствовалъ себя лучше и, не желая оставаться дома, поѣхалъ въ итальянскую оперу, какъ всегда, въ ложу князя ди-Массерано, гдѣ засталъ его съ женой: они полагали, что я, изувѣченный, лежу въ постели и потому были не мало удивлены, увидѣвъ меня съ рукой на перевязи.

Съ совершенно спокойнымъ видомъ я слушалъ музыку, вызывавшую въ моей душѣ цѣлую бурю. Но лицо мое было точно изъ мрамора. Вдругъ мнѣ показалось, будто кто-то, споря съ другимъ, произноситъ мое имя у самой

двери ложи, которая была закрыта. Я бросился къ двери, открылъ ее, захлопнулъ за собой и очутился лицомъ къ лицу съ мужемъ моей любовницы. Онъ требовалъ, чтобы капельдинеръ (въ англійскихъ театрахъ капельдинеры находятся обычно въ коридорахъ) отперъ ему дверь ложи. Я уже давно ждалъ этого визита и, не будучи въ состояніи ничѣмъ вызвать его, страстно желалъ, чтобы это скоро произошло. Итакъ, вылетѣвъ молніей изъ ложи, я вскричалъ:— „Я здѣсь, кто меня ищетъ?“— „Я,—отвѣчалъ онъ,—мнѣ нужно поговорить съ вами“.— „Пойдемте,—сказалъ я ему,—къ вашимъ услугамъ“. Не прибавивъ ни слова, мы тотчасъ вышли изъ театра. Это происходило въ половинѣ двѣнадцатаго ночи, въ самые длинныя майскіе дни: спектакли въ Лондонѣ начинаются въ десять. Отъ театра на Гэй-Маркетъ мы направились въ Сентъ-Джемскій паркъ, откуда начинается обширный лугъ, называемый Гринъ-паркъ. Тутъ, въ отдаленномъ углу, мы, ни слова не говоря, обнажили шпаги. Тогда было въ обычаѣ носить шпагу, даже при фракѣ; итакъ, моя шпага была со мной, а онъ, вернувшись изъ деревни, успѣлъ зайти къ оружейному мастеру. Когда мы шли по улицѣ Пэлль-Мэлль, ведущей въ Сентъ-Джемскій паркъ, онъ два или три раза упрекнулъ меня за тайное посѣщеніе его дома и спрашивалъ, какъ я это дѣлалъ. Ярость, охватившая меня, не лишала меня присутствія духа; я сознавалъ въ глубинѣ души насколько справедливо и священно было чувство моего противника и могъ лишь отвѣтить:— „Это неправда, но если вы желаете этому вѣрить, то я готовъ дать вамъ удовлетвореніе“.— „Это правда“,—возразилъ онъ и рассказалъ съ мельчайшими подробностями о моемъ послѣднемъ посѣщеніи виллы. Я все время отвѣчалъ „неправда“, но отлично видѣлъ, что онъ освѣдомленъ обо всемъ. Кончилъ онъ слѣдующими словами:— „Почему вы такъ упорно отпираетесь, когда моя жена сама созналась во всемъ и все рассказала“. Эти слова меня очень удивили и я отвѣчалъ:— „Если она открылась вамъ, то я больше не буду ничего отрицать“. Впослѣд-

ствѣи мнѣ пришлось раскаяться въ своей откровенности; эти слова вырвались у меня потому, что казалось нелѣпымъ отрицать очевидное. Мнѣ было нестерпимо играть такую роль передъ человѣкомъ, котораго я оскорбилъ; и я попытался отрицать свой поступокъ лишь для того, чтобы спасти женщину, которую любилъ.

Этотъ разговоръ произошелъ между нами во время пути. Взявшись же за шпагу, оскорбленный мужъ замѣтилъ, что моя лѣвая рука на перевязи и имѣлъ великодушіе спросить меня, не помѣшаетъ ли мнѣ это драться. „Надѣюсь, что нѣтъ“,—отвѣчалъ я, поблагодаривъ его; мы приступили къ поединку. Я первый перешелъ въ атаку. Я всегда былъ очень плохимъ фехтовальщикомъ и напалъ на него не соблюдая никакихъ правилъ этого искусства, какъ человѣкъ, отчаявшійся во всемъ. Правду говоря, я искалъ лишь случая умереть. Не знаю, какъ это случилось, но я очень сильно стѣснилъ своего противника; сначала заходящее солнце мѣшало мнѣ, но черезъ семь-восемь минутъ онъ настолько отступилъ назадъ и въ сторону, что солнце оказалось за моей спиной. Мы долго бились такимъ образомъ; я наносилъ удары, онъ ихъ отражалъ, и думаю, что онъ не убилъ меня лишь потому, что не хотѣлъ этого, а я его—потому, что не сумѣлъ. Наконецъ, отражая одинъ изъ моихъ ударовъ, онъ ранилъ меня между локтемъ и кистью правой руки; рана была столь незначительна, что я и не замѣтилъ ея. Однако, опустивъ шпагу, онъ сказалъ мнѣ, что вполне удовлетворенъ и спросилъ, удовлетворенъ ли я? Я отвѣчалъ, что не я былъ оскорбленъ и потому предоставляю ему рѣшить вопросъ. Онъ вложилъ шпагу въ ножны, я также. Онъ удалился, а я остался на мѣстѣ, чтобы разсмотрѣть свою рану; платье на мнѣ было разорвано, но такъ какъ я чувствовалъ лишь легкую боль и крови было очень мало, то я рѣшилъ, что это простая царапина. Впрочемъ, я бы все равно не смогъ безъ посторонней помощи снять платье, такъ какъ не могъ дѣйствовать лѣвой рукой. Поэтому я удовольствовался тѣмъ, что съ помощью зубовъ крѣпко

завязалъ правую руку носовымъ платкомъ, чтобы остано-
вить кровотеченіе; затѣмъ вышелъ изъ парка по той же
улицѣ Пэлль-Мэлль. Когда я вновь подошелъ къ театру,
который покинулъ лишь три четверти часа тому назадъ,
я увидалъ, при свѣтѣ изъ оконъ лавокъ, что ни на ру-
кахъ, ни на одеждѣ у меня не было крови; мнѣ пришла
въ голову сумасшедшая и опасная мысль вернуться въ
театръ, въ ложу, откуда я былъ вызванъ на дуэль; и я
опять развязалъ зубами платокъ, которымъ перевязалъ
себѣ руку. Увидавъ меня, князь ди-Массерано спросилъ,
почему я такъ внезапно выбѣжалъ изъ ложи и гдѣ я былъ.
Изъ его вопроса я понялъ, что онъ не слышалъ нашего
короткаго разговора за дверью ложи; и я сказалъ, что
мнѣ нужно поговорить съ однимъ лицомъ, для свиданья
съ которымъ я и выходилъ изъ зрительнаго зала. Я не
прибавилъ болѣе ни слова, но, несмотря на всѣ усилія, не-
могъ сдержать внутренняго волненія, думая о возможномъ
исходѣ этого дѣла и о тѣхъ несчастіяхъ, которыя могутъ
обрушиться на голову моей возлюбленной. Поэтому черезъ
четверть часа я уѣхалъ, не зная что съ собой дѣлать.
Когда я вышелъ изъ театра, мнѣ пришло въ голову (рана
не мѣшала мнѣ ходить) отправиться къ одной изъ род-
ственницъ моей возлюбленной, которая помогала намъ и
у которой мы видѣлись нѣсколько разъ. Это была
счастливая мысль; первое, что я увидалъ, войдя въ домъ
этой дамы, была моя любовь. Я чуть не упалъ въ обмо-
рокъ при столь неожиданной встрѣчѣ, переживъ такія
удивительныя приключенія. Она объяснила мнѣ все до-
вольно правдоподобно, но не такъ, какъ это было въ дѣй-
ствительности; истину мнѣ суждено было узнать позже и
совсѣмъ другимъ путемъ. Она же сказала мнѣ, что послѣ
перваго нашего свиданія въ деревнѣ, мужъ ея достоверно
узналъ отъ посторонняго лица, что кто-то былъ введенъ
къ нему въ домъ, но никто не видалъ меня. Онъ узналъ
также, что верховая лошадь простояла цѣлую ночь такого-
то числа, въ такой-то харчевнѣ, и что хозяинъ ея при-
шелъ за ней въ такой-то часъ и щедро заплатилъ за нее,

не вымолвивъ ни слова. Поэтому, предвидя второй визитъ, онъ тайно подослалъ одного изъ своихъ людей, чтобы подстеречь незнакомца и вечеромъ, по его возвращеніи, точно рассказать ему обо всемъ. Затѣмъ въ воскресенье днемъ онъ уѣхалъ въ Лондонъ, а я, какъ уже рассказывалъ, въ то же время оставилъ городъ и направился въ деревню, куда прибылъ уже въ сумерки. Шпіонъ (можетъ быть, ихъ было нѣсколько) видѣлъ, какъ я прошелъ черезъ мѣстное кладбище, приблизился къ калиткѣ парка и, не будучи въ состояніи отворить ее, перелѣзъ черезъ ограду; затѣмъ, на разсвѣтѣ онъ видѣлъ, какъ я такимъ же образомъ вышелъ и прошелъ пѣшкомъ на большую дорогу, ведущую въ Лондонъ. Никто изъ нихъ не посмѣлъ показаться мнѣ на глаза и, тѣмъ болѣе, сказать мнѣ что-нибудь. Безъ сомнѣнія, замѣтивъ мой рѣшительный видъ и шпагу въ рукѣ и не будучи въ этомъ дѣлѣ лично заинтересованы (осмотрительные люди не любятъ становиться на пути влюбленныхъ), они предпочли пожелать мнѣ счастливаго пути и оставить въ покоѣ. Однако, если бы въ тотъ моментъ, когда я воровскимъ образомъ перелѣзалъ черезъ заборъ, два или три человѣка вздумали меня остановить, дѣло приняло бы для меня плохой оборотъ. Если бы я попытался бѣжать, меня сочли бы воромъ; если бы я напалъ на нихъ, защищаясь, то имѣлъ бы видъ убійцы; а въ глубинѣ души я рѣшилъ не даваться живымъ въ руки. Итакъ, нужно было начать со шпаги, а въ странѣ съ мудрыми законами подобныя поступки влекутъ за собой самыя строгія наказанія. Я и теперь еще содрогаюсь при воспоминаніи объ этомъ; но тогда я бы не колебался поступилъ такъ. Въ понедѣльникъ мужъ вернулся изъ Лондона въ той же почтовой каретѣ, которая прождала меня всю ночь въ двухъ миляхъ оттуда; кучеръ рассказалъ ему объ этомъ, какъ о рѣдкомъ случаѣ, и изъ его описанія моей наружности мужъ очень хорошо узналъ меня. Затѣмъ, вернувшись домой, онъ выслушалъ доносъ своихъ людей и, такимъ образомъ, получилъ совершенную увѣренность, что произошло несчастіе съ его семейной

жизнью. Но здѣсь, рассказывая о странныхъ послѣдствіяхъ англійской ревности, ревность итальянская не можетъ удержаться отъ улыбки, настолько различны бываютъ страсти у разныхъ людей, въ разныхъ климатахъ и особенно при разныхъ законахъ. Итальянскій читатель полагаетъ, что жена убита, отравлена или, по крайней мѣрѣ, брошена въ тюрьму. Ничего подобнаго. Англичанинъ, хотя и сильно, по своему, любившій жену, не сталъ тратить времени на угрозы и оскорбленія. Онъ тотчасъ устроилъ ей очную ставку съ тѣми, кто ее видѣлъ, и это убѣдило ее въ невозможности отрицать случившееся. Мужъ не скрылъ отъ нея, что съ того момента она ему болѣе не жена, что скоро законный разводъ освободитъ его отъ нея. Онъ прибавилъ, что, не удовлетворенный однимъ разводомъ, онъ хочетъ заставить меня горько поплатиться за оскорбленіе, нанесенное ему; что въ тотъ же день онъ вернется въ Лондонъ, гдѣ сумѣетъ найти меня. Тогда она, не теряя ни минуты, тайно послала мнѣ письмо съ вѣрнымъ человекомъ, чтобы предупредить обо всемъ происшедшемъ. Посланный, получивъ щедрую награду, прискакалъ въ Лондонъ черезъ два часа, измучившись самъ и загнавъ лошадь; черезъ часъ послѣ него пріѣхалъ и мужъ. Къ счастью, ни тотъ ни другой не застали меня дома, но мужъ, по предчувствію, угадалъ, что я въ итальянской оперѣ, гдѣ и нашелъ меня, какъ я уже рассказалъ. Въ этомъ случаѣ судьба въ двухъ отношеніяхъ была милостива ко мнѣ: во-первыхъ, у меня была вывихнута не правая, а лѣвая рука и, во-вторыхъ, я получилъ письмо возлюбленной уже послѣ встрѣчи съ соперникомъ. Если бы все это случилось при другихъ обстоятельствахъ, я не думаю, чтобы конецъ былъ такъ благополученъ. Между тѣмъ, не успѣлъ мужъ отправиться въ Лондонъ, какъ жена поѣхала туда же по другой дорогѣ и пріѣхала прямо къ невѣсткѣ, которая жила довольно близко отъ дома ея мужа. Здѣсь она узнала, что меньше часа назадъ онъ вернулся въ фіакрѣ и, выскочивъ изъ него и запершись въ своей комнатѣ, приказалъ никого къ себѣ не пускать

Отсюда она заключила, что мы уже встрѣтились и что я убить. Все это она рассказала отрывистыми, несвязными клочками, очень волнуясь, какъ волновался и я. Но пока все это объясненіе разрѣшалось для насъ неожиданнымъ счастьемъ. Неизбѣжный разводъ, грозившій ей, обязывалъ меня (и это было одно изъ самыхъ страстныхъ моихъ желаній) замѣнить ей мужа, котораго она теряла.

Я сходилъ съ ума при этой мысли и уже почти забылъ о своей царапинѣ. Но черезъ нѣсколько часовъ, когда мою руку освидѣтельствовали въ присутствіи возлюбленной, я увидѣлъ, что кожа была содрана во всю длину предплечья и въ складкахъ рубашки запеклось много крови. По окончаніи перевязки мнѣ пришло въ голову мальчишеское желаніе осмотрѣть шпагу; я увидѣлъ, что отражавъ мои удары, соперникъ такъ искрошилъ лезвіе моей шпаги, что она стала похожа на хорошую пилу. Я хранилъ ее много лѣтъ, какъ трофей. Разставшись, наконецъ, довольно поздно съ возлюбленной, я рѣшилъ передъ тѣмъ, какъ ѣхать домой, зайти къ маркизу Караччиоли, чтобы рассказать ему обо всемъ. По тѣмъ смутнымъ слухамъ, которые дошли до него, онъ рѣшилъ, что я убить и оставленъ въ паркѣ, который запирается обыкновенно вскорѣ послѣ полуночи. Итакъ, онъ встрѣтилъ меня какъ человѣка, вернушагося съ того свѣта, горячо обнялъ и проговорилъ со мной часа два; я вернулся къ себѣ уже на зарѣ. Никогда я не спалъ такимъ глубокимъ и сладкимъ сномъ, какъ въ эту ночь, переживъ въ одинъ день столько странныхъ приключеній.

Г л а в а X I.

СТРАШНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ.

Однако, вотъ какъ все это произошло въ дѣйствительности. Вѣрный Илья, увидавъ, какъ спѣшно прискакалъ посланный на взмыленномъ конѣ, какъ онъ требовалъ

возможно скорѣй доставить мнѣ письмо, сейчасъ же побѣжалъ за мной. Сначала онъ отправился къ князю ди-Массерано, оттуда—къ Карачіоли, который жилъ очень далеко: такимъ образомъ онъ потерялъ нѣсколько часовъ. Наконецъ, возвращаясь домой, на Суффолькъ-Стритъ, неподалеку отъ Хэй-Маркетъ, гдѣ находится итальянская опера, онъ рѣшилъ заглянуть и туда. Найти меня здѣсь онъ не надѣялся, помня о моей вывихнутой рукѣ. Войдя въ театръ, онъ справился обо мнѣ у капельдинеровъ, которые хорошо меня знали. Они отвѣтили ему, что я вышелъ десять минутъ тому назадъ съ господиномъ, который приходилъ за мной въ ложу. Моя страстная любовь не была тайной для Ильи (хотя онъ узналъ объ этомъ не отъ меня). Вспомнивъ, откуда пришло письмо, онъ сразу понялъ въ чемъ дѣло. Тогда бѣдный Илья, зная, какой я плохой боецъ и какъ мнѣ должна помѣшать больная лѣвая рука, рѣшилъ, что я убить. Онъ тотчасъ побѣжалъ въ Сэнтъ-Джемскій паркъ, но не наткнулся на насъ, такъ какъ выбралъ направленіе противоположное Гринъ-парку. Между тѣмъ, наступила полночь и онъ принужденъ былъ вмѣстѣ со всѣми покинуть паркъ. Не представляя себѣ, какъ бы точнѣе разузнать обо мнѣ, онъ сталъ бродить вокругъ дома ея мужа въ надеждѣ услышать что-нибудь. Быть можетъ, у него были болѣе рѣзвыя лошади, чѣмъ у мужа, или тотъ заѣзжалъ куда-нибудь по дорогѣ, но Илья подѣхалъ въ своемъ фіакрѣ къ двери его дома въ ту минуту, когда онъ входилъ въ нее. Илья ясно видѣлъ, что онъ былъ при шпагѣ, что онъ спѣшно вошелъ въ домъ, сейчасъ же приказавъ запереть дверь, и казался очень разстроеннымъ. Илья болѣе не сомнѣвался въ моей смерти и не смогъ сдѣлать ничего лучшаго, какъ побѣжать къ Карачіоли и рассказать ему все, что зналъ и чего боялся за меня. Нѣсколько часовъ покойнаго сна, послѣ такого тягостнаго дня, очень освѣжили меня; я снова велѣлъ съ осторожностью перевязать себѣ раны. Старая рана причиняла очень сильную боль, новая становилась все менѣе и менѣе чувствительной. Затѣмъ я

немедленно отправился къ возлюбленной, гдѣ провелъ цѣлый день. Мы знали черезъ прислугу все, что дѣлалъ ея мужъ, такъ какъ домъ его, какъ я уже сказалъ, былъ очень близко отъ дома ея невѣстки, гдѣ она пока жила. Но напрасно я утѣшалъ себя мыслью, что будущій разводъ приведетъ все дѣло къ концу; напрасно отецъ красавицы (съ которымъ я былъ знакомъ уже нѣсколько лѣтъ), пріѣхавъ навѣстить дочь, благодарилъ судьбу, что въ несчастіи дочь его нашла себѣ такого уважаемаго мужа (онъ именно такъ выразился); все время я замѣчалъ, что какъ бы темное облако омрачало чело моей возлюбленной и, казалось, предвѣщало зловѣщую развязку. Она не переставала плакать и увѣряла меня, что любить меня больше всего на свѣтѣ. Она была бы щедро вознаграждена за скандалъ и безчестіе, которые ожидали ее на родинѣ, если бы могла навсегда остаться со мной; но она вполне увѣрена, что я ни за что не захочу жениться на ней. Это странное и упорное утвержденіе приводило меня въ отчаяніе; и, убѣжденный, что она не ждала съ моей стороны ни обмана, ни вѣроломства, я рѣшительно не могъ понять причины ея недовѣрія ко мнѣ. Эти печальныя затрудненія омрачали всю радость, которую я испытывалъ отъ возможности свободно видѣть ее съ утра до вечера; кромѣ того, меня угнеталъ процессъ развода, который не можетъ не быть тягостнымъ для всякаго, кто не лишенъ чести и стыда. Такимъ образомъ прошло три дня, со среды до вечера пятницы. Въ этотъ вечеръ я сталъ, наконецъ, настаивать, чтобы возлюбленная объяснила мнѣ загадочность ея словъ, печали и недовѣрія; и, наконецъ, съ большимъ усиліемъ, послѣ мучительнаго предисловія, прерываемаго вздохами и горькими слезами, она сказала мнѣ, что прекрасно знаетъ, что недостойна мня, что я не могу, не долженъ и не захочу жениться на ней... потому что уже раньше... передъ тѣмъ, какъ полюбить меня... она любила...— „А! кого же?—горячо вскричалъ я, перебивая ее.— „Жокея, который былъ... у моего мужа“.— „Который былъ? Когда? О, Боже, я умираю! Но почему ты мнѣ говоришь

такую вещь? Жестокая! Лучше было бы убить меня...“ Тутъ она, въ свою очередь, перебила меня и понемногу все рассказала, признавшись въ своей грубой страсти; пока она рассказывала всѣ мучительныя и невѣроятныя подробности этого, я оставался ледянымъ, недвижимымъ и безчувственнымъ, какъ камень. Мой предшественникъ и достойный соперникъ находился еще въ домѣ ея мужа. Онъ первый прослѣдилъ похождения своей любовницы, открылъ мое первое посѣщеніе ея дома и то обстоятельство, что моя лошадь провела цѣлую ночь на сосѣднемъ постояломъ дворѣ; вмѣстѣ съ другими слугами дома онъ замѣтилъ и узналъ меня при моемъ вторичномъ посѣщеніи, въ воскресенье вечеромъ. Наконецъ, узнавши о моей дуэли съ мужемъ и замѣтивъ его глубокое огорченіе по поводу того, что приходилось разводиться съ женщиной, которую онъ такъ горячо любилъ, жокей рѣшилъ все открыть хозяину. Имъ руководило чувство мести и желаніе наказать свою непостоянную любовницу и соперника, предпочтеннаго ему. Этотъ конюхъ-герой нагло сознался во всемъ и подробно рассказалъ исторію своей трехлѣтней связи съ хозяйкой; затѣмъ онъ горячо убѣждалъ хозяина не оплакивать потерю такой женщины: это скорѣй являлось избавленіемъ свыше. Я позже узналъ эти отвратительныя, безжалостныя подробности; она рассказала мнѣ лишь по возможности о самомъ фактѣ, да еще въ смягченномъ видѣ.

Нѣтъ словъ, чтобъ описать мое страданіе, мою ярость, невѣроятныя, гибельныя и напрасныя рѣшенія, которыя я принималъ и отвергалъ въ тотъ вечеръ, мои стоны, вопли и ругательства и, несмотря на весь этотъ гнѣвъ и отчаяніе, мою необузданную и непоколебимую любовь къ столь недостойному существу. Съ тѣхъ поръ прошло двадцать лѣтъ, но и теперь еще, при воспоминаніи, кровь закипаетъ во мнѣ. Въ этотъ вечеръ я оставилъ ее, сказавъ, что ея увѣренность въ томъ, что я ни за что не женюсь на ней, показываетъ, какъ она хорошо успѣла изучить меня; и что, узнавъ о такомъ безчестіи

послѣ женитьбы, я бы непременно убилъ ее, а затѣмъ и себя, если бы, впрочемъ, могъ любить ее тогда также, какъ теперь. Я прибавилъ, что презираю ее меньше, чѣмъ слѣдуетъ, за то, что она имѣла честность и мужество добровольно признаться мнѣ во всемъ и что во мнѣ она будетъ имѣть вѣрнаго друга, который никогда не покинетъ ее; я готовъ слѣдовать за ней и жить съ ней въ какомъ-нибудь неизвѣстномъ уголкѣ Европы или Америки, гдѣ она пожелаетъ, но никогда она не станетъ моей женой и не будетъ ею считаться.

Такимъ образомъ, я покинулъ ее въ пятницу вечеромъ. Сердце мое терзала тоска. Въ субботу я всталъ на разсвѣтѣ и, увидавъ на своемъ столикѣ огромный газетный листъ, случайно заглянулъ въ него; первое, что мнѣ бросилось въ глаза, было мое имя. Разворачиваю его и читаю довольно длинную статью, въ которой во всѣхъ подробностяхъ и очень точно рассказана моя исторія. Кромѣ того, были описаны печальныя и смѣшныя обстоятельства моего соперничества съ конюхомъ; указывалось его имя, возрастъ, наружность и вся исторія его признанія хозяйну. Я чуть не упалъ замертво, читая подобныя вещи, и только придя въ себя, я понялъ, что вѣроломная женщина добровольно призналась мнѣ уже послѣ того, какъ въ газетахъ было рассказано обо всемъ въ пятницу утромъ. Тогда, потерявъ всякое самообладаніе, я побѣжалъ къ ней и сталъ осыпать ее самыми яростными, горькими и презрительными укорами, перемѣшанными со словами любви, страданія и съ отчаянными рѣшеніями; я поклялся ей, что она никогда меня не увидитъ, но черезъ нѣсколько часовъ снова былъ у нея. Я оставался съ ней цѣлый день, а затѣмъ приходилъ ежедневно. Наконецъ, она рѣшила покинуть Англію, гдѣ стала притчей во языцѣхъ, и отправилась на нѣкоторое время во Францію, въ монастырь; я сопровождалъ ее и мы долго странствовали по разнымъ графствамъ Англій, чтобы какъ можно дольше не разставаться,—хотя я и презиралъ себя за это. Но въ минуту, когда чувство мести и стыдъ взяли верхъ надъ

любовью, я оставилъ ее въ Рочестерѣ, откуда она поѣхала черезъ Дувръ во Францію со своей невѣсткой. Я же возвратился въ Лондонъ.

Вернувшись, я узналъ, что мужъ въ бракоразводномъ процессѣ ссылался на меня и этимъ оказалъ мнѣ предпочтеніе передъ нашимъ третьимъ триумвиромъ, своимъ собственнымъ конюхомъ, котораго онъ даже оставилъ у себя на службѣ: вотъ какимъ великодушіемъ и евангельскимъ терпѣніемъ отличается ревность англичанина. Что касается меня, я очень одобрялъ поведеніе оскорбленнаго мужа. Онъ не захотѣлъ убить меня, когда могъ бы, по всей вѣроятности, это сдѣлать; не захотѣлъ также взять съ меня выкупа, на что имѣлъ право по законамъ страны, гдѣ каждая обида расцѣнивается по особому тарифу и гдѣ за наставленіе роговъ приходится платить очень дорого. Если бы вмѣсто шпаги мнѣ пришлось вынуть кошелькъ—я былъ бы разоренъ или, по крайней мѣрѣ, мои дѣла совсѣмъ пошатнулись бы; на самомъ дѣлѣ, потеря его была громадна, если принять во вниманіе его глубокую любовь къ женѣ и обиду нанесенную ему конюхомъ, который по отсутствію средствъ не могъ возмѣстить ее; и потому, соразмѣря вознагражденіе съ ущербомъ, мнѣ пришлось бы заплатить по меньшей мѣрѣ десять или двѣнадцать тысячъ цехиновъ. Итакъ, добрый и честный молодой человѣкъ велъ себя въ этомъ дѣлѣ гораздо лучше, чѣмъ я того заслужилъ. Процессъ продолжался съ упоминаніемъ моего имени: дѣло было совершенно ясно благодаря многочисленнымъ свидѣтелямъ и признаніямъ разныхъ лицъ. Моего участія совсѣмъ не потребовалось. Я могъ покинуть Англію когда угодно и узналъ лишь позже, что мужъ получилъ полный разводъ. Быть можетъ, я напрасно рассказалъ въ такихъ подробностяхъ этотъ ужасный эпизодъ изъ моей жизни, который имѣетъ значеніе только для меня; но я нарочно настаиваю на немъ, такъ какъ онъ очень нашумѣлъ въ свое время и представляетъ собой одинъ изъ главныхъ случаевъ, когда я могъ изучить себя на дѣлѣ. Откровенно рассказавъ обо

всѣхъ подробностяхъ этого приключенія, мнѣ кажется, я доставляю случай всесторонне узнать меня тѣмъ, кто бы этого захотѣлъ.

Г л а в а XII.

СНОВА ПУТЕШЕСТВІЯ ВЪ ГОЛЛАНДІЮ, ФРАНЦІЮ, ИСПАНІЮ, ПОРТУГАЛІЮ; ВОЗВРАЩЕНІЕ НА РОДИНУ.

6 мая.

Переживъ такое жестокое потрясеніе, я не могъ успокоиться, пока передъ глазами моими были тѣ же мѣста и предметы, среди которыхъ все происходило; такимъ образомъ, я поддался увѣщаніямъ немногихъ друзей, сочувствовавшихъ горестному моему положенію, и уѣхалъ.

Я покинулъ Англію въ концѣ іюня; съ измученной душой, нуждающейся въ поддержкѣ, я рѣшилъ сначала направить свой путь къ моему другу д'Акуна, въ Голландію. Въ Гаагѣ я пробылъ съ нимъ нѣсколько недѣль, не видясь больше ни съ кѣмъ; онъ утѣшалъ меня, насколько могъ, но рана была слишкомъ глубока. Такъ какъ моя меланхолія вмѣсто того, чтобы разсѣиваться, съ каждымъ днемъ росла, я рѣшилъ, что мнѣ будутъ полезны движеніе и развлеченіе, связанныя съ путешествіемъ. И я отправился въ Испанію. Это была чуть ли не единственная страна въ Европѣ, которой я не зналъ и я уже давно подумывалъ о томъ, чтобы съѣздить туда. Я пустился въ путь по направленію къ Брюсселю, по странѣ, которая лишь бередила мои сердечныя раны, особенно когда я начиналъ сравнивать мою первую любовь въ Голландіи съ этой страстью въ Англіи; продолжая мечтать, безумствовать, плакать и молчать, я пріѣхалъ, наконецъ, въ Парижъ. Этотъ огромный городъ понравился мнѣ теперь не больше, чѣмъ въ первый разъ, и ничѣмъ не могъ развлечь меня. Я провелъ здѣсь около мѣсяца,

переживая сильныя жары. Во время этого моего пребывания въ Парижѣ я могъ бы легко видѣть и даже по-сѣщать знаменитаго Руссо, благодаря одному знакомому итальянцу, который былъ съ нимъ въ близкихъ отношеніяхъ и говорилъ, что Руссо его очень любитъ. Этотъ итальянецъ хотѣлъ во что бы то ни стало свести меня къ философу, увѣряя, что Руссо и я созданы для того, чтобы нравиться другъ другу. Я чувствовалъ къ Руссо глубокое уваженіе, что больше относилось къ его гордому характеру и независимому поведенію, чѣмъ къ его произведеніямъ; то небольшое изъ нихъ, что я читалъ, мнѣ не понравилось и показалось натянутымъ и неестественнымъ. Въ концѣ концовъ, не будучи любопытнымъ отъ природы и обладая—съ гораздо меньшимъ правомъ чѣмъ Руссо—такой же непоколебимою гордостью, какъ и онъ, я не пошелъ навстрѣчу этому знакомству, успѣхъ котораго былъ очень сомнителенъ, и не позволилъ представить себя надменному и своенравному человеку, за малѣйшую неучтивость котораго я отплатилъ бы вдесятеро; ужъ таковы прирожденные свойства моего пылкаго характера: я всегда воздавалъ съ лихвою и за добро и за зло. На этомъ дѣло и остановилось. Но вмѣсто Руссо я завязалъ гораздо болѣе важное для меня знакомство съ шестью или семью людьми, лучшими изъ итальянцевъ, да и вообще изъ людей. Я купилъ въ Парижѣ собраніе классическихъ итальянскихъ поэтовъ и прозаиковъ, въ тридцати шести томахъ маленькаго формата, изящно напечатанныхъ; послѣ двухъ лѣтъ втораго путешествія у меня не осталось изъ нихъ ни одного. Съ тѣхъ поръ эти славные учителя не покидали меня, но, по правдѣ сказать, въ первые два-три года я не много ими пользовался. Несомнѣнно, что тогда я купилъ эту коллекцію болѣе для того, чтобы имѣть ее, чѣмъ для чтенія, потому что у меня не было ни желанія, ни силъ напрягать свой умъ. Что касается итальянскаго языка, то онъ настолько испарился изъ моей памяти и сознанія, что я съ большимъ трудомъ понималъ произведенія хоть немного

возвышеннѣе Метастазіо. Перелистывая отъ нечего дѣлать тридцать шесть томиковъ, я былъ очень удивленъ, видя рядомъ съ четырьмя нашими великими поэтами цѣлое племя риемоплетовъ, которые были помѣщены здѣсь для полноты обзора, и именъ, которыхъ, по своему невѣжеству, я никогда не слышалъ: Торраккіоне, Морганте, Ричіардетто, Роландино, Мальмантите, и рядъ поэмъ, о вульгарной ловкости и скучномъ многословіи которыхъ я пожалѣлъ лишь нѣсколько лѣтъ спустя. Но эта покупка оказалась для меня крайне благодѣтельной, ибо теперь въ моемъ домѣ навсегда водворились шесть свѣтилъ нашего языка: Данте, Петрарка, Аріосто, Тассо, Бокаччіо и Макиавелли. Увы! Къ моему несчастью и стыду, я дожилъ до двадцати двухъ лѣтъ незнакомый съ ними, если не говорить о нѣкоторыхъ отрывкахъ Аріосто, которые я читалъ въ ранней юности въ академіи, о чемъ, кажется, я уже упоминалъ. Вооруженный столь сильнымъ щитомъ противъ скуки и праздности, что, впрочемъ, не мѣшало мнѣ оставаться празднымъ, надобѣдать другимъ и скучать самому,—я отправился въ Испанію въ половинѣ августа. Я даже не взглянулъ на Орлеанъ, Туръ, Пуатье, Бордо и Тулузу,—наиболѣе веселую и прекрасную часть Франціи, и вѣхалъ въ Испанію по Перпиньянской дорогѣ. Барселона была первымъ городомъ послѣ Парижа, гдѣ я не надолго остановился. Въ продолженіе этого длиннаго пути, проведеннаго большею частью въ слезахъ и одиночествѣ, изрѣдка я открывалъ тотъ или другой томъ моего дорогого Монтэня, котораго не читалъ уже цѣлый годъ. Это чтеніе, то начинаемое, то бросаемое, давало мнѣ нѣкоторую бодрость духа и даже немного утѣшало меня.

Мои англійскія лошади остались въ Англійи и я продалъ ихъ всѣхъ, кромѣ лучшей, которую оставилъ подъ надзоромъ у маркиза Караччіоли; но такъ какъ безъ лошадей я былъ лишь половиной самого себя, то, не успѣвъ пріѣхать въ Барселону, купилъ двухъ,—одну андалузскую, золотисто-гнѣдую, чудное животное изъ породы *certosini de Xerez*, и *Nacha* изъ Кордовы, меньше рос-

томъ, но прелестную и полную огня. Я съ дѣтства мечталъ объ испанскихъ лошадяхъ; но ихъ такъ трудно выписать! Поэтому я просто не вѣрилъ, что у меня ихъ двѣ, и такія прекрасныя. Даже Монтэнъ мало утѣшалъ меня. Я рѣшилъ продолжать путешествіе по Испаніи верхомъ, карета должна была ѣхать короткими переѣздами и очень медленно. Въ этой полуафриканской странѣ нѣтъ почтоваго движенія въ каретахъ и не могло бы быть въ виду плачевнаго состоянія дорогъ. Задержанный въ Барселонѣ легкимъ нездоровьемъ до начала ноября, я рѣшилъ съ помощью грамматики и испанскаго словаря почитать немного на этомъ дивномъ языкѣ, который намъ, итальянцамъ, такъ легко дается. Дѣйствительно, мнѣ удалось разобрать Донъ Кихота, котораго я понималъ довольно хорошо, а любилъ еще больше, но много помогло мнѣ въ этомъ и то, что я читалъ его раньше по-французски.

Направившись въ Сарагосу и Мадридъ, я понемногу сталъ привыкать къ новой манерѣ путешествовать по этимъ пустынямъ, съ которой вполне можно примириться лишь при большой молодости, здоровьѣ, деньгахъ и терпѣнни. Въ двѣ недѣли я очень недурно доѣхалъ до Мадрида и скоро сталъ находить болѣе удовольствій въ такомъ непрерывномъ пути, чѣмъ въ остановкахъ по полуварварскимъ городамъ: впрочемъ, вамъ уже извѣстно, что при безпокойной подвижности моего характера для меня не было большаго удовольствія, чѣмъ ѣзда, и большей скуки, чѣмъ остановки. Большею частью я совершалъ пѣшкомъ лучшую часть пути рядомъ съ моимъ прекраснымъ андалузцемъ, который слѣдовалъ за мной съ вѣрностью собаки и разговоръ между нами не прекращался; мнѣ было очень радостно чувствовать себя съ ней вдвоемъ въ обширныхъ пустыняхъ Аррагоніи. Я всегда посылалъ впередъ своихъ людей съ каретой и мулами, а самъ слѣдовалъ за ними на далекомъ разстояніи. Илья же ѣхалъ на маленькомъ мулѣ, съ ружьемъ въ рукахъ и стрѣлялъ по дорогѣ кроликовъ, зайцевъ и птицъ—настоя-

щихъ обитателей Испаніи; онъ пріѣзжалъ за часъ или за два до меня и, благодаря его распорядительности, мнѣ всегда было чѣмъ утолить голодъ, какъ въ полдневной, такъ и вечерней остановкѣ.

Къ несчастью для меня (быть можетъ, къ счастью для другихъ), въ то время я еще не умѣлъ выражать въ стихахъ своихъ мыслей и чувствъ. Въ такомъ одиночествѣ и при постоянномъ движеніи я бы, вѣроятно, излился въ потокѣ риемъ; ибо тысячи моральныхъ и меланхолическихъ размышленій, тысячи печальныхъ, радостныхъ или безумныхъ образовъ иногда одновременно занимали мой умъ. Но тогда я не владѣлъ еще языкомъ, на которомъ могъ бы выразаться, и мнѣ не приходило въ голову, что я когда-либо смогу написать что-нибудь стихами или прозой. Итакъ, я довольствовался своими мечтаніями, иногда плакалъ горькими слезами или смѣялся самъ не зная отчего: явленія, которыя обыкновенно рассматриваются какъ безуміе, если въ результатѣ этого не является поэтическое произведение; но лишь только родится оно, сейчасъ же о безуміи говорятъ: „это поэзія“. И не ошибаются. Такъ я въ первый разъ путешествовалъ до Мадрида. Я настолько пристрастился къ цыганской жизни, что въ Мадридѣ сначала очень скучалъ и мнѣ стоило большихъ усилій просидѣть тутъ цѣлый мѣсяцъ. Я ни съ кѣмъ не завелъ знакомства и никого не зналъ здѣсь, кромѣ одного молодого часовыхъ дѣлъ мастера, только что вернувшагося изъ Голландіи, куда онъ ѣздилъ изучать свое ремесло. Этотъ юноша былъ очень уменъ отъ природы и, уже немного повидавъ свѣтъ, вмѣстѣ со мной горько сѣтовалъ на печальное, варварское состояніе родины. Здѣсь я вкратцѣ расскажу объ одномъ грубомъ и безумномъ поступкѣ по отношенію къ Ильѣ, который я совершилъ въ присутствіи этого молодого испанца. Однажды вечеромъ, когда мы поужинали съ часовщикомъ и сидѣли еще за столомъ, вошелъ Илья, чтобы причесать меня, послѣ чего мы обыкновенно всѣ ложились спать. Навивая на щипцы

прядь волосъ, онъ дернулъ одинъ волосъ сильнѣе другихъ. Ни слова ему не говоря, я вскочилъ быстрѣе молніи и, схвативъ подсвѣчникъ, изо всѣхъ силъ ударилъ его въ правый високъ; кровь брызнула цѣлымъ фонтаномъ прямо на молодого человѣка, сидѣвшаго противъ меня, по другую сторону довольно широкаго стола. Молодой человѣкъ, конечно, не могъ догадаться, что нечаянно выдернутый волосъ былъ единственной причиной моей внезапной ярости, рѣшивъ, что я сошелъ съ ума, онъ кинулся ко мнѣ. Но разъяренный, оскорбленный и серьезно раненый Илья бросился уже на меня съ кулаками. Ловко ускользнувъ отъ него, я успѣлъ выхватить изъ ноженъ шпагу, которая лежала тутъ же на стулѣ. Илья напиралъ на меня, я грозилъ ему остриемъ шпаги. Испанецъ удерживалъ насъ обоихъ; вся гостиница поднялась на ноги, прибѣжали слуги и такимъ образомъ было прекращено траги-комическое столкновеніе, весь позоръ котораго ложился на меня. Немного успокоившись, мы объяснились. Я сказалъ, что чувствуя, какъ меня дергаютъ за волосы, не могъ сдержаться. Илья отвѣтилъ, что онъ даже не замѣтилъ этого, а испанецъ заявилъ, что если я не былъ вполне сумасшедшимъ, то не былъ и въ достаточной мѣрѣ разумнымъ. Такъ кончилось это дикое столкновеніе, вызвавъ во мнѣ стыдъ и угрызенія совѣсти, и я сказалъ Ильѣ, что онъ правильно поступилъ бы, если-бъ убилъ меня. Ему не трудно было это сдѣлать. Я очень высокаго роста, а онъ гораздо выше меня; его сила и храбрость вполне соответствовали его росту. Рана на его вискѣ была неглубока, но кровь продолжала сильно сочиться изъ нея, и если бы я ударилъ его немного выше, то изъ-за выдернутаго волоска убилъ бы человѣка, котораго очень любилъ. Этотъ звѣрскій припадокъ гнѣва привелъ меня въ ужасъ и, хотя Илья казался болѣе или менѣе успокоеннымъ, но еще не былъ расположенъ простить мнѣ. Я не хотѣлъ выказать ему недоувѣрія; черезъ два часа послѣ того, какъ рана была перевязана и все въ комнатѣ приведено въ порядокъ, я легъ въ постель

и оставилъ, какъ всегда, незапертой маленькую дверь, соединявшую мою спальню съ комнатою Ильи; я не послушался испанца, который совѣтовалъ мнѣ не искушать такимъ образомъ человѣка оскорбленнаго и въ глубинѣ души еще разгнѣваннаго. Я же нарочно громко сказалъ Ильѣ, который уже легъ, что если ему вздумается, пусть онъ придетъ и убьетъ меня ночью, какъ я того заслуживаю. Но Илья, бывшій по меньшей мѣрѣ такимъ же великодушнымъ, какъ его хозяинъ, ограничился въ своемъ ищеніи тѣмъ, что надолго сохранилъ два платка, пропитанныхъ кровью изъ его раны, и изрѣдка показывалъ ихъ мнѣ. Трудно понять такое смѣшеніе свирѣпости и великодушія съ его и съ моей стороны тому, кто не знакомъ съ нравами и темпераментомъ пьемонтцевъ. Когда впоследствии я старался дать себѣ отчетъ въ этой ужасной вспыльчивости, я легко убѣдился въ томъ, что при горячности моего характера и постоянномъ суровомъ одиночествѣ достаточно было одного неосторожнаго прикосновенія къ волосу на причeskѣ, чтобы переполнить чашу. Впрочемъ, если я и билъ своихъ слугъ, то не больше, чѣмъ другой на моемъ мѣстѣ; при этомъ я дѣйствовалъ не палкой или инымъ оружіемъ, а кулаками, стуломъ, вообще первымъ попавшимся предметомъ, какъ бываетъ въ молодости, когда вступаешь въ борьбу, вынужденный подстрекательствомъ другихъ юношей. Но въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда это со мной приключалось, я даже одобрялъ тѣхъ слугъ, которые давали мнѣ сдачи, потому что въ подобныхъ столкновенияхъ не хозяинъ билъ своего слугу, а ссорились двое равныхъ между собой человѣка. Продолжая, такимъ образомъ, жить какъ бы въ медвѣжьей берлогѣ, я и не замѣтилъ, какъ наступилъ конецъ моего короткаго пребыванія въ Мадридѣ; между тѣмъ, я не видалъ ни одного изъ тѣхъ рѣдкихъ сокровищъ, которыя могли бы возбудить мое любопытство: ни знаменитаго дворца Эскуриала, ни Аранжуэца, ни даже королевскаго дворца въ Мадридѣ, не говоря уже о его владѣльцѣ. Главной причиною такой дикости моей было то, что я находился въ дурныхъ отно-

шеніяхъ съ нашимъ сардинскимъ посланникомъ. Я зналъ его по Лондону, гдѣ онъ былъ тогда посломъ, во время моего перваго пребыванія тамъ въ 1768 г., и мы не чувствовали другъ къ другу симпатіи. Приѣхавъ въ Мадридъ и узнавъ, что онъ находится вмѣстѣ со дворомъ въ одной изъ королевскихъ резиденцій, я воспользовался его отсутствиемъ, чтобы оставить свою визитную карточку и вмѣстѣ съ ней рекомендательное письмо изъ государственнаго секретариата, которое я по обыкновенію привезъ съ собою. Вернувшись въ Мадридъ, онъ заѣхалъ ко мнѣ, но не засталъ дома, послѣ чего мы не встрѣчались болѣе. Все это дѣлало мой неприятный и раздражительный нравъ еще болѣе рѣзкимъ. Я покинулъ Мадридъ въ первыхъ числахъ декабря и черезъ Толедо и Бадаіозъ, не торопясь, направился въ Лиссабонъ, куда, послѣ двадцатидневнаго пути, приѣхалъ наканунѣ Рождества.

Этотъ городъ представляется путешественнику, подъѣзжающему, какъ я, со стороны Тахо, великолѣпнымъ амфитеатромъ, почти не уступающимъ генуэзскому, но обширнѣе и разнообразнѣе его; это зрѣлище наполнило мою душу восторгомъ, особенно съ извѣстнаго разстоянія. Но удивленіе, восхищеніе стали уменьшаться по мѣрѣ того, какъ мы приближались къ берегу, и окончательно уступили мѣсто печали, когда пришлось высадиться на набережной среди улицъ, представлявшихъ изъ себя груды камней,—развалинъ, оставшихся послѣ землетрясенія на мѣстѣ прежнихъ жилищъ. Подобныхъ улицъ было еще очень много въ нижней части города, хотя прошло уже 15 лѣтъ послѣ этой прискорбной катастрофы.

7 мая 1772.

Воспоминаніе о моемъ пребываніи въ Лиссабонѣ, гдѣ я прожилъ лишь пять недѣль, вѣчно мнѣ будетъ дорого, потому что тамъ я познакомился съ аббатомъ Томмазо ди-Калузо, младшимъ братомъ графа Вальперга ди-Мазино, бывшаго тогда пьемонтскимъ посланникомъ въ Португаліи. Этотъ человѣкъ, рѣдко пріятнаго

характера, утонченный въ обращеніи и очень образованный, сдѣлалъ мое пребываніе въ Лиссабонѣ необыкновенно отраднымъ. Не удовлетворенный тѣмъ, что почти ежедневно обѣдалъ съ нимъ у его брата, я предпочиталъ проводить длинные зимніе вечера въ разговорахъ съ нимъ, чѣмъ гнаться за нелѣпыми свѣтскими развлеченіями. Я всегда выносилъ что-нибудь изъ общенія съ нимъ: его доброта и снисходительность были безграничны; онъ обладалъ способностью облегчать мнѣ тяжесть и стыдъ моего полного невѣжества, которое ему должно было казаться особенно несноснымъ и отвратительнымъ, ибо его знанія были громадны. Ничего подобнаго я не испытывалъ при знакомствѣ съ другими учеными, которыхъ встрѣчалъ до сихъ поръ: побороть ихъ тщеславіе всегда было мнѣ противно. Да и могло ли быть иначе? Единственное, что равнялось моему невѣжеству, была моя гордость. Однажды, въ одинъ изъ этихъ прелестныхъ вечеровъ, я почувствовалъ въ глубинѣ души чисто лирической порывъ къ поэзіи, полный восхищенія и энтузіазма; но это была лишь минутная вспышка, тотчасъ погасшая подъ пепломъ, гдѣ дремала еще много лѣтъ. Достойный и любезнѣйшій аббатъ читалъ мнѣ оду къ судьбѣ—величественное произведеніе Гвиди, имя котораго я слышалъ впервые. Многія строфы въ этой одѣ, особенно восхитительная строфа о Помпее, вызывали во мнѣ невыразимый восторгъ настолько, что добрый аббатъ пришелъ къ убѣжденію, что я рожденъ для поэзіи и сказалъ мнѣ, что если бы я сталъ работать, я могъ бы писать отличные стихи. Но минута поэтического восторга прошла и видя, какой ржавчиной еще покрыты мои духовныя способности, я рѣшилъ, что это дѣло невозможное и пересталъ о немъ думать. Однако, дружба и пріятное общество этого единственнаго въ своемъ родѣ человѣка, живого образа Монтэня, не мало содѣйствовали упорядоченію моего нрава. Я еще не чувствовалъ себя вполне излеченнымъ, но у меня понемногу снова появилась привычка читать и размышлять въ гораздо большей степени, чѣмъ за послѣдніе восемнадцать мѣсяцевъ.

Въ Лиссабонѣ я бы не остался и десяти дней, не будь здѣсь аббата; мнѣ ничего не понравилось тутъ кромѣ женщинъ; все въ нихъ напоминаетъ о *lubricus adspici* Горация. Но такъ какъ душевное здоровье мнѣ снова стало въ тысячу разу дороже тѣлеснаго, я старался избѣгать честныхъ женщинъ.

Въ первыхъ числахъ февраля я выѣхалъ въ Севилью и Кадиксъ, увозя съ собой изъ Лиссабона лишь глубокое уваженіе и нѣжную дружбу къ аббату де-Калузо, съ которымъ надѣялся когда-нибудь встрѣтиться въ Туринѣ. Чудный климатъ Севильи очаровалъ меня также, какъ и оригинальный, чисто-испанскій видъ этого города. Я всегда предпочиталъ плохой оригиналъ хорошей копіи. Испанская и португальская націи являются почти единственными въ Европѣ, которыя до сихъ поръ сохраняютъ свои обычаи, особенно въ низшемъ и среднемъ классахъ. И хотя хорошее какъ бы растворено въ океанѣ различныхъ злоупотребленій, тяготящихся надъ обществомъ, тѣмъ не менѣе, эти народы, на мой взглядъ, являются прекраснымъ сырымъ матеріаломъ, изъ котораго можно выработать великія качества, особенно въ смыслѣ военныхъ добродѣтелей; они въ высшей степени обладаютъ нужными для этого элементами—храбростью, настойчивостью, честностью, воздержанностью, терпѣніемъ, послушаніемъ и возвышенностью души.

Я довольно весело закончилъ карнавалъ въ Кадиксѣ. Но черезъ нѣсколько дней послѣ отъѣзда, по дорогѣ въ Кордову, я почувствовалъ, что выношу изъ Кадикса нѣкоторыя воспоминанія, отъ которыхъ мнѣ не легко будетъ отдѣлаться. Эти не очень славныя раны сдѣлали еще болѣе печальнымъ длиннѣйшее путешествіе отъ Кадикса до Турина. Я хотѣлъ совершить его однимъ духомъ, проѣхавъ черезъ всю Испанію до того мѣста, откуда я вѣзжалъ. Благодаря мужеству, настойчивости и постоянству, то верхомъ, то пѣшкомъ, по грязи, со всякими неудобствами добрался я, наконецъ, до Перпиньяна, но въ очень плохомъ состояніи. Тутъ я снова нашелъ почтовое сообщеніе и

продолжалъ путь гораздо пріятнѣе. На всемъ этомъ обширномъ пространствѣ лишь два мѣста понравились мнѣ нѣсколько—Кордова и Валенсія, особенно провинція Валенсія, по которой я проѣзжалъ въ концѣ марта, въ теплую и чудную весну, какую такъ любятъ описывать поэты. Окрестности, прогулки, прозрачныя воды и мѣстоположеніе города Валенсія, ея дивное лазурное небо, какая-то влюбленная истома, разлитая въ атмосферѣ, женщины со сладострастными взглядами, заставлявшія меня проклинать красавицъ Кадикса,—таковы были особенности этой сказочной страны, которая больше всѣхъ другихъ оставила во мнѣ желаніе вернуться въ нее и чаще всѣхъ представляется моему воображенію.

Изъ Барселоны я вернулся черезъ Тортозу и, чрезвычайно утомленный такимъ медленнымъ путешествіемъ, принялъ героическое рѣшеніе разстаться съ моимъ прекраснымъ андалузцемъ. Это послѣднее путешествіе, продолжавшееся тридцать дней сряду, отъ Кадикса до Барселоны, ужасно утомило его; я не хотѣлъ изнурять его еще больше, заставляя довольно быстро бѣжать за почтовой каретой по дорогѣ въ Перпиньянъ. Что касается другой лошади, кордовской, то она захромала между Кордовой и Валенсіей, и вмѣсто того, чтобы остановиться на двое сутокъ, что могло бы спасти ее, я подарилъ ее очень красивымъ дочерямъ одной хозяйки гостиницы, сказавъ имъ, что если онѣ позаботятся о ней и дадутъ отдохнуть, то смогутъ продать за хорошія деньги; съ тѣхъ поръ я ничего о ней не слыхалъ. Итакъ, у меня осталась всего одна лошадь; не желая продавать ее, что было совершенно не въ моемъ характерѣ, я подарилъ ее одному французскому банкиру, жившему въ Барселонѣ, съ которымъ познакомился во время своего перваго пребыванія въ этомъ городѣ. Если вы хотите знать, что представляетъ изъ себя сердце ростовщика, то вотъ вамъ примѣръ. У меня оставалось приблизительно триста пистолей испанскаго золота; по закону ихъ нельзя было вывезти и на таможенѣ строго слѣдили за этимъ; я оказался

въ затрудненіи и попросилъ банкира, которому только что подарилъ лошадь, дать мнѣ чекъ на эту сумму, чтобы получить деньги въ Монпелье, черезъ которое лежалъ мой путь. Чтобы выказать мнѣ свою благодарность, онъ взялъ сначала деньги, а затѣмъ выдалъ такой чекъ, что когда я сталъ получать въ Монпелье деньги луидорами, то оказалось, что я получаю приблизительно на семь процентовъ меньше, чѣмъ могъ бы получить взявъ съ собою и лично размѣнявъ свои пистолы. Но мнѣ и не нужно было такого проявленія любезности банкировъ, чтобы составить мнѣніе объ этомъ разрядѣ людей; они всегда казались мнѣ самой низкой и гнусной частью человѣческаго общества. И тѣмъ они подлѣе, чѣмъ больше хотятъ выглядѣть барами; задавая вамъ пышный обѣдъ, они не стѣсняются ограбить васъ въ своемъ банкѣ и всегда готовы воспользоваться общес-
твенными несчастіями.

Наконецъ, торопя цѣною золота и ударами палки мед-
ленный шагъ муловъ, я въ два дня доѣхалъ отъ Барсе-
лоны до Перпиньяна; по дорогѣ туда я проѣхалъ это раз-
стояніе въ четыре дня. Я настолько привыкъ къ бы-
строму передвиженію, что разстояніе отъ Перпиньяна до
Антиба пролетѣлъ не останавливаясь ни въ Нарбоннѣ,
ни въ Монпелье, ни въ Эксѣ. Въ Антибѣ я сейчасъ же
сѣлъ на пароходъ, шедшій въ Геную, гдѣ я остановился
только на три дня для отдыха, и затѣмъ вѣхалъ въ пре-
дѣлы родины. Я провелъ лишь два дня съ матерью въ
Асти и, послѣ трехлѣтняго отсутствія, вернулся въ Ту-
ринъ 5 мая 1772 года.

Проѣзжая черезъ Монпелье, я посоветовался съ однимъ
знаменитымъ хирургомъ о той болѣзни, которую захва-
тилъ въ Кадиксѣ. Онъ настаивалъ, чтобы я остановился
въ Монпелье, но я предпочелъ довѣриться своему опыту
и знаніямъ вѣрнаго Ильи, который не разъ прекрасно
вылечивалъ меня въ Германіи и въ другихъ мѣстахъ;
итакъ, я оставилъ корыстолюбиваго хирурга и, какъ уже
сказалъ выше, продолжалъ свое путешествіе со страшной

быстротой. Но утомленіе отъ этихъ двухъ мѣсяцевъ передвиженія значительно ухудшило болѣзнь. Вернувшись въ Туринъ, я долженъ былъ употребить цѣлое лѣто на поправленіе здоровья. Таковы были главные плоды моего второго трехлѣтняго путешествія!

Г л а в а XIII.

СКОРО ПОСЛѢ ВОЗВРАЩЕНІЯ НА РОДИНУ Я ВЪ ТРЕТІЙ РАЗЪ ПОПАДАЮСЬ ВЪ ЛЮБОВНЫЯ СЪВѢТИ. ПЕРВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЯ ОПЫТЫ.

Несмотря на то, что какъ на собственный, такъ и на чужой взглядъ, я не вынесъ ничего добраго изъ пяти лѣтъ странствованія, я сталъ гораздо благоразумнѣе и мой кругозоръ очень расширился. Поэтому, какъ только шуринъ снова заговорилъ со мной о дипломатической карьерѣ, о которой я бы долженъ былъ хлопотать, я отвѣчалъ ему, что имѣлъ случай видѣть разныхъ королей и ихъ представителей и не замѣтилъ среди нихъ ни одного сколько-нибудь порядочнаго; что я не хотѣлъ бы быть представителемъ самого Великаго Могола, а не то что послѣдняго изъ европейскихъ царей—нашего государя; что если ужъ человѣкъ имѣлъ несчастье родиться въ подобной странѣ, остается только одинъ исходъ, т. е. жить въ ней на свои средства, если они есть, или создать себѣ достойное занятіе подъ покровительствомъ счастливой независимости. Лицо моего собесѣдника вытянулось при моихъ словахъ, такъ какъ онъ былъ камеръ-юнкеромъ короля. Онъ больше не говорилъ со мной объ этомъ и я еще болѣе утвердился въ своемъ рѣшеніи.

Мнѣ исполнилось тогда двадцать три года. Я былъ достаточно богатъ для жизни въ свободной странѣ; имѣлъ нѣкоторую опытность въ вопросахъ нравственныхъ и политическихъ, благодаря поверхностному наблюденію

столькихъ странъ и народовъ; во мнѣ было столько же тщеславія, сколько и невѣжества. Поэтому мнѣ еще роковымъ образомъ предстояло совершить много ошибокъ, прежде чѣмъ найти достойный и полезный выходъ усердію моего пылкаго, нетерпѣливаго и гордаго характера.

1773.

Въ концѣ того года, когда я вернулся въ Туринъ, я нанялъ здѣсь великолѣпный домъ на чудной площади Санъ-Карло, который былъ обставленъ роскошно и со вкусомъ, и началъ вести полную удовольствій жизнь съ друзьями, которыхъ у меня оказалась множество.

8 мая.

Старинные товарищи по академіи и тѣ, которые принимали участіе во всѣхъ продѣлкахъ моей юности, стали вновь моими закадычными друзьями; изъ нихъ челоуѣкъ двѣнадцать были связаны со мной тѣсной дружбой и мы учредили постоянное общество, члены котораго избирались и исключались лишь баллотировкой, и которое, благодаря всевозможнымъ шутовскимъ постановленіямъ, имѣло видъ настоящаго масонскаго общества, не будучи имъ. Единственной цѣлью этой компаніи пріятелей были развлеченія, общіе ужины; мы собирались разъ въ недѣлю, чтобы разсудительно или безразсудно поговорить о всевозможныхъ предметахъ.

Эти торжественныя собранія происходили у меня, такъ какъ мой домъ былъ лучше и больше, чѣмъ у другихъ, и потому, что я жилъ въ немъ одинъ, мы чувствовали себя свободнѣе. Среди этихъ молодыхъ людей, которые всѣ были хорошаго происхожденія и принадлежали къ лучшимъ фамиліямъ города, были самые разнообразные люди: бѣдные и богатые, добрые, посредственные, умные, глупые, невѣжды и очень образованные. Благодаря этому смѣшенію, такъ удачно подобранному случаемъ, я не могъ (а если бы и могъ, то не захотѣлъ бы этого) первенствовать ни въ какомъ отношеніи, хотя

ни одинъ изъ нихъ не видалъ того, что я видѣлъ. Установленные нами правила были безпристрастны, справедливы и обязательны для всѣхъ. Такое собраніе, какъ наше, могло бы одинаково хорошо основать равноправную республику, какъ и правильно установленное шуточное общество. Случай и обстоятельства захотѣли, чтобы оно стало вторымъ, а не первымъ. Мы поставили довольно большой ларецъ, въ который черезъ верхнее отверстіе опускались всевозможныя рукописи, читавшіяся затѣмъ предсѣдателемъ нашихъ еженедѣльныхъ собраній, у котораго находился ключъ отъ ларца. Среди этихъ писаній встрѣчались иногда довольно оригинальныя и очень забавныя; авторы не подписывали своего имени, но оно большею частью угадывалось. Къ нашему общему, и особенно моему несчастью, всѣ эти произведенія были написаны если не на французскомъ языкѣ, то французскими словами. Я былъ счастливъ, что могъ бросить въ ларецъ нѣкоторыя рукописи, весьма заинтересовавшія собраніе. Это были шутки, вперемежку съ философскими разсужденіями и дерзкими словами, написанныя на очень плохомъ, почти жалкомъ французскомъ языкѣ, но онѣ были всѣмъ понятны и могли легко имѣть успѣхъ передъ аудиторіей, которая была не искуснѣ меня во французскомъ языкѣ. Одну изъ нихъ я сохраняю до сихъ поръ. Я взялъ такой страшный судъ: Богъ требовалъ у всѣхъ душъ полной исповѣди въ ихъ жизни; я вывелъ здѣсь разныя личности, которыя сами описывали свой характеръ. Этотъ отрывокъ имѣлъ большой успѣхъ, такъ какъ не былъ лишенъ соли и правдивости. Тутъ были намеки и живые портреты, смѣшныя и разнообразныя, въ которыхъ можно было узнать цѣлый рядъ нашихъ соотечественниковъ обоихъ половъ, которыхъ аудиторія моментально называла.

Этотъ маленькій опытъ, доказавшій мнѣ, что я могу набросать на бумагѣ кое-какія мысли и этимъ доставить удовольствіе другимъ, внушалъ мнѣ смутное желаніе и отдаленную надежду написать, когда-нибудь, что-либо

болѣе значительное; но что бы это могло быть? Я еще не зналъ, и дарованія мои еще не пробудились. Такъ какъ у меня было призваніе лишь къ сатирѣ, къ тому, чтобы изображать въ людяхъ и въ предметахъ комическую сторону, то, размышляя объ этомъ и взвѣсивая обстояательства, я подумалъ, что мнѣ будетъ совсѣмъ не трудно владѣть подобнымъ оружіемъ; но въ глубинѣ души я очень невысоко цѣнилъ этотъ обманчивый и пустой жанръ. Преходящій успѣхъ, сопутствующій произведеніямъ этого рода, основанъ скорѣе на зависти и злобѣ людей, всегда готовыхъ порадоваться насмѣшкѣ надъ ближнимъ, чѣмъ на дѣйствительныхъ заслугахъ того, кто осмѣиваетъ. Но въ ту пору моя чрезмѣрная и постоянная расточительность, полная независимость, женщины, мои двадцать четыре года и мои лошади, число которыхъ увеличилось до двѣнадцати,—всѣ эти препятствія, бывшія столь могучей помѣхой для начинанія какого-либо полезнаго дѣла, заглушали и усыпляли во мнѣ всякое желаніе стать писателемъ. Итакъ, продолжая жить въ бездѣйствіи, не имѣя, такъ сказать, ни единого часа для себя, не открывая ни одной книги, я, естественно, долженъ былъ поддаться новой, очень для меня печальной, любви; послѣ безконечныхъ приступовъ тоски, стыда, горя, я вышелъ изъ этого испытанія съ истинной, сильнѣйшей и яростной жадой знанія и дѣла, жадой, не покидавшей меня отнынѣ. Она избавила меня отъ ужаса скуки, пресыщенія, праздности; скажу болѣе: излѣчила отъ полнаго разочарованія, къ которому я настолько становился склоненъ, что если бы не погрузился въ усердныя и постоянныя умственные занятія, ничто не могло бы спасти меня отъ сумасшествія или самоубійства въ возрастѣ до тридцати лѣтъ.

Это третье опьяненіе любовью было совершенно безобразно и продолжалось слишкомъ долго. Новый предметъ моей страсти была особа знатнаго происхожденія, но не обладавшая особенной репутаціей въ свѣтскомъ обществѣ; она была уже и не очень молода, вѣроятно, лѣтъ на 9—10 старше меня. Между нами еще раньше завязалась легкая

дружба, при первомъ моемъ выступленіи въ свѣтъ, когда я былъ лишь въ первомъ отдѣленіи академіи. Шестъ или семь лѣтъ спустя наши квартиры оказались визави; она приняла меня самымъ ласковымъ образомъ. Я бездѣлничалъ, а моя душа была, вѣроятно, одной изъ тѣхъ, о которыхъ Петрарка сказалъ съ такимъ чувствомъ и правдивостью:

So di che poco sapete si allaccia
Un'anima gentil, quand'ella è sola,
E non è chi per lei difesa faccia.

Наконецъ, быть можетъ, мой добрый отецъ Аполлонъ избралъ этотъ странный путь, чтобы призвать меня къ себѣ. Дѣйствительно, хотя я вначалѣ и не любилъ эту женщину, никогда и впослѣдствіи ее не уважалъ, и даже невысоко цѣнилъ ея необычайную красоту, тѣмъ не менѣе, какъ полумный вѣря въ ея безграничную любовь ко мнѣ, — я въ концѣ концовъ, серьезно полюбилъ ее и цѣликомъ погрузился въ это чувство. Съ тѣхъ поръ для меня исчезли и развлеченія и друзья, я даже сталъ пренебрегать лопадями, которыхъ такъ любилъ. Съ восьми утра и до полуночи я былъ съ ней, недовольный этимъ, но не будучи въ состояніи оторваться отъ нея: дикое и жестокое положеніе, въ которомъ я жилъ (или лучше сказать прозябалъ) приблизительно съ половины 1773 года до конца февраля 1775 года. Хвостъ этой кометы, столь фатальной и столь благодѣтельной для меня, проходилъ черезъ меня еще дольше.

Г л а в а XIV.

БОЛѢЗНЬ И ВЫЗДОРОВЛЕНІЕ.

Такъ какъ я бѣсновался съ утра до вечера все время, пока продолжался этотъ романъ, мое здоровье скоро пошатнулось и въ концѣ 1773 года я дѣйствительно захворалъ

не затяжной, но такой страшной болѣзью, что туринскіе остряки—ихъ тамъ не мало—шутя говорили, что я изобрѣлъ ее только для себя. Она началась рвотой, продолжавшейся тридцать шесть часовъ подрядъ, а когда мой желудокъ совсѣмъ опустѣлъ, меня стала потрясать икота, похожая на рыданіе, со страшными корчами въ области діафрагмы, которыя не позволяли мнѣ выпить глотка воды. Доктора, боясь воспаления, пустили мнѣ на ногѣ кровь, что сейчасъ же прекратило спазмы желудка, но вмѣсто нихъ появились конвульсіи всего тѣла и страшное нервное возбужденіе. Въ такомъ припадкѣ я то и дѣло ударялся о кровать головой, если ее не держали, или рукой и особенно локтемъ. Я не могъ принимать никакой пищи и никакого питья; ибо едва только мнѣ подносили что-либо, мнсю овладѣвала такая нервная дрожь, что ее ничѣмъ нельзя было унять. Если же меня старались удержать силой, получалось еще хуже; и больной, обезсиленный послѣ четырехдневной полной діеты, я сохранялъ еще столько мускульной энергіи, что дѣлалъ усилія, на которыя не былъ бы способенъ въ нормальномъ состояніи. Я провелъ такимъ образомъ пять дней, выпивъ не болѣе двадцати-тридцати глотковъ воды, да и то неохотно. Нерѣдко спазмы тотчасъ удаляли ихъ. Наконецъ, на шестой день конвульсіи немного умѣрились благодаря тому, что я ежедневно проводилъ пять—шесть часовъ въ очень горячей ваннѣ, составленной наполовину изъ воды, наполовину изъ масла. Какъ только открылась возможность глотать, я сталъ пить много сыворотки и очень быстро поправился. Но діета продолжалась такъ долго, и я дѣлалъ такія усилія во время рвоты, что подъ грудобрюшной преградой, между двумя косточками, которыми она кончается, образовалось пустое пространство величиной въ яйцо, которое никогда съ тѣхъ поръ не заполнялось. Ярость, стыдъ и отчаяніе, въ которое меня приводила моя недостойная любовь, были настоящей причиной этой странной болѣзни и, не видя выхода изъ этого мерзкого лабиринта, я надѣялся на смерть и ждалъ ее. На

пятый день болѣзни, когда доктора стали особенно опасаться за мою жизнь, ко мнѣ былъ допущенъ одинъ достойный мой другъ, гораздо старше меня, съ цѣлью побудить меня сдѣлать то, о чемъ я сразу догадался по его виду и по вступительнымъ словамъ, то есть исповѣдаться и продиктовать завѣщаніе. Я предупредилъ его, попросивъ и о томъ и о другомъ, и это не смутило меня. Два или три раза въ молодости приходилось мнѣ стоять со смертью лицомъ къ лицу, и кажется, я всегда встрѣчалъ ее одинаково. Кто знаетъ, сумѣю ли я принять ее такъ же, когда она предстанетъ предо мной неотвратимо? Нужно, дѣйствительно, чтобы человѣкъ умеръ, чтобы дать возможность другимъ, да и ему самому, оцѣнить себя по достоинству.

1774.

Оправившись отъ этой болѣзни, я снова поддался чарамъ любви. Но зато совершенно отказался отъ пріятныхъ обязанностей военной службы, которыя мнѣ были всегда въ высшей степени противны, особенно подъ властью деспотизма, который несоимѣстимъ съ возвышеннымъ по нятіемъ отечества. Но все-таки, долженъ сознаться, что Венера въ данномъ случаѣ была для меня гораздо позорнѣ Марса. Какъ бы то ни было, я отправился къ полковнику и, рассказавъ о состояніи своего здоровья, просилъ его принять прошеніе объ увольненіи меня со службы, которую я, по правдѣ сказать, никогда не исполнялъ; изъ тѣхъ восьми лѣтъ, когда я носилъ мундиръ, пять я провелъ за границей, а въ теченіе трехъ остальныхъ присутствовалъ не болѣе чѣмъ на пяти смотрахъ, которые происходили лишь дважды въ годъ въ провинціальной милиціи, гдѣ я служилъ.

Между тѣмъ, я продолжалъ влачить время въ томъ же рабствѣ, стыдясь самого себя, скучающій и скучный, избѣгая знакомыхъ и друзей, въ лицахъ которыхъ слишкомъ ясно видѣлъ молчаливые упреки моей постыдной слабости. Въ январѣ 1774 года моя любовница захворала болѣзною, причиною которой я легко могъ быть, хотя и

не былъ въ этомъ исполнѣ увѣренъ; такъ какъ ея болѣзнь требовала абсолютнаго покоя и тишины, я преданно сидѣлъ у ея ногъ, чтобы во всемъ ей прислуживать; я оставался при ней съ утра до вечера, избѣгая даже разговаривать изъ боязни повредить ея здоровью. Однажды, во время исполненія этихъ скучныхъ обязанностей, я взялъ нѣсколько листовъ бумаги, попавшихся подъ руку, и нацарапалъ сцену изъ трагедіи или комедіи, случайно и безъ всякаго плана, самъ въ точности не зная, что это будетъ; предполагалось ли тутъ одно, пять или десять дѣйствій,—я затрудняюсь сказать. Это былъ діалогъ въ стихотворной формѣ между лицомъ, которое я назвалъ Фотинъ, Дамой и Клеопатрой, появляющейся послѣ того, какъ два другихъ персонажа обо всемъ переговорили. Такъ какъ нужно было выдумать какое-нибудь имя для дамы, а оно не приходило мнѣ на умъ, я назвалъ ее Лахезисъ, забывъ, что такъ звали одну изъ Паркъ. И теперь, думая объ этомъ, я тѣмъ болѣе поражаюсь своей неожиданной мысли, что въ теченіе шести лѣтъ не написалъ ни одного итальянскаго слова и даже очень рѣдко читалъ что-либо на этомъ языкѣ. И вотъ, ни съ того ни съ сего, самъ не зная почему, я вдругъ рѣшилъ написать эти сцены по-итальянски и въ стихахъ. *)

Моя любовница выздоровѣла и я скоро позабылъ о своемъ курьезномъ сценическомъ отрывкѣ, засунувъ его подъ сидѣнье ея маленькаго кресла, гдѣ онъ пролежалъ цѣлый годъ; такимъ образомъ, моя первая драматическія попытки были, такъ сказать, высижены моею любовницей, которая большую часть времени проводила на этомъ креслицѣ, а такъ же и многими другими лицами, сидѣвшими на немъ. Но въ маѣ того же 74 года, почувствовавъ скуку и раздраженіе противъ этой рабской жизни, я внезапно рѣшилъ ѣхать въ Римъ, въ надеждѣ, что путешествіе излечитъ меня отъ болѣзненной страсти. Восполь-

*) Альфіери приводитъ въ приложеніи текстъ этого отрывка. Въ опущенныхъ нами строкахъ онъ критикуетъ его.

Прим. ред.

зовавшись ссорой, происшедшей между нами, и не говоря ни слова въ тотъ вечеръ, я на другой день сдѣлалъ всѣ нужныя распоряженія и, не побывавъ у нея, рано утромъ слѣдующаго дня выѣхалъ въ Миланъ. Она узнала объ этомъ наканунѣ вечеромъ (ей, вѣроятно, сказала кто-нибудь изъ моего дома) и тотчасъ же поздно ночью вернула мнѣ, слѣдуя обычаю, мои письма и портретъ. Эта посылка меня смутила и я даже сталъ колебаться въ принятомъ рѣшеніи. Тѣмъ не менѣе, вознамѣрившись взять себя въ руки и не падать духомъ, я отправился въ Миланъ. Вечеромъ я пріѣхалъ въ Наварру; цѣлый день меня мучила грубая страсть, преслѣдовало раскаяніе, тоска и стыдъ за свою подлость, я дошелъ до того, что, не внимая болѣе голосу разума, перемѣнилъ рѣшеніе, отправивъ въ Миланъ французскаго аббата, котораго взялъ себѣ въ спутники, съ моими слугами; я велѣлъ имъ ждать меня тамъ. А самъ верхомъ, взявши проводникомъ почтальона и проскакавъ всю ночь, рано утромъ очутился опять въ Туринѣ. Но, чтобы меня не увидали и изъ боязни стать притчей во языцѣхъ, я не вѣхалъ въ городъ. Остановившись въ плохонькой остеріи въ пригородѣ, я написалъ умоляющее письмо своей разсерженной дамѣ, прося се извинить меня за это бѣгство и назначить мнѣ свиданіе. Отвѣтъ пришелъ немедленно. Илья, оставшійся въ Туринѣ, чтобы наблюдать за домомъ во время моего путешествія, которое должно было продолжаться цѣлый годъ, Илья, всегда залечивавшій мои раны,—привезъ мнѣ этотъ отвѣтъ. Мнѣ было даровано свиданіе и, какъ бѣглецъ, прикрываясь ночной темнотой, я вѣхалъ въ городъ. Получивъ полное прощаніе, я на зарѣ вновь направился въ Миланъ. Мы рѣшили, что черезъ 6-7 недѣль я вернусь въ Туринъ подъ предлогомъ поправленія здоровья. И вотъ, едва заключенъ былъ миръ, какъ очутившись опять на большой дорогѣ, одинъ со своими мыслями, я вновь былъ охваченъ стыдомъ за свою слабость. Снѣдаемый угрызениями совѣсти, жалкій и смѣшной, я прибылъ въ Миланъ. Тогда я поз-

налъ на опытѣ, неизвѣстное мнѣ въ то время, глубокое и изящное изреченіе нашего гѣвца любви, Петрарки:

Che chi discerne è vinto da chi vuole.

Въ Миланѣ я съ трудомъ пробылъ два дня, фантазируя и то мечтая о томъ, какъ бы сократить это проклятое путешествіе, то предполагая продлить его, не сдержавъ слова. О, какъ я мечталъ о свободѣ! Но освободиться не могъ и не умѣлъ. Не находя нигдѣ покоя, кромѣ какъ въ передвиженіи, я поспѣшилъ уѣхать во Флоренцію черезъ Парму, Модену и Болонью. Не вытерпѣвъ во Флоренціи болѣе двухъ дней, я отправился далѣе, въ Пизу и Ливорно. Тамъ я получилъ первыя письма отъ моей дамы, и не будучи въ состояніи долѣе переносить разлуку, немедленно выѣхалъ въ Туринъ черезъ Леричи и Геную, гдѣ оставилъ своего спутника—аббата и экипажъ, требовавшій починки. Я прискакалъ въ Туринъ черезъ восемнадцать дней послѣ того, какъ рѣшилъ покинуть его на годъ. Во избѣжаніе сплетенъ, я опять вѣхалъ въ городъ ночью. Нелѣпное путешествіе, стоившее мнѣ, однако, многихъ слезъ!

Внутренно страдая, я съ невозмутимымъ видомъ сносилъ всѣ насмѣшки знакомыхъ и друзей, которые поспѣшили поздравить меня съ возвращеніемъ. Дѣйствительно, я напрасно вернулся; совершенно упавъ въ собственныхъ глазахъ, я предался такому унынію и меланхоли, что если бы это продолжалось долго, я сошелъ бы съ ума или долженъ былъ бы произойти взрывъ; впрочемъ, вскорѣ сбылось и то и другое.

Я не могъ высвободиться изъ этихъ низменныхъ цѣпей съ конца іюня 74 года, времени моего возвращенія изъ этого неудачнаго путешествія, до января 75 года, когда взрывъ былъ произведенъ силой моего скопившагося гнѣва.

ГЛАВА XV.

НАСТОЯЩЕЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПЕРВЫЙ СОНЕТЪ.

1775.

Однажды вечеромъ, по возвращеніи изъ оперы (нелѣпѣйшее и скучнѣйшее итальянское развлеченіе), гдѣ провелъ нѣсколько часовъ въ ложѣ своей любимой и ненавидимой дамы, я почувствовалъ такую усталость, что у меня возникло непреложное рѣшеніе порвать все. По опыту я зналъ уже, что путешествія въ почтовой каретѣ мало помогаютъ дѣлу и что, наоборотъ, это ослабило бы и разбило окончательно силу моего намѣренія. Я предпочиталъ другое испытаніе и льстилъ себя надеждой, что, можетъ быть, болѣе трудное удастся мнѣ лучше, принимая во вниманіе врожденное упорство моего желѣзнаго характера. Я рѣшилъ не выходить изъ дому, который, какъ я уже говорилъ, былъ противъ ея дома, и наблюдать по цѣлымъ днямъ за ея окнами, видѣть ее, когда она выходитъ на улицу, слышать разговоры о ней, и въ тоже время ни за что не уступать соблазну, не поддаваясь ни прямымъ, ни косвеннымъ попыткамъ къ свиданію съ ея стороны, ни воспоминаніямъ, ни чему бы то ни было. Мнѣ представлялось безразличнымъ, погибну ли я въ этомъ испытаніи, или выйду побѣдителемъ. Объ этомъ рѣшеніи, какъ только оно было принято, я написалъ вкратцѣ одному молодому человѣку, очень ко мнѣ расположенному, желая, такимъ образомъ, отрѣзать себѣ отступленіе. Мы были съ нимъ сверстники и провели вмѣстѣ отроческіе годы. Но послѣдніе мѣсяцы онъ пересталъ меня посѣщать, сочувствуя моему кораблекрушенію у этой Харибды; не имѣя возможности исцѣлить меня, онъ не хотѣлъ также дѣлать вида, что одобряетъ мою жизнь.

Въ двухъ строкахъ письма я сообщалъ ему о своемъ безповоротномъ рѣшеніи и прилагалъ свертокъ своихъ длинныхъ рыжихъ волосъ, какъ залогъ исполненія моихъ намѣреній: и кому, въ самомъ дѣлѣ, могъ я показаться

въ такомъ видѣ?—это было бы позволительно лишь въ обществѣ крестьянъ или матросовъ. Я кончилъ посланіе просьбой поддержать меня своимъ присутствіемъ и мужествомъ. Я провелъ въ этомъ странномъ уединеніи первыя двѣ недѣли моей новой жизни, не допуская къ себѣ никого, цѣлые дни стая и бѣснуйся. Нѣкоторые изъ друзей навѣщали меня, и я даже читалъ въ нихъ состраданіе къ своему положенію, такъ какъ, хотя я и не жаловался, мой видъ самъ говорилъ за себя. Я пробовалъ братья за чтеніе, но не могъ осилить даже газеты, и часто мнѣ случалось прочитывать цѣлыя страницы только глазами или губами, не понимая ни одного слова. Иногда я ѣздилъ верхомъ, выбирая для прогулокъ пустынные мѣста, и это было единственное, что дѣйствовало успокоительно на мой духъ и тѣло. Это полоуміе продолжалось больше двухъ мѣсяцевъ, до конца марта 1775 года. Внезапно осѣнившая меня въ то время идея понемногу отвратила мой умъ и сердце отъ этой единственной, докучной, иссушающей мысли о любви. Однажды, спрашивая себя въ приливѣ мечтательности, не настало ли для меня время отдаться поэзії, я принялся съ большимъ трудомъ и въ нѣсколько приемовъ за первый поэтический опытъ въ четырнадцати строкахъ, которыя я счелъ за сонетъ и послалъ любезному и ученому отцу Пачіауди, время отъ времени посѣщавшему меня и выказывавшему мнѣ большое расположеніе, не скрывая при томъ, что весьма огорченъ моимъ образомъ жизни и ничегонедѣланіемъ. Этотъ превосходный человѣкъ постоянно давалъ мнѣ совѣты прочесть то или иное на итальянскомъ языкѣ.

Однажды среди другихъ книгъ въ витринѣ книгопродавца онъ замѣтилъ „Клеопатру“, которую называлъ „высокопреосвященной“, такъ какъ она принадлежала перу кардинала Дельфино, и вспомнилъ, какъ я говорилъ ему, что „Клеопатра“ хорошій сюжетъ для трагедіи и что мнѣ хотѣлось бы взяться за него. Я не показалъ ему своей недописанной пьески, о которой упоминалъ выше. Онъ купилъ эту книжку и подарилъ мнѣ.

Въ одинъ изъ свѣтлыхъ промежутковъ я имѣлъ терпѣніе прочесть ее и сдѣлать помѣтки; въ такомъ видѣ я отослалъ ее почтенному отцу. Мнѣ казалось тогда, что мое произведеніе могло выйти менѣ слабымъ въ отношеніи общаго плана и обрисовки страстей, если бы когда-нибудь я рѣшился его продолжать, мысль о чемъ время отъ времени уже приходила мнѣ въ голову.

Отецъ Пачіауди, щадя мое самолюбіе, сдѣлалъ видъ, что находитъ мой сонетъ хорошимъ; думалъ онъ, конечно, иначе, и былъ правъ. Я самъ, спустя нѣсколько мѣсяцевъ, занявшись изученіемъ нашихъ великихъ поэтовъ, научился цѣнить свой сонетъ, какъ онъ того заслуживалъ. Тѣмъ не менѣе, я очень много обязанъ этимъ похваламъ, которыя такъ мало заслужилъ, и тому, кто меня ими поддержалъ. Онѣ вдохновляли меня сдѣлаться ихъ достойнымъ.

Еще за нѣсколько дней до разрыва съ возлюбленной, уже видя всю неизбѣжность его, я подумывалъ о томъ, чтобы извлечь изъ-подъ подушки кресла ту половину „Клеопатры“, которая почти годъ пролежала подъ спудомъ. Наконецъ, насталъ день, когда среди своихъ неистовствъ, пребывая почти всегда въ полномъ одиночествѣ, я подумалъ объ этой рукописи, пораженный сходствомъ между положеніемъ Антонія и моимъ. Я сказалъ себѣ: „продолжимъ эту попытку, передѣлаемъ трагедію, если это понадобится; нужно дать выходъ страстямъ, меня пожирающимъ, и нужно, чтобы ее поставили этой весной, когда пріѣдетъ заѣзжая труппа актеровъ“.

Какъ только эта идея пришла мнѣ въ голову, я сразу почувствовалъ себя на пути къ исцѣленію. И вотъ я всецѣло во власти бумагомаранія—штопаю, мѣняю, урѣзываю, прибавляю, удлиняю, бросаю и начинаю сначала,—однимъ словомъ, снова впадаю въ безуміе изъ-за этой злополучной „Клеопатры“, столь несчастливо появившейся на свѣтъ,—но уже въ безуміе иного характера. Я не стыдился совѣтоваться съ друзьями однихъ со мною лѣтъ, которые не пренебрегали, какъ это было со мной

въ теченіе многихъ годовъ, изученіемъ итальянскаго языка и поэзіи; рискуя надобѣсть, я искалъ общества всѣхъ, кто могъ хоть немного помочь мнѣ разобратъся въ искусствѣ, представлявшемъ для меня сплошныя потемки. И такъ какъ теперъ я хотѣлъ лишь учиться и пытался довести до благополучнаго конца свое безразсудное и опасное предпріятіе, мой домъ преобразился мало по малу въ своего рода литературную академію. Но я далеко не всегда бывалъ понятливъ и прилеженъ и по натурѣ—а также благодаря глубокому невѣжеству моему—былъ упрямъ и не послушенъ, вслѣдствіе чего мнѣ часто приходилось впадать въ отчаяніе, утомляться самому и утомлять другихъ, и все это понапрасну.

Во всякомъ случаѣ, уже въ томъ былъ выигрышъ, что новое увлеченіе стирало въ моемъ сердцѣ всѣ слѣды того недостойнаго пламени и пробуждало такъ долго дремавшія умственныя способности. Не являлось больше жестокой и смѣшной необходимости привязывать себя къ стулу, какъ я дѣлалъ это раньше, чтобы препятствовать себѣ бѣжать изъ дому въ свою обычную темницу.

Это было одно изъ средствъ, изобрѣтенныхъ мною среди многихъ другихъ, чтобы поскорѣе образумить себя. Я скрывалъ веревки, которыми привязывалъ меня Илья къ стулу, подъ широкимъ плащомъ, окутывавшимъ меня съ головы до ногъ такъ, что руки оставались свободными и я могъ читать, писать, поворачивать голову, не возбуждая въ присутствующихъ подозрѣнія о моей прикованности къ стулу. Такъ проводилъ я по нѣскольکو часовъ подрядъ. Одинъ Илья былъ посвященъ въ эту тайну; онъ же и развязывалъ меня, когда, убѣдившись, что приступъ безсмысленной ярости прошелъ и рѣшеніе мое прочно, я дѣлалъ ему знаки. Я пускался на самыя разнообразныя уловки, чтобы добиться побѣды надъ бѣшеными эксцессами и, въ концѣ концовъ, избѣжалъ гибели. Среди странныхъ способовъ, къ какимъ я прибѣгалъ, несомнѣнно, самымъ удивительнымъ былъ маскарадъ, который я затѣялъ въ концѣ карнавала, на

публичномъ балу въ театрѣ. Наряженный Аполлономъ, я осмѣлился явиться туда съ лирой, и, съ грѣхомъ пополамъ аккомпанируя себѣ, пропѣлъ нѣсколько скверныхъ стиховъ собственнаго сочиненія. Подобная наглость была совсѣмъ не въ моемъ характерѣ. Но такъ какъ я былъ слишкомъ слабъ для иной борьбы со своей страстью, то побужденія, по которымъ я разыгрывалъ подобныя сцены, можетъ быть, послужатъ для меня оправданіемъ. Существовала настоятельная необходимость поставить между собой и этой женщиной нерушимую преграду; такой преградой былъ стыдъ за тѣ узы, которыя насъ связывали, и которыя я подвергъ публичному осмѣянію. Я не замѣчалъ при этомъ, что становлюсь самъ посмѣшищемъ цѣлаго театра.

Единственное извиненіе того, что я осмѣливаюсь рассказывать эти жалкія и глупыя вирши,—въ желаніи моемъ добросовѣстно послужить истинѣ, показавъ здѣсь, какъ глубоко былъ я незнакомъ съ приличіями и хорошимъ вкусомъ. *)

Среди всѣхъ этихъ нелѣпостей мало по малу я началъ воспламеняться дотолѣ незнакомой еще, прекрасной и возвышенной любовью къ славѣ.

Наконецъ, послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ поэтическихъ совѣщаній и корпѣнія надъ словарями, истрепавъ грамматику и надѣлавъ множество глупостей, я кое-какъ связалъ между собою пять клочковъ, которые называлъ актами, и которые озаглавилъ: „Клеопатра“, трагедія. Я переписалъ первый актъ и послалъ его добрѣйшему отцу Пачіауди, прося просмотрѣть, поправить, что можно, и высказать свое мнѣніе письменно.

Среди замѣтокъ, которыя онъ сдѣлалъ на поляхъ моей рукописи, попадались очень веселыя и забавныя; онѣ вызывали у меня добродушный смѣхъ, хотя и касались моихъ слабыхъ сторонъ: такъ напримѣръ, относительно моего стиха, гдѣ встрѣчается выраженіе: „лай

*) Упомянутые выше сатирическіе стихи. Мы ихъ опускаемъ.
Прим. ред.

сердца“, онъ приписалъ: „эта литература слишкомъ отзываетъ псарней; совѣтую съ ней разстаться“.

Такія замѣтки на поляхъ рукописи перваго акта и отеческіе совѣты въ письмѣ, ее сопровождавшемъ, вдохнули въ меня рѣшимость все передѣлать сызнова съ большей осмотрительностью и съ усиленнымъ упорствомъ въ работѣ. Въ результатѣ получилась трагедія, которая была поставлена въ Туринѣ 16-го іюня 1775 года.

Не удовольствовавшись тѣмъ, что снова докучалъ отцу Пачиауди просмотромъ моего новаго опыта, я надѣдалъ съ нимъ еще нѣсколькимъ почтеннымъ лицамъ, среди которыхъ былъ графъ Агостино Тана, мой ровесникъ, числившійся уже королевскимъ пажемъ, когда я учился еще въ академіи. Воспитаніе наше было одинаковое, но онъ, бросивъ придворную службу, весь отдался изученію итальянской и французской литературы и воспиталъ свой вкусъ,—особенно въ области критики философской, но не лингвистической. Тонкость, изящество и мѣткость его замѣчаній по поводу моей злополучной „Клеопатры“ были таковы, что я самъ охотно смѣялся бы вмѣстѣ съ нимъ, если бы у меня хватило на то мужества. Но уколы его были для меня черезчуръ чувствительны.

Къ трагедіи я прибавилъ маленькій фарсъ, который долженъ былъ слѣдовать непосредственно за моей „Клеопатрой“; я озаглавилъ его „Поэты“. Ни фарсъ, ни трагедія не были ужъ такъ безнадежно глупы; то тамъ, то здѣсь въ нихъ блистали искорки, чувствовалась извѣстная соль. Въ „Поэтахъ“ я вывелъ себя самого на сцену подъ именемъ Зевсиппа и первый осмѣялъ свою „Клеопатру“. Я вызывалъ тѣнь самой царицы съ нѣкоторыми другими героинями трагедіи и она произносила приговоръ надъ моимъ произведеніемъ, сравнивая его съ другими плохими трагедіями поэтовъ моихъ соперниковъ, чьи пьесы по праву могли считаться сестрами моей, съ тою лишь разницей, что ихъ трагедіи были зрѣлымъ плодомъ уже вполне опредѣлившейся бездарности, тогда

какъ моя была скороспѣлымъ порожденіемъ невѣжества, способнаго къ просвѣщенію.

Оба эти представленія сопровождались аплодисментами въ теченіе двухъ вечеровъ, непосредственно слѣдовавшихъ одинъ за другимъ. Мнѣ предлагали поставить ихъ третій разъ, но въ это время я уже пришелъ въ себя и раскался отъ всей души въ дерзости своего выступленія передъ публикой, хотя послѣдняя и проявила ко мнѣ много снисходительности; я употребилъ всѣ усилія, чтобы отговорить актеровъ и завѣдующаго театромъ отъ дальнѣйшихъ постановокъ. Но съ этого рокового вечера я почувствовалъ, какъ вспыхнулъ въ моихъ жилахъ такой огонь, такое живое стремленіе по настоящему, по заслугамъ завоевать первенство въ театрѣ, что съ этимъ пожирающимъ пламенемъ никакая любовная горячка не могла сравниться.

Таково было мое первое выступленіе передъ публикой. И если позднѣйшія мои произведенія, отличающіяся—увы!—своей многочисленностью, не поднялись бы надъ первыми, такое начало длиннаго пути, полного лишь доказательствами моей бездарности, было бы по истинѣ смѣшнымъ и нелѣпымъ. Но если, наоборотъ, когда-нибудь меня ждала честь стать однимъ изъ писателей, стяжавшихъ небезызвѣстное имя въ театрѣ, потомство въ правѣ сказать, что въ моемъ шутовскомъ появленіи на Парнасѣ съ трагической котурной на одной ногѣ и съ сандаліей комедіанта на другой, таилось нѣчто серьезное.

На этомъ кончается повѣствованіе о моей юности и я не сумѣлъ бы избрать лучшаго дня для ознаменованія моего перехода въ зрѣлый возрастъ.

ЧЕТВЕРТАЯ ЭПОХА.

ЗРѢЛЫЙ ВОЗРАСТЪ.

ОНЪ ОБНИМАЕТЪ БОЛѢ ТРИДЦАТИ ЛѢТЪ,
ОТДАННЫХЪ СОЧИНЕНІЮ, ПЕРЕВОДАМЪ И
РАЗНАГО РОДА ИЗУЧЕНІЯМЪ.

Глава I.

ДВѢ ПЕРВЫЯ ТРАГЕДИИ, „ФИЛИППЪ II“ И „ПОЛИНИКЪ“, НАПИСАННЫЯ ПО-ФРАНЦУЗСКИ, ПРОЗОЙ, ПОКА ЧТО — ЦѢЛОЕ НАВОДНЕНИЕ ДУРНЫХЪ СТИХОВЪ.

10 мая.

Мнѣ было около двадцати семи лѣтъ, когда я принялъ стойкое рѣшеніе сдѣлаться творцомъ трагедій. Чтобы отважиться на такое дерзкое предпріятіе, вотъ какія были у меня данныя.

Духъ рѣшительный, неукротимый, упорный; сердце переполненное страстями всякаго рода. Двѣ изъ нихъ владычествовали надъ остальными и странно переплетались между собою—любовь, со всѣми ея безумствами, и глубокая ненависть, отвращеніе ко всякой тирани. Къ этой хаотической первоосновѣ присоединились отдаленные неясные отголоски разныхъ французскихъ трагедій, которыя я видѣлъ въ театрѣ много лѣтъ назадъ. Ибо, правду сказать, я не прочелъ до сихъ поръ ни одной трагедіи и далекъ былъ отъ размышленія о нихъ.

Прибавьте къ этому полнѣйшее невѣжество относительно правилъ трагической поэзіи и почти полную неопытность въ незамѣнимомъ, божественномъ искусствѣ управленія роднымъ языкомъ.

Все это было облечено у меня твердой корой самомянія, вѣрнѣе, непостижимой дерзости и буйности нрава, благодаря чему я могъ лишь изрѣдка, съ трудомъ и сдерживая себя, узнавать, изслѣдовать и выслушивать

правду. На такой почвѣ—читатель, я думаю, согласится съ этимъ—легче было взрастить жестокаго и грубаго государя, чѣмъ просвѣщеннаго писателя.

Но тайный голосъ не умолкалъ въ моемъ сердцѣ и предостерегалъ меня еще болѣе энергично, чѣмъ немногіе мои искренніе друзья: „Тебѣ нужно все начать сызнова и, такъ сказать, обратиться въ ребенка. Ех professo начать грамматику и въ послѣдовательности изучить все, что нужно, чтобы писать правильно и искусно“.

И такъ взывалъ ко мнѣ этотъ голосъ, что я, въ концѣ концовъ, смиренно покорился его велѣніямъ. Это было суровое и, особенно въ моемъ возрастѣ, убійственное испытаніе: я думалъ и чувствовалъ, какъ взрослый, а долженъ былъ учиться, какъ ребенокъ.

Но жажда славы горѣла такимъ яркимъ пламенемъ и я такъ былъ подавленъ первыми сценическими неудачами, такъ хотѣлось мнѣ сбросить съ себя поскорѣе бремя этого позора, что здѣсь я черпалъ мужество для преодоленія препятствій, столь трудныхъ и отвратительныхъ.

Я говорилъ уже, что представленіе „Клеопатры“ открыло мнѣ глаза.

Но оно не выяснило мнѣ всей нелѣпости самого злополучнаго сюжета, въ особенности для неопытнаго автора и его перваго опыта; оно оказало мнѣ услугу тѣмъ, что помогло измѣрить всю огромность разстоянія, которое я долженъ былъ пройти назадъ, прежде чѣмъ могъ бы оказаться у барьера, откуда начинается состязаніе и принять въ немъ участіе съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ. Покровъ, затемнявшій доселѣ мое зрѣніе, упалъ съ моихъ глазъ и я заключилъ съ собой торжественный договоръ. Я далъ клятву не останавливаться ни передъ скукой, ни передъ усталостью до тѣхъ поръ, пока не будетъ въ Италіи человекъ, который бы зналъ итальянскій языкъ лучше меня.

Давая эту клятву, я былъ убѣжденъ, что послѣ такихъ словъ для меня легко достижимъ будетъ трудъ и мастерство писательства.

Немедленно же я бросился съ головой въ бездны грамматики, какъ нѣкогда бросился въ пропасть Курцій—въ полномъ вооруженіи и не закрывая глазъ передъ тѣмъ, что его ожидало.

Чѣмъ сильнѣе я убѣждался, насколько худо поступалъ до сихъ поръ, тѣмъ больше крѣпла во мнѣ увѣренность, что буду лучше поступать со временемъ; въ моемъ портфель хранилось неоспоримое подтвержденіе тому.

Это были двѣ трагедіи мои— „Филиппъ II“ и „Полиникъ“, написанныя прозой на французскомъ языкѣ между мартомъ и маемъ того же 1775 года, т. е. мѣсяца за три до представленія „Клеопатры“. Я читалъ ихъ нѣкоторымъ изъ моихъ друзей и мнѣ показалось, что они были поражены.

О впечатлѣніи, мной произведенномъ, я сужу не по количеству похвалъ, которыя услышалъ тогда, но по искренней внимательности, совершенно произвольной со стороны всѣхъ слушателей, и по выраженію ихъ лицъ, сказавшихъ мнѣ больше, чѣмъ говорили слова. Но къ великому несчастью моему, эти трагедіи были задуманы и исполнены на французскомъ языкѣ и въ прозѣ и имъ предстояло пройти долгій и тяжкій путь, чтобы преобразиться въ итальянскую поэзію. Я написалъ ихъ на этомъ глупомъ и непонятномъ для меня языкѣ не потому, что зналъ его, или претендовалъ на знаніе. Но въ теченіе пяти лѣтъ моихъ путешествій я слышалъ только этотъ жаргонъ и говорилъ лишь на немъ, и пріучился объясняться на немъ, менѣе искажая свою мысль, чѣмъ на другихъ языкахъ. Не умѣя какъ слѣдуетъ говорить ни на какомъ языкѣ, я испытывалъ то, что пришлось бы испытать скороходу, если бы онъ, лежа на одрѣ болѣзни, бредилъ о призѣ на бѣгахъ и вдругъ, очнувшись, замѣтилъ бы, что для одержанія побѣды ему не хватаетъ только ногъ.

Мое безсиліе объяснить себя или, если хотите, перевести себя, не говорю уже въ стихахъ,—въ простой итальянской прозѣ, шло такъ далеко, что когда я хотѣлъ перечестъ актъ или сцену изъ тѣхъ, которые особенно

нравились моимъ слушателямъ, никто изъ нихъ во второй разъ не узнавалъ моей пьесы,—и меня совершенно серьезно спрашивали, почему я сдѣлалъ такія измѣненія.

Это былъ тотъ же персонажъ, но задрапированный иначе, и въ этомъ новомъ одѣяніи его не могли узнать и не хотѣли принимать. Я впадалъ въ изступленіе, плакалъ, но все было напрасно. Оставалось одно средство—набраться терпѣнія и начать сызнова; а пока что—я предался чтенію самыхъ нелѣпыхъ, самыхъ далекихъ отъ трагедіи отрывковъ, чтобы набить себѣ голову тосканскими выраженіями.

Я сказалъ бы, если бы не боялся вычурности выраженія, что мнѣ приходилось цѣлые дни отказываться отъ мысли, чтобы потомъ имѣть возможность мыслить.

Во всякомъ случаѣ, въ моемъ столѣ уже лежали зачатки двухъ трагедій и сознаніе этого позволяло мнѣ прислушиваться съ большимъ терпѣніемъ къ педагогическимъ совѣтамъ, со всѣхъ сторонъ сыпавшимся на меня. Эти двѣ трагедіи дали мнѣ также силу вынести постановку на сценѣ столь несноснаго для моихъ ушей произведенія, бессмысленной „Клеопатры“; каждый произнесенный актеромъ стихъ раздавался въ моемъ сердцѣ, какъ самая горькая критика моего творенія, теперь же это перестало отравлять мнѣ жизнь; напротивъ, „Клеопатра“ сдѣлалась для меня лишь поощреніемъ къ тому, что было на очереди. Такимъ образомъ, если, съ одной стороны, меня не приводила въ уныніе критика (иногда справедливая, но чаще вѣроломная и невѣжественная), которая обрушилась на первое изданіе моихъ трагедій отъ 1783 г. въ Сьенѣ, съ другой стороны, я не тѣшилъ свою гордость и не опьянялся слѣпыми, незаслуженными аплодисментами, какими встрѣтилъ меня партеръ въ Туринѣ, сжалившись, вѣроятно, надъ молодымъ самолюбіемъ.

Первымъ моимъ шагомъ къ достиженію чистоты тосканской рѣчи было рѣшеніе всѣми силами избѣгать чтенія по-французски. Начиная съ іюля мѣсяца, когда я пришелъ къ этому, я не позволялъ себѣ ни одного слова

произнести по-французски и старательно избѣгалъ такихъ лицъ и такихъ круговъ общества, гдѣ говорили на немъ. Несмотря на все это, мое «итальянизированіе» подвигалось впередъ очень медленно. Мнѣ всегда были трудны планомѣрныя усидчивыя занятія.

Чуть ли не каждые три дня я бунтовалъ противъ добрыхъ совѣтовъ не взлетать на собственныхъ крыльяхъ. Каждую мысль, промелькнувшую въ моей головѣ, я сейчасъ же стремился переложить въ стихи. Всѣ роды поэзіи, всѣ размѣры были для меня подходящими, и всюду я терпѣлъ пораженья и страдала моя гордость; но упорная надежда не покидала меня. Среди разныхъ такихъ виршей (я не смѣю называть это поэзіей) мнѣ пришлось въ голову сочинить строфы для пѣнія на банкетѣ франкъ-масоновъ. Здѣсь предполагался или, вѣрнѣе, долженъ былъ быть рядъ намековъ на различныя орудія, чины и должности этого страннаго общества.

И хотя въ первомъ своемъ сонетѣ я укралъ одинъ стихъ у Петрарки, все же степень моей невѣжественности и беззаботности была такъ велика, что я принялся за работу, не вспомнивъ, а можетъ быть даже и совсѣмъ ничего не слыхавъ до этого о правилахъ терцинъ.

Такъ, не подозрѣвая о своихъ ошибкахъ, я дошелъ до двѣнадцатой терцины; тутъ меня охватило сомнѣніе, я открылъ Данте, и дальше писалъ уже, какъ должно, но первыя двѣнадцать строкъ оставилъ неисправленными. Въ этомъ видѣ я пропѣлъ ихъ и на банкетѣ; но честные франкъ-масоны въ поэзіи столько же разбирались, сколько въ работѣ каменщиковъ, и мое произведеніе не провалилось.

Въ августѣ мѣсяцѣ этого же 1775 года, боясь, что въ городѣ буду вести слишкомъ разсѣянную жизнь и не смогу учиться, какъ хотѣлъ бы, я удалился въ горы, отдѣляющіе Пьемонтъ отъ Дофинэ, гдѣ провелъ болѣе двухъ мѣсяцевъ въ маленькой деревушкѣ Сезаннъ у подножья Монджиневро, гдѣ по преданію Аннибалъ перешелъ черезъ Альпы

Какъ ни склоненъ я по природѣ своей къ обдуманности въ поступкахъ, иногда мнѣ случается уступать увлеченію минуты. Когда я остановился на этомъ рѣшеніи, я не подумалъ о томъ, что въ этихъ горахъ мнѣ придется опять столкнуться съ проклятымъ французскимъ языкомъ, избѣгать котораго я старался съ понятнымъ и законнымъ упорствомъ. Объ этомъ я вспомнилъ, когда подумалъ про аббата, который годъ тому назадъ сопровождалъ меня въ моемъ комическомъ путешествіи во Флоренцію. Онъ былъ изъ Сезаннъ—звали его Айо. Это былъ человѣкъ большого ума, жизнерадостный философъ, ушедшій во французскую и латинскую литературу. Онъ былъ наставникомъ двухъ братьевъ,—съ которыми я очень дружилъ въ годы ранней юности. Тогда я сошелся и съ Айо; съ годами наши отношенія упрочились. Нужно отдать должное аббату—въ тѣ годы онъ дѣлалъ все, что могъ, чтобы вдохнуть въ меня любовь къ литературѣ; онъ всегда увѣрялъ меня, что я могу имѣть въ ней успѣхъ; но все это было напрасно. Часто мы вступали съ нимъ въ забавное соглашеніе: онъ читалъ мнѣ цѣлый часъ романъ или собраніе сказокъ „Тысяча и одна ночь“, послѣ чего я соглашался слушать—не болѣе чѣмъ десять минутъ—отрывки изъ трагедій Расина. И весь превращаясь въ слухъ во время чтенія глупостей, я засыпалъ подъ нѣжнѣйшіе стихи великаго трагика. Это приводило Айо въ ярость и онъ осыпалъ меня вполне заслуженными упреками. Такъ мало было во мнѣ предрасположенія сдѣлаться творцомъ трагедій въ ту пору, когда я находился въ первомъ отдѣленіи королевской академіи. Но и позже я не выносилъ монотоннаго, мало-выразительнаго и ледяного французскаго стиха, который не казался мнѣ стихомъ ни тогда, когда я не зналъ, что такое стихъ, ни тогда, когда, кажется, я знаю, что это такое.

Возвращаясь къ моему лѣтнему убѣжищу Сезаннъ, гдѣ кромѣ моего литературнаго аббата былъ еще аббатъ музыкантъ, у котораго я научился бречать на гитарѣ

инструментъ, созданномъ, чтобы вдохновлять поэтовъ; я чувствовалъ къ нему нѣкоторую склонность, причеиъ прилежаніе мое въ этомъ занятіи совсѣиъ не соответствовало восторгу, возбуждаемому во мнѣ звуками гитары.

Такимъ образомъ, ни на этомъ инструментѣ, ни на клавесинѣ, на которомъ меня учили играть въ дѣтствѣ, я игралъ не выше посредственности, хотя слухъ и музыкальное воображеніе у меня всегда были чрезвычайно развиты.

Итакъ, я провелъ лѣто съ двумя аббатами, изъ которыхъ одинъ своей гитарой разсѣивалъ столь новую для меня тоску серьезныхъ и ревностныхъ занятій, а другой заставлялъ проклинать его французскій языкъ.

Но со всѣиъ тѣиъ для меня это было восхитительное и самое плодотворное время жизни, ибо тутъ я впервые собралъ самого себя и сталъ работать надъ воспитаніемъ ума и очищеніемъ способностей, заросшихъ мхомъ въ эти десять лѣтъ летаргическаго забытъя и преступной праздности. Я принялся переводить и перекладывать въ итальянскую прозу „Филиппа“ и „Полиника“, явившихся на свѣтъ во французскихъ лохмотьяхъ.

Но не взирая на весь мой жаръ въ этой работѣ, трагедіи такъ и остались полуфранцузскими, полуйтальянскими, подобными горячей бумагѣ, о которой поэтъ говоритъ:

...Un color bruno

Che non è negro ancoга, e il bianco tuogre.

Въ этихъ трудолюбивыхъ усиліяхъ переложенія французскихъ мыслей въ итальянскіе стихи, я пришелъ къ намѣренію передѣлать третій вариантъ „Клеопатры“. Нѣсколько сценъ изъ нея, написанныхъ по-французски, были прочтены цензору моему, графу Агостино Тана, который больше интересовался драматической ихъ стороной, чѣиъ грамматической; онъ нашелъ, что онѣ сильны и очень красивы, особенно сцена между Августомъ и Антоніемъ; но когда я превратилъ все это въ якобы итальянскіе, вымученные стихи, написанные точно для пѣнія, они показались

ему ниже посредственнаго. Онъ сказалъ мнѣ это въ глаза и я повѣрилъ ему; скажу больше, я почувствовалъ какъ и онъ. Нѣтъ сомнѣнiя, что въ поэзiи одѣяніе составляетъ половину ея существа и что въ нѣкоторыхъ родахъ (въ лирическомъ, на примѣръ) форма— это все. Въ такой мѣрѣ, что стихи:

Con la lor vanità che par persona
оказываются выше такихъ, гдѣ
Fosser gemme legate in vile anello.

Прибавлю здѣсь, что отецъ Пачіауди, какъ и графъ Тана, особенно послѣдній, приобрѣли право на вѣчную мою благодарность за правду, которую я всегда отъ нихъ слышалъ, и благодаря которой вступилъ на вѣрный писательскій путь. Довѣріе мое къ этимъ двумъ людямъ было таково, что вся моя литературная карьера зависѣла отъ нихъ. По малѣйшему ихъ знаку я бросилъ бы въ огонь всякое не одобренное ими произведеніе, какъ и сдѣлалъ со многими стихами, не заслуживавшими исправленія. Если я поэтъ, — я долженъ прибавить: поэтъ милостью Бога, Пачіауди и Тана. Они были священными моими покровителями въ жестокой битвѣ, которой я долженъ былъ заполнить первый годъ своей литературной жизни. Это была яростная борьба съ французскими періодами, со всѣми формами французской рѣчи, совлеченіе старыхъ одеждъ съ собственныхъ идей и одѣяніе ихъ въ совершенно новыя. Словомъ, я долженъ былъ совмѣстить сознательное изученіе созрѣвшаго человека съ усиліями ребенка. Невѣроятный и неблагодарнѣйшій въ мірѣ трудъ, отъ котораго, смѣю утверждать, бѣжалъ бы всякій, кого не пожирало бы столь сильное пламя, какимъ охваченъ былъ я.

Закончивъ переводъ этихъ двухъ трагедій въ плохой прозѣ, я принялся изучать стихъ за стихомъ въ хронологическомъ порядкѣ нашихъ лучшихъ поэтовъ, очеркивая на поляхъ маленькими перпендикулярными черточками мысли, выраженія и созвучія, доставлявшія мнѣ большее или меньшее удовольствіе. Находя Данте еще

слишкомъ труднымъ, я взялъ Тассо, котораго до сихъ поръ не раскрывалъ. Я читалъ его съ такимъ кропотливымъ прилежаніемъ, заставляя себя разыскивать въ немъ тысячи отгѣнковъ, тысячи противорѣчивыхъ мыслей, что послѣ труда надъ десятью строфами, я не отдавалъ уже себѣ отчета, что прочелъ, и чувствовалъ себя болѣе усталымъ и истощеннымъ, чѣмъ сочиняя собственные стихи. Но понемногу приспособляясь къ такого рода чтенію, я прочелъ „Освобожденный Іерусалимъ“ Тассо, Аріостовскаго „Орландо“, затѣмъ Данте, безъ комментаріевъ, и, наконецъ, Петрарку, овладѣвая всѣмъ этимъ съ одного раза, и покрывая замѣтками страницы классиковъ. О пониманіи чисто историческихъ трудностей Данте я мало заботился; но когда не понималъ какого-нибудь выраженія, оборота рѣчи или отдѣльнаго слова, я готовъ былъ на какую угодно работу для разъясненія загадки. Часто приходилось ошибаться, но тѣмъ болѣе гордъ я былъ, когда изрѣдка удавалось добиться истины самому.

При этомъ первомъ чтеніи мой умъ, такъ сказать, страдалъ несвареніемъ прочитаннаго, и я совсѣмъ не усваивалъ истиннаго духа этихъ четырехъ великихъ свѣточей. Но потомъ пріучился вникать въ ихъ смыслъ, разбираться, наслаждаться ими и, можетъ быть, отчасти походить на нихъ самому.

Петрарка казался мнѣ еще болѣе труднымъ, чѣмъ Данте, и сначала нравился меньше. Ибо трудно почувствовать настоящее очарованіе поэта, если прилагаешь усилія къ самому пониманію его. Но предполагая писать бѣлымъ стихомъ (*verso sciolto*), я искалъ для себя образца въ этомъ родѣ поэзіи. Мнѣ посовѣтовали перевоцъ Стація, сдѣланный Бентиволіо.

Я читалъ и вдумывался въ него съ чрезвычайнымъ рвеніемъ, дѣлая помѣтки. Но структура стиха показала мнѣ нѣсколько вялой для трагическаго діалога. Друзья, руководившіе мною, посовѣтовали приняться за Оссіана, переведеннаго Чезаротти.

По первому впечатлѣнію его бѣлые стихи понравились,

поразили и захватили меня. Мнѣ показалось тогда, что съ легкимъ измѣненіемъ они могутъ служить отличной моделью для стихотворнаго діалога. Мнѣ хотѣлось также прочесть нѣсколько трагедій, итальянскихъ или переведенныхъ съ французскаго. Я надѣялся выяснитъ по нимъ свой стиль. Но читать ихъ оказалось невозможно. Такъ утомителенъ, вульгаренъ, плосокъ былъ ихъ стихъ и тонъ, не говоря уже о вялости мысли. Къ менѣе плохимъ принадлежали переводы съ французскаго Парадизи и оригинальная „Меропа“ Маффеи. Послѣдняя мѣстами нравилась мнѣ своимъ стилемъ; но многого ей не хватало, чтобы быть тѣмъ совершенствомъ, о которомъ я мечталъ.

Часто я спрашивалъ себя: „Почему нашъ божественный языкъ, такой мужественный, такой крѣпкій и гордый въ устахъ Данте, линяетъ и становится безполымъ въ трагическомъ діалогѣ? Почему стихъ Чезаротти, звучащій съ такимъ блескомъ въ Оссіанѣ, превращается у него въ вялое краснорѣчіе, когда онъ переводитъ Вольтеровскую „Семирамиду“ или „Магомета?“ Почему великолѣпный маэстро бѣлаго стиха Фругони, въ переведенномъ имъ „Радамистѣ“ Кребильона, настолько ниже Кребильона и даже себя самого? Въ этомъ виноватъ кто угодно, только не нашъ языкъ, такой гибкій и разнообразный въ формахъ. Но никто изъ моихъ друзей и учителей, къ которымъ я обращался за разрѣшеніемъ сомнѣній, не помогъ мнѣ въ этомъ. Добрѣйшій Пачіауди совѣтовалъ мнѣ не пренебрегать внимательнымъ чтеніемъ прозы, которую онъ называлъ кормилицей стиха. Припоминаю, что однажды онъ принесъ мнѣ „Галатео“ Казы, совѣтуя поразмыслитъ надъ оборотами его чистѣйшей, безъ малѣйшей примѣси чего-либо французскаго, тосканской рѣчи. Въ дѣтствѣ я ненавидѣлъ эту книгу — (какъ это случается со всѣми нами), мало пошимаая ее, и не сумѣлъ цѣнить; теперь я едва сдержался, уязвленный этимъ ребяческимъ или педантскимъ совѣтомъ. Все же развернулъ злополучнаго „Галатео“, хотя и неохотно. Но наткнувшись на первое

„Conciossiacosache“, которое тянетъ за собой безконечный хвостъ насыщеннаго и прѣснаго періода, я пришелъ въ такую ярость, что вышвырнулъ книгу въ окно, завопивъ не своимъ голосомъ: „Что за жестокая, гнусная необходимость въ двадцать семь лѣтъ кормиться такими ребяческими штукаами и сушить мозгъ педантской болтовней, только потому, что хочешь писать трагедіи“.

Пачіауди улыбнулся на мою поэтическую необузданность, граничившую съ невоспитанностью, и предсказалъ мнѣ, что когда-нибудь я вернусь къ „Галатео“ и не разъ буду перечитывать его. И дѣйствительно, это случилось со мной, но спустя долгіе годы, когда плечи мои достаточно окрѣпли для ярма грамматики. И не только „Галатео“, но всѣхъ нашихъ прозаиковъ XIV вѣка я прочелъ, дѣлая отмѣтки. Извлекъ ли я изъ этого что-нибудь важное для себя? Не знаю; несомнѣнно лишь то, что авторъ, который бы читалъ ихъ со вниманіемъ, изучая ихъ манеру до той степени, что сумѣлъ бы искусно воспользоваться золотомъ ихъ формы, откинувъ ветошь идей, такой авторъ — поэтъ, историкъ или философъ, кто бы онъ ни былъ—придалъ бы своему стилю такое богатство, отчетливость, чистоту, колоритность, какой еще нѣтъ ни у кого изъ нашихъ писателей. Почему?

Можегъ быть потому, что это огромная работа; и тѣ, у кого есть талантъ, кто сумѣлъ бы воспользоваться такими образцами, не хотятъ братья за дѣло; а кому ничего не дано, тѣ берутся напрасно.

Г л а в а II.

Я ПРИГЛАШАЮ УЧИТЕЛЯ ДЛЯ ТОЛКОВАНІЯ ГОРАЦІА.—ПЕРВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ПУТЕШЕСТВІЕ ВЪ ТОСКАНУ.

Въ началѣ 1776 года, проработавъ болѣе шести мѣсяцевъ надъ итальянскими авторами, я вдругъ почувствовалъ острый приступъ благороднаго стыда за свое не-

знаніе латыни; оно простиралось до того, что, встрѣчая случайно латинскія цитаты, даже самыя короткія, самыя простыя, я принужденъ былъ пропускать ихъ, чтобы не терять слишкомъ много времени. Переставъ читать по-французски и занявшись исключительно итальянскимъ, я отбросилъ и всю драматическую литературу. Это была еще причина, кромѣ стыда за свое невѣжество, заставившая меня приняться за новую тягостную работу, чтобы имѣть возможность читать трагедіи Сенеки, нѣкоторыя возвышенныя черты которыхъ меня захватывали.

Мнѣ хотѣлось также прочесть въ литературныхъ латинскихъ переводахъ греческія трагедіи; обыкновенно эти переводы болѣе вѣрны и менѣе скучны, чѣмъ наши безполезныя итальянскіе. Я вооружился терпѣніемъ и пригласилъ очень хорошаго учителя, который, начавъ съ Федра, замѣтилъ, къ своему большому удивленію и моему стыду, что я не понимаю его, хотя эти басни я читалъ и объяснялъ, когда мнѣ было десять лѣтъ. На самомъ дѣлѣ, когда я взялся переводить ихъ на итальянскій языкъ, я дѣлалъ невѣроятныя ошибки и самыя странныя промахи. Но неустрашимый учитель противопоставилъ невѣжеству моему—силу моей рѣшимости, и, вмѣсто Федра, далъ мнѣ Горація со словами: „не перейти ли намъ отъ труднаго къ легкому? Это больше подойдетъ вамъ. Отважimsя одолѣть этого труднѣйшаго короля латинской лирики—промахи расчистятъ намъ дорогу къ другимъ“.

Такъ мы и сдѣлали. Мы приступили къ Горацію безъ всякихъ комментаріевъ. И пробившись надъ нимъ отъ начала января до конца марта, ошибаясь, допуская выдумки, обманы, догадки, заблужденія, я пришелъ къ тому, что могъ толково переводить всѣ оды.

Это изученіе стоило мнѣ большого труда, но было чрезвычайно полезно, ибо ввело въ грамматику, не уводя отъ поэзіи.

Въ то же время я не прекращалъ чтенія съ замѣтками итальянскихъ поэтовъ; я даже познакомился съ нѣкоторыми новыми авторами, съ Казой и Полиціано. Потомъ

вернулся къ старымъ мастерамъ; Петрарку и Данте я перечелъ съ отмѣтками разъ пять въ теченіе четырехъ лѣтъ. Время отъ времени я принимался за трагическіе стихи и окончилъ, такимъ образомъ, стихотворныя переложенія „Филиппа“. И хотя онъ былъ менѣе вялъ, болѣе внушительнъ, чѣмъ „Клеопатра“, стихи его все же казались мнѣ утомительно растянутыми, скучными и пошлыми. Дѣйствительно, этотъ „Филиппъ“, который въ собраніи моихъ сочиненій докучаетъ публикѣ лишь четырнадцатю сотнями стиховъ, въ моихъ первыхъ попыткахъ заключалъ ихъ до двухъ съ лишнимъ тысячъ, гдѣ было меньше содержанія, чѣмъ въ тысячи четырехъ стахъ.

Длинноты и вялость стилиа, которую я болѣе былъ склоненъ приписывать своему перу, чѣмъ уму, убѣдили меня въ концѣ концовъ, что я никогда не буду хорошо говорить по-итальянски, если ограничусь переводомъ съ французскаго; это заставило меня отправиться, наконецъ, въ Тоскану, чтобы научиться тамъ говорить, понимать, думать и грезить именно по-итальянски, а не на какомъ иномъ языкѣ. Я выѣхалъ туда въ апрѣлѣ 1776 года, съ намѣреніемъ съ полгода оставаться въ Тосканѣ, льстя себя лживой надеждой, что такой срокъ достаточенъ, чтобы мнѣ „расфранцузиться“. Но шесть мѣсяцевъ не могли побѣдить печальной привычки почти цѣлаго десятилѣтія. Избравъ дорогу на Пьяченцу и Парму, я ѣхалъ медленно, то въ каретѣ, то верхомъ, въ компаніи моихъ маленькихъ карманныхъ поэтовъ, съ малымъ количествомъ багажа, всего съ тремя лошадьми, съ гитарой и надеждами на славную будущность. Благодаря Пачіауди, я познакомился въ Пармѣ, Моденѣ, Болоньѣ и Тосканѣ со всѣми лицами, составившими себѣ какое-нибудь имя въ литературѣ. И насколько мало я интересовался представителями этой профессіи въ прежнихъ путешествіяхъ, настолько жадно стремился теперь знакомиться съ выдающимися людьми перваго и даже втораго разбора. Такъ, въ Пармѣ я свелъ знакомство съ нашимъ знаменитымъ типографомъ Бодони, и его типо-

графія была первой, какую я посѣтилъ, хотя бывалъ въ Мадридѣ и въ Бирмингамѣ, гдѣ имѣются самыя замѣчательныя послѣ Бодони типографіи Европы. До сихъ поръ я не видѣлъ еще ни одной металлической буквы, ни одного изъ этихъ удивительныхъ орудій, которыя со временемъ должны были бы принести мнѣ славу или осмѣяніе. Тутъ мнѣ улыбнулась удача, потому что и придумать нельзя было для перваго посѣщенія лучшей мастерской и найти въ ней болѣе привѣтливаго, знающаго и умнаго руководителя, чѣмъ Бодони, чьи работы придавали такой блескъ этому замѣчательному искусству, которое онъ изо дня въ день совершенствуетъ.

Такъ мало-по-малу пробуждаясь отъ долгой и глубокой летаргіи, я сталъ видѣть и постигать—увы, немного поздно!—тысячи различныхъ вещей. Самымъ важнымъ для меня было то, что съ каждымъ днемъ я учился распознавать и взвѣшивать свои способности, умственные и литературныя, чтобы въ будущемъ не обмануться, насколько это возможно, при выборѣ рода писательства. Что касается до изученія себя самого, въ этомъ дѣлѣ я былъ менѣе новичкомъ, чѣмъ въ другихъ. Еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ я задавался дѣлюю распознаванія своего нравственнаго бытія и приступалъ къ этому съ перомъ въ рукахъ, не особенно идумываясь въ то, что писалъ. У меня было еще нѣчто въ родѣ дневника, который я имѣлъ терпѣніе писать въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, каждый день, и гдѣ велъ записъ не только моимъ каждодневнымъ глупостямъ, но также мыслямъ и тайнымъ побужденіямъ, руководившимъ словами и поступками.

Я хотѣлъ опредѣлять съ помощью этого тусклаго зеркала, становлюсь ли хоть немного лучше.

Я началъ этотъ дневникъ по-французски, а продолжалъ по итальянски; онъ былъ написанъ довольно плохо и на томъ и на другомъ языкѣ, но въ немъ сказалась оригинальность мысли и манеры чувствовать. Скоро я забросилъ его, и хорошо сдѣлалъ, такъ какъ это было лишь трагической времени и чернилъ. Очень часто мнѣ случалось находить, что я сталъ не лучше, а хуже, чѣмъ былъ наканунѣ.

Но изъ этого можно видѣть, что я былъ въ состояніи всесторонне судить о своихъ литературныхъ способностяхъ. Давъ себѣ строгій отчетъ въ томъ, чего мнѣ не хватало, и въ томъ немногомъ, что было дано природой, я постарался выдѣлать изъ недостающихъ мнѣ качествъ такія, какія могъ приобрести цѣликомъ, затѣмъ такія, которыхъ могъ достигнуть лишь отчасти и, наконецъ, тѣ, которыя были мнѣ совершенно недоступны. Я обязанъ этому серьезному самоизученію, если не всѣмъ моимъ успѣхамъ, то, по крайней мѣрѣ, тѣмъ, что я пробовалъ себя лишь въ такихъ областяхъ творчества, куда меня влекла неодолимо сила природныхъ склонностей, инстинктъ, проявляющійся во всѣхъ изящныхъ искусствахъ; но этотъ инстинктъ, конечно, совсѣмъ не то же, что плодотворная сила, которая дѣлаетъ изъ созданій художника совершенное произведеніе; однако, я горжусь, что не дѣйствовалъ вопреки тому инстинкту, о которомъ говорю.

Въ Пизѣ я познакомился со всѣми наиболѣе знаменитыми профессорами и извлекъ изъ этого знакомства все, что могъ, для своего искусства.

Въ моихъ встрѣчахъ съ ними замѣшательство мое,— а оно было велико,— выражалось въ томъ, что я разспрашивалъ ихъ съ большой сдержанностью, чтобы не обнаружить всего своего невѣжества; словомъ, если воспользоваться монашескимъ терминомъ, я хотѣлъ казаться постриженнымъ, будучи только послушникомъ. Не то, чтобы я желалъ и могъ разыгрывать изъ себя ученаго, но я такъ мало зналъ, что невольно стыдился своего невѣжества передъ новыми лицами. И по мѣрѣ того, какъ разсѣивались потемки, окутывавшія мой умъ, все болѣе гигантскія очертанія принималъ въ моихъ глазахъ призракъ моего рокового и неизбывнаго невѣжества.

Но велика была также и моя отвага. Когда я отдавалъ должное чьему-нибудь знанію, я не ощущалъ униженія отъ своего невѣжества, такъ какъ былъ убѣжденъ, что для сочиненія трагедій нужно прежде всего сильно чувствовать—свойство, которое не приобретается ученіемъ.

Мнѣ оставалось только научиться (и это было тоже не мало) искусству заставить другихъ чувствовать то, что я самъ испытывалъ.

За шесть или семь недѣль, прожитыхъ мною въ Пизѣ, я задумалъ и выполнилъ довольно хорошей тосканской прозой трагедію „Антигона“ и переложилъ въ стихи моего „Полиника“ менѣе худо, чѣмъ „Филиппа“. Мнѣ захотѣлось прочесть „Полиника“ передъ университетскимъ ареопагомъ. Профессора, казалось, остались довольны трагедіей, въ которой лишь кое-гдѣ поправили отдѣльныя выраженія, далеко не съ той строгостью, какой эта вещь заслуживала. Изрѣдка попадались въ этихъ стихахъ удачно сказанныя слова, но весь стиль, на мой взглядъ, былъ тягучъ, вялъ и грубоватъ; профессора же, критиковавшіе отдѣльныя мѣста, находили его въ общемъ звучнымъ и плавнымъ. Мы не могли понять другъ друга. Что для меня было вялымъ и пошлымъ, имъ казалось звучнымъ и плавнымъ. Что касается до неправильностей, это былъ вопросъ факта, а не вкуса, и объ этомъ не приходилось спорить. И въ вопросахъ вкуса я былъ очень покладистъ, и такъ же хорошо игралъ роль ученика, какъ они—учителей. По существу—и это прежде всего,—я хотѣлъ нравиться себѣ самому. Дѣло свелось къ тому, что я учился у этихъ господъ, какъ не должно писать, возложивъ на время, на себя самого, на собственный опытъ и упорство заботу объ изученіи того, какъ нужно писать. Если бы я захотѣлъ повеселить читателя за счетъ этихъ ученыхъ критиковъ подобно тому, какъ, можетъ быть, и они потѣшались надо мной, достаточно было бы назвать одного изъ нихъ, самаго знаменитаго, который принесъ мнѣ „Танчіа“ Буонаротти, не скажу, какъ образецъ, но какъ полезное пособіе при изученіи трагедіи; по его мнѣнію, это очень полный сборникъ удачныхъ оборотовъ рѣчи и выраженій.

Это равносильно тому, какъ если бы художнику, занимавшемуся исторической живописью, посоветовали изучать Калло. Одинъ расхваливалъ мнѣ стиль Метастазіо, пре

восходный, по его словамъ, для трагедіи. Другой рекомендовалъ еще кого-нибудь, но никто изъ этихъ ученыхъ не былъ самъ свѣдущимъ въ области трагедіи.

Во время пребыванія въ Пизѣ, я переводилъ прозой, ясной и простой, „Ars poetica“ Горація, чтобы запечатлѣть въ умѣ своемъ его искусныя и разумныя правила. Съ большимъ прилежаніемъ читалъ я также трагедіи Сенеки, хотя вполнѣ сознавалъ, что Сенека очень далекъ отъ правилъ Горація, но есть въ его произведеніяхъ нѣсколько истинно возвышенныхъ чертъ, которыя меня приводили въ восторгъ, и я стремился облечь ихъ въ бѣлые стихи, что вдохновляло меня самого на писаніе стиховъ въ высококомъ стилѣ и, кромѣ того, помогало изученію итальянскаго и латинскаго языковъ.

Эти попытки привели меня къ пониманію, какъ велика разница между ямбическимъ и эпическимъ стихомъ, въ которыхъ, благодаря неодинаковости ритма, ясно чувствуется все, чѣмъ отличается діалогъ отъ всякаго другого рода поэзіи. Тутъ же я понялъ, что такъ какъ въ итальянской поэзіи существуетъ только одиннадцатистопный стихъ для героическихъ произведеній, являлось необходимою создать особое расположеніе словъ, разнообразное пониженіе звуковъ, сильные и быстрые переходы фразъ, которые помогли бы различать съ полной ясностью бѣлый стихъ трагедіи отъ всякаго другого стиха, какъ бѣлаго, такъ и рифмованнаго, какъ эпическаго, такъ и лирическаго.

Ямбы Сенеки убѣдили меня въ этой истинѣ и, можетъ быть, дали мнѣ средства извлечь изъ нея пользу. Нѣкоторыя изъ наиболѣе мужественныхъ и гордыхъ чертъ этого писателя половиной своей величавой энергіи обязаны прерывистому и лишенному пѣвучести метру. И нужно быть лишеннымъ уха, чтобы не замѣтить громадной разницы между слѣдующими двумя стихами—Виргилія, очаровывающаго и плѣняющаго читателя:

Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum;

и Сенеки, который хочетъ поразить, подавить слу-

шателя и въ двухъ словахъ характеризуетъ двухъ совершенно различныхъ дѣйствующихъ лицъ:

Concede mortem.

Si recusares, darem.

Ни одинъ итальянскій трагикъ не долженъ отнынѣ, изображая высшую степень страсти или ужаса, вкладывать въ уста своихъ героевъ стиховъ, которые ничѣмъ бы не напоминали изумительныхъ, величавыхъ строфъ нашего эпика:

Chiama gli abitator dell'ombre eterne

Il gaucio suon della tartarea tromba.

Убѣжденный въ глубинѣ души въ необходимости сохранять между этими двумя стилями существенную разницу, что для итальянца особенно трудно, такъ какъ онъ долженъ создать ее, не выходя изъ того же метра, я очень мало подчинялся мнѣніямъ пизанскихъ мудрецовъ въ томъ, что касалось самой глубины драматическаго искусства и стиля. Но за то терпѣливо и смиренно прислушивался ко всему въ ихъ устахъ, что касалось чистоты тосканскаго нарѣчія и грамматики вообще, хотя, надо сказать, даже въ этомъ тосканцы нашего времени далеко не безупречны.

И вотъ, наконецъ, меньше, чѣмъ черезъ годъ послѣ представленія моею „Клеопатры“, я сталъ авторомъ трехъ новыхъ трагедій. Чтобы быть вполне искреннимъ, я хочу здѣсь признаться, изъ какихъ источниковъ я извлекъ ихъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ я читалъ романъ „Донъ-Карлосъ“—аббата Сенъ-Реаля, и мой Филиппъ, французъ по рожденію, явился отголоскомъ этого чтенія. „Полиникъ“ также галлъ: я извлекъ его изъ „Братьевъ-враговъ“ Расина. „Антигона“, первая изъ моихъ работъ, незапятнанная иностраннымъ происхожденіемъ, зародилась у меня, когда я читалъ двѣнадцатую книгу Стація въ переводѣ Бентивольо, о которомъ упоминалось выше.

Въ „Полиника“ я тоже включилъ нѣсколько чертъ, заимствованныхъ у Расина, а также изъ „Семи вождей“ Эсхила, которые прочелъ съ грѣхомъ пополамъ во

французскомъ пересказѣ отца Брюмуа. И у меня явилось желаніе на будущія времена не читать чужихъ трагедій раньше, чѣмъ будутъ окончены мои; въ виду того, что мнѣ случилось брать уже использованные сюжеты, я хотѣлъ избѣжать упрековъ въ плагиатѣ и заблуждаться или достигать хорошихъ результатовъ самостоятельно. Много читать передъ началомъ собственной работы опасно потому, что невольно можешь украсть, и потеряешь свое, если его и имѣешь. По этой именно причинѣ въ теченіе года я не бралъ въ руки Шекспира (кромѣ того, онъ попадался мнѣ во французскомъ переводѣ).

Но чѣмъ болѣе мой умъ осваивался съ особенностями этого поэта, всѣ недостатки котораго я изучилъ подѣ конецъ, тѣмъ сильнѣе крѣпло желаніе воздержаться отъ чтенія его.

Едва закончилась моя „Антигона“ въ прозѣ, какъ, воспламененный громомъ Сенеки, я задумалъ одновременно двѣ трагедіи, родственныя по духу, „Агамемнона“ и „Ореста“.

И все же, мнѣ кажется, что на нихъ нельзя смотрѣть, какъ на воровство у Сенеки.

Въ концѣ іюня я оставилъ Пизу и направился во Флоренцію, гдѣ прожилъ весь сентябрь. Тамъ я приложилъ всѣ усилія, чтобы овладѣть разговорнымъ языкомъ, и благодаря каждодневнымъ бесѣдамъ съ флорентинцами цѣль моя была отчасти достигнута. Съ этой поры я началъ думать почти исключительно на этомъ нарѣччіи, столь изящномъ и богатомъ; это первое и необходимѣйшее условіе, чтобы хорошо писать на немъ.

Во Флоренціи я вторично переложилъ въ стихи „Филлиппа“ съ начала до конца, не заглядывая въ прежніе стихи, и руководствуясь лишь прозаическимъ текстомъ. Но подвигался я такъ медленно, что нерѣдко мнѣ казалось, что я иду не впередъ, а назадъ.

Въ одно августовское утро, въ кругу писателей, кто-то случайно напомнилъ мнѣ историческій анекдотъ о донъ-Гарсіа, убитомъ рукой его отца, Козимо 1-го. Я былъ

потрясенъ, и такъ какъ этотъ фактъ не былъ опубликованъ въ печати, я досталъ манускриптъ разсказа, хранившійся въ общественныхъ архивахъ Флоренціи. И съ того дня я задумалъ трагедію. Я долго корпѣлъ надъ злополучными риемами; во Флоренціи у меня не было цензора друга, который могъ бы замѣнить мнѣ Тана и Пачіауди; однако, у меня хватило разсудительности, чтобы никому не давать копіи этихъ стиховъ, и достаточно скрытности, чтобы декламировать ихъ лишь изрѣдка. Я не впалъ въ отчаяніе отъ малоуспѣшности своего писанія; напротивъ, пришелъ къ заключенію, что надо не переставая читать и выучивать наизусть образцы поэзіи, чтобы освоиться съ поэтическими формами.

Въ теченіе лѣта я утопалъ въ стихахъ Петрарки, Данте, Тассо, я прибавилъ къ нимъ цѣлыхъ три пѣсни Аріосто, убѣжденный глубоко, что неизбѣжно настанетъ день, когда всѣ эти формы, фразы, выраженія встанутъ въ моемъ мозгу, слившись воедино съ моими собственными мыслями и чувствами.

Глава III.

Я УПОРНО ПРЕДАЮСЬ САМЫМЪ НЕБЛАГОДАРНЫМЪ ЗАНЯТІЯМЪ.

Въ октябрѣ я вернулся въ Туринъ, но не потому, что считалъ себя достаточно тосканизированнымъ, а лишь по той причинѣ, что не принялъ заранѣе всѣхъ необходимыхъ мѣръ, чтобы остаться подольше внѣ дома. Много другихъ легкомысленныхъ мотивовъ заставляло меня возвратиться. Въ Туринѣ оставались мои лошади, о чемъ я не могъ забыть. Страсть къ лошадямъ съ давнихъ поръ боролась въ моемъ сердцѣ съ неменьшей страстью къ музамъ, и лишь спустя годъ она утратила свою остроту. Съ другой стороны, мои занятія и слава не закладѣли мной настолько, чтобы не жалила меня по време-

намъ жажда развлеченій. Много имѣлось причинъ для переѣзда въ Туринъ, гдѣ у меня былъ хорошій домъ, разнообразныя связи, сколько угодно лошадей, и друзей и забавъ больше, чѣмъ нужно. Несмотря на это, зима не внесла замедленія въ ходъ моихъ занятій. Наоборотъ, я расширилъ границы своихъ обязанностей и дѣлъ. Одолѣвъ всего Горация, я читалъ, размышляя надъ каждой строчкой, много другихъ писателей, и въ числѣ ихъ Саллюстія.

Изящество и точность этого историка мнѣ настолько прилипли по сердцу, что я серьезно взялся за переводъ его произведеній, и въ теченіе зимы привелъ его къ концу. Я бесконечно много возился съ этой работой, передѣлывалъ, исправлялъ—пожалуй безъ особой пользы для самого произведенія, но съ несомнѣнной выгодой для себя: она помогла мнѣ лучше усвоить латынь и сдѣлала болѣе искуснымъ въ обращеніи съ итальянскимъ языкомъ.

Въ это время вернулся изъ Португаліи несравненный аббатъ Томмазо ди Калуго, и, заставъ меня, противъ ожиданія, погруженнымъ въ серьезныя занятія литературой и упорствующимъ въ покушеніи сдѣлаться трагическимъ поэтомъ, онъ сталъ помогать мнѣ, давалъ совѣты, пользуясь всѣми своими познаніями, съ несказаннымъ доброжелательствомъ и любезностью. Также поступилъ и графъ Санъ Рафаэле, весьма образованный человекъ, съ которымъ я познакомился въ этомъ году, и нѣсколько другихъ лицъ, старшихъ меня по возрасту, познаніямъ и опыту въ искусствѣ, участливо отнеслись ко мнѣ и старались всячески поддержать мою энергію, что при кипучести моей натуры было, впрочемъ, излишнимъ. Но я храню и буду хранить всю жизнь глубокую благодарность ко всѣмъ этимъ достойнымъ людямъ за терпѣніе, съ какимъ они сносили несносную буйность моего нрава, которая смирялась, между прочимъ, съ каждымъ днемъ, по мѣрѣ того, какъ расширялся кругъ моихъ познаній.

Къ концу 1776 года я пережилъ одно сладостное утѣшеніе, котораго давно и томительно жаждалъ.

Разъ утромъ я отправился къ Тана, которому обычно со страхомъ и трепетомъ носилъ только что написанные стихи, и далъ ему сонетъ, въ которомъ онъ почти не нашелъ недостатковъ и очень хвалилъ его, какъ первые стихи, достойные названія стиховъ. Послѣ столькихъ неудачъ и униженій цѣлыхъ годовъ, когда каждое мое произведеніе вызывало въ немъ безпощадную критику истиннаго и великодушнаго друга, объяснявшаго причины своего сужденія, съ которымъ я всегда соглашался,— предоставляю судить, какимъ сладкимъ нектаромъ была для меня его неожиданная, искренняя похвала. Темой этого сонета были похищеніе Ганимеда, подражаніе неподражаемому сонету Кассіани на похищеніе Призершины. Я напечаталъ его первымъ въ моемъ собраніи стихотвореній. Вдохновленный успѣхомъ, я написалъ еще два сонета, сюжетъ которыхъ заимствованъ изъ басни; оба они подражательнаго характера, какъ и первый, непосредственно за которымъ я помѣстихъ ихъ. На всѣхъ нихъ лежитъ отпечатокъ первоисточниковъ, но, если не заблуждаюсь, они обладаютъ достоинствами изящества и ясности, чего раньше у меня не встрѣчалось. Изъ-за этого я рѣшилъ сохранить ихъ и напечаталъ много позже почти безъ измѣненій. Вслѣдъ за этими тремя сонетами тѣсно новый родникъ забилъ во мнѣ: въ теченіе этой зимы появились въ немаломъ количествѣ другіе, въ большей части сонеты любви, но продиктованные не любовью. Съ единственной цѣлью упражненія въ языкѣ я принялся описывать въ нихъ одну за другой вѣщія прелести одной очень любезной и очень очаровательной дамы. Въ сердцѣ моемъ не было ни искры по отношенію къ ней и, можетъ быть, это можно видѣть и по сонетамъ, болѣе описательнымъ, чѣмъ вѣжнымъ. Но такъ какъ стихи въ нихъ были не такъ ужъ плохи, мнѣ захотѣлось сохранить ихъ всѣ и дать имъ мѣсто среди моихъ произведеній. Тотъ, кто понимаетъ что-нибудь въ поэзіи, можетъ прослѣдить по нимъ со дня на день успѣхъ мой въ трудномъ искусствѣ хорошаго слога, безъ котораго нѣтъ сонета, какъ бы ни былъ онъ прекрасно задуманъ и выполненъ.

1777.

Успѣхи мои въ искусствѣ стихосложенія и переводѣ Саллюстія, приведенный къ большой краткости при достаточной ясности (однако, проза моя была еще лишена той разнообразной, специфической гармоніи, которая свойственна хорошей прозѣ)—эти успѣхи преисполнили мое сердце горячими надеждами. Но такъ какъ все, что я дѣлалъ или пытался дѣлать, имѣло для меня въ то время первой и единственной цѣлью формированіе собственнаго стиля для трагедіи, то я не разъ отрывался отъ этихъ второстепенныхъ занятій ради главнаго. Въ апрѣлѣ 1777 года я переложилъ въ стихи „Антигону“, которую задумалъ и написалъ, какъ ужъ упоминалъ о томъ, годъ назадъ въ Пизѣ. Я окончилъ эту работу приблизительно въ три недѣли и, замѣтивъ относительную легкость, съ какой она мнѣ давалась, подумалъ, что мнѣ удалось создать нѣчто совершенное. Но когда я прочелъ мое произведеніе въ литературномъ обществѣ, гдѣ мы собирались почти каждый вечеръ, я прозрѣлъ и, не взирая на похвалы аудиторіи, понялъ, къ великому моему прискорбію, какъ въ дѣйствительности далека была еще отъ того языка, идеалъ котораго столь глубоко запечатлѣлся въ моемъ умѣ, но овладѣть которымъ я еще не могъ.

Похвалы образованныхъ друзей убѣдили меня, что тамъ, гдѣ дѣло касалось страстей и интриги, я, можетъ быть, овладѣлъ трагедіей; но ухо мое и разумъ подсказывали, что въ смыслѣ стиля она совершенно не удалась. И никто другой, кромѣ меня, не могъ такъ судить о ней послѣ перваго чтенія; ибо тревожное, взволнованное любопытство, которое будитъ впервые читаемая трагедія, ведетъ къ тому, что слушатель, какъ бы ни былъ тонкъ его вкусъ, не можетъ, не хочетъ и не долженъ серьезно прислушиваться къ словамъ. Все, что не окончательно схвачено, проходитъ незамѣтнымъ и не кажется отталкивающимъ. Но я, знакомый до этого съ трагедіей,—которую теперь читалъ, слишкомъ хорошо разбирался

каждый разъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ искаженная или ослабѣвшая мысль и чувство для своего воплощенія находили лишь фразы, лишенные правдивости, жизни, краткости, силы и величія.

Убѣдившись, что я еще не достигъ цѣли, и что виною этому моя разсѣянная жизнь въ Туринѣ, гдѣ я почти не бывалъ наединѣ съ искусствомъ, я принялъ рѣшеніе вернуться въ Тоскану, въ которой мой языкъ скорѣе и легче сталъ бы болѣе итальянскимъ. Правда, и въ Туринѣ я никогда не говорилъ по-французски, но нашъ пьемонтскій діалектецъ, которымъ я безпрестанно пользовался, былъ не меньшей помѣхой для того, чтобы научиться думать и писать по-итальянски.

Г л а в а IV.

ВТОРОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ПУТЕШЕСТВІЕ ВЪ ТОСКАНУ, ИСПОРЧЕННОЕ ГЛУПОЙ РОСКОШЬЮ (УВЛЕЧЕНІЕ ЛОШАДЬМИ). ДРУЖБА СЪ ГАНДЕЛЛИНИ. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЯ ИЛИ ЗАДУМАННЫЯ ВЪ СІЕНѢ.

Я пустился въ путь въ первыхъ числахъ мая, снабженный, какъ всегда, разрѣшеніемъ короля выѣхать за предѣлы любезнаго отечества.

Министръ, къ которому я обратился за разрѣшеніемъ, отвѣтилъ мнѣ, что я уже былъ годъ тому назадъ въ Тосканѣ. „Потому-то я и намѣреваюсь вернуться туда и въ этомъ году“, пояснилъ я. Позволеніе было дано, но самое это слово навело меня на мысли и планы, которые черезъ годъ я привелъ въ осуществленіе, и которые извѣщали меня въ будущемъ отъ просьбъ такого рода. Такъ какъ это второе путешествіе было рассчитано на болѣе большой срокъ, чѣмъ прежде, и такъ какъ къ мечтамъ моимъ о настоящей славѣ примѣшивалось и тщеславіе, я взялъ съ собой больше слугъ и лошадей, чтобы сразу играть двѣ роли, очень рѣдко совмѣстимыя—роль поэта и вельможи.

Цѣлымъ поѣздомъ, состоящимъ изъ восьми лошадей и всего прочаго, соотвѣтствующаго обстоятельствамъ, я отбылъ въ Геную. Тамъ я съ багажомъ и маленькой коляской сѣлъ на корабль, отправивъ лошадей сухимъ путемъ черезъ Леричи и Сарцану. Онѣ благополучно прибыли раньше меня. Фелука, на которой я плылъ, почти у самого Леричи была отнесена назадъ вѣтромъ, и я былъ вынужденъ пристать въ Рапалло, всего въ двухъ станціяхъ отъ Генуи. Высадившись на берегъ, я не желалъ ждать благопріятнаго вѣтра для отплытія въ Леричи; оставилъ на фелукѣ всѣ свои вещи, кромѣ нѣсколькихъ рубашекъ, взялъ рукописи, съ которыми больше не разставался, и одного изъ слугъ, и на почтовыхъ, по ужаснымъ дорогамъ каменистыхъ Апеннинъ, направился въ Сарцану, гдѣ встрѣтилъ своихъ лошадей и гдѣ пришлось поджидать фелуки еще восемь дней. Несмотря на то, что я могъ развлекаться лошадьми, изъ книгъ же со мной были только карманные Гораций и Петрарка, я очень скучалъ въ Сарцанѣ. Священникъ, братъ почтмейстера, одолжилъ мнѣ Тита Ливія, творенія котораго не попадали мнѣ въ руки со времени академіи, гдѣ я не могъ ни наслаждаться ими, ни понимать ихъ.

И хотя я былъ страстнымъ поклонникомъ краткости Саллюстія, меня живо захватила возвышенность сюжета и величавость рѣчей Тита Ливія. Прочитавъ у этого историка о смерти Виргиніи и пламенныя рѣчи Ицилія, я пришелъ въ такой восторгъ, что тутъ же у меня зародилась мысль о трагедіи. И я написалъ бы ее въ одинъ присѣсть, если бы не былъ взволнованъ постояннымъ ожиданіемъ этой проклятой фелуки, прибытіе которой могло прервать меня въ самый разгаръ сочинительства.

Здѣсь, для освѣдомленія читателя, я хочу рассказать, что я подразумѣваю подъ словами, которыми такъ часто пользуюсь—задумать, изложить и переложить въ стихи. За каждую изъ своихъ трагедій я принимаю троекратно, и это очень полезно въ смыслѣ времени, необходимаго для вынашиванія серьезнаго произведенія;

ибо, если оно дурно зачато, то трудно его привести къ совершенству.

З а д у м а т ь трагедію это значить, по моему, распре- дѣлить сюжетъ по сценамъ и актамъ, и установить число дѣйствующихъ лицъ и мѣсто дѣйствія; потомъ на двухъ страницахъ плохой прозы пересказать въ послѣдователь- ныхъ сценахъ все, что они должны дѣлать и говорить. Взять эти листки бумаги, и соотвѣтственно указаніямъ, въ нихъ изложеннымъ, заполнить сценами и діалогами въ прозѣ всю трагедію, не отбрасывая ни одной мысли и со всѣмъ вдохновеніемъ, на какое способенъ, однако, мало заботясь о стилѣ, это я называю изложеніемъ. Подъ переложеніемъ въ стихи я разумѣю не только обращеніе прозы въ стихи, но также и выборъ съ по- мощью ума, до сихъ поръ бездѣйствовавшего, лучшихъ мыслей среди длиннотъ перваго наброска, возведеніе ихъ до поэзіи и удобочитаемости. Тутъ нужно, какъ и во вся- комъ другомъ творествѣ, сглаживать, вычеркивать, мѣнять. Но если трагедія не удалась въ замыслѣ и развитіи, я сомнѣваюсь, чтобы ей можно было дать жизнь отдѣлкой деталей. Этимъ приемомъ я пользовался во всѣхъ своихъ драматическихъ сочиненіяхъ, начиная съ „Филиппа“, и я могу утверждать, что въ немъ заключается двѣ трети всей работы.

И дѣйствительно, если послѣ извѣстнаго промежутка времени, когда совершенно забывалось первоначальное распредѣленіе сценъ, мнѣ случайно попадался этотъ на- бросокъ, и я сразу чувствовалъ при каждой сценѣ гроз- ный приступъ чувствъ и мыслей, которыя вдохновляли меня и, такъ сказать, заставляли работать: это значило, что мой планъ хорошъ и вытекаетъ изъ самыхъ нѣдръ сюжета. Если же, наоборотъ, я не находилъ въ себѣ энтузіазма, равнаго или большаго, чѣмъ тотъ, съ которымъ я набрасывалъ свой эскизъ, я мѣнялъ его или уничтожалъ. Но какъ только планъ былъ мною одобренъ, развитіе подвигалось очень быстро. Я писалъ по акту въ день, иногда больше, и очень рѣдко меньше, и обычно на шестой день трагедія была готова, хоть и не вполне закончена.

Такимъ образомъ, полагаясь исключительно на судъ собственнаго чувства, я никогда не приводилъ къ концу трагедій, для которыхъ у меня не находилось такого бурнаго энтузіазма, и, во всякомъ случаѣ, не перелагалъ въ стихи. Такова была судьба „Карла I-го“, за котораго я взялся тотчасъ послѣ „Филиппа“, намѣреваясь изложить его по-французски; на третьемъ актѣ перваго наброска сердце мое и рука настолько охладились, что перо совершенно отказалось продолжать работу.

То же самое произошло съ „Ромео и Джульеттой“; я написалъ ее цѣликомъ, хотя съ усиленіемъ и отвращеніемъ. Спустя нѣсколько мѣсяцевъ, когда я захотѣлъ вернуться къ этому злополучному эскизу и сталъ перечитывать его, онъ такъ заморозилъ мнѣ сердце и поднялъ во мнѣ такой гнѣвъ, что вмѣсто скучнаго чтенія, я бросилъ рукопись въ огонь. Изъ характеристики этого метода, которую мнѣ хотѣлось дать здѣсь во всѣхъ подробностяхъ, вытекаетъ, можетъ быть, одно,—то, что въ общемъ всѣ мои трагедіи, несмотря на многочисленные недостатки, которые я самъ замѣчалъ, и тѣ, которыхъ я, быть можетъ, не вижу, имѣютъ одно дѣйствительное, или кажущееся достоинство: въ большинствѣ своемъ онѣ созданы однимъ порывомъ, завязаны однимъ узломъ, такимъ образомъ, что мысли, стиль, дѣйствіе пятаго акта, находятся въ полной гармоніи со стилемъ и мыслями четвертаго и въ той же послѣдовательности восходятъ къ первымъ стихамъ перваго акта; что, по меньшей мѣрѣ, поддерживаетъ вниманіе слушателя и внутренній жаръ дѣйствія.

Когда трагедія находится на такой ступени развитія, что поэту остается только перелить ее въ стихи и отдѣлить свинецъ отъ золота, ни тревожное состояніе ума, сопровождающее работу надъ стихами, ни страстное стремленіе къ изящному, столь трудно осуществимое, не могутъ уже мѣшать этому вдохновенному подъему, которому необходимо слѣпо ввѣряться при замыслѣ и созиданіи произведеній, исполненныхъ ужаса и страсти.

Если тѣ, кто придетъ послѣ меня, вынесутъ приговоръ,

что мой методъ привелъ меня къ цѣли болѣе удачно, тѣмъ другіе, это маленькое отступленіе можетъ со временемъ поставить на путь истинный и укрѣпить силы какого-нибудь новичка въ искусствѣ, которымъ я занимаюсь. Если же я впадаю въ ошибку, другіе воспользуются моимъ методомъ, чтобы создать лучшей.

Возвращаюсь къ нити своего повѣствованія. Наконецъ, прибыла въ Леричи фелука, столь нетерпѣливо ожидаемая; получивъ свои вещи, я отправился изъ Сарцаны непосредственно въ Пизу, причемъ къ моему поэтическому багажу прибавилась еще „Виргинія“,—сюжетъ необычайно соотвѣтствующій моему настроенію. Я далъ себѣ обѣщаніе не оставаться на этотъ разъ въ Пизѣ дольше двухъ дней; отчасти потому, что надѣялся извлечь больше изъ пребыванія въ Сіенѣ, гдѣ лучше говорятъ и гдѣ меньше иностранцевъ; отчасти потому, что въ прошлое пребываніе въ Пизѣ, годъ назадъ, я почти влюбился въ одну прекрасную дѣвицу изъ знатной семьи, щедро надѣленную дарами судьбы; родители охотно выдали бы ее за меня замужъ, если бы я сдѣлалъ предложеніе. Но годы сдѣлали меня болѣе зрѣлымъ и это было уже не то время, когда въ Туринѣ я далъ согласіе зятю просить для меня руку молодой дѣвушки, которая къ тому же и отказала мнѣ. На этотъ разъ я не позволилъ бы просить за меня передъ той, которая, вѣроятно, не отвергла бы меня, подходила мнѣ по характеру и во всѣхъ другихъ отношеніяхъ и, вдобавокъ, не мало нравилась мнѣ. Съ той поры минуло восемь лѣтъ; худо ли, хорошо ли, я объѣздалъ почти всю Европу, и любовь къ славѣ, страсть къ работѣ, необходимость быть свободнымъ, чтобы сдѣлаться искреннимъ и безстрашнымъ писателемъ, были тѣми силами, которыя влекли меня мимо; вмѣстѣ съ тѣмъ сердце сурово заявляло, что довольно, слишкомъ довольно и того, что живешь подъ властью тиранніи одинъ, и что ни за какія блага не стоитъ въ этомъ положеніи становиться мужемъ и отцомъ.

Итакъ, я переѣхалъ черезъ Арно и скоро попалъ въ

Сиену. Я всегда буду благословлять ту минуту, когда прибылъ сюда, такъ какъ здѣсь я собралъ возлѣ себя кружокъ изъ шести-семи лицъ, одаренныхъ пониманіемъ, критическимъ чутьемъ, вкусомъ и образованностью; трудно было рассчитывать на это въ столь маленькомъ городѣ.

Среди всѣхъ нихъ выдѣлялся достойный Франческо Гори Ганделлини; я часто упоминалъ о немъ въ различныхъ моихъ писаніяхъ, и сладостная, дорогая память о немъ никогда не исчезнетъ изъ моего сердца. Нѣкоторое сходство между нашими характерами, одинаковая манера мыслить и чувствовать (гораздо болѣе замѣчательная и болѣе цѣнная въ немъ, чья жизнь такъ отличалась отъ моей), одинаковая потребность облегчить сердце отъ бремени страстей,—все это очень скоро соединило насъ узами живѣйшей дружбы. Эти узы чистой и святой дружбы составляли и составляютъ для меня, при моей манерѣ мыслить и жить, первѣйшую необходимость.

Но мой упрямый, замкнутый, тяжелый характеръ дѣлаетъ меня и будетъ дѣлать до конца дней неспособнымъ внушать другимъ это чувство, которому я самъ также открываю доступъ съ большимъ трудомъ. Отъ этого въ теченіе всей моей жизни у меня было очень мало друзей; но я горжусь тѣмъ, что всѣ они были добрыми друзьями и всѣ были лучше меня.

Съ своей стороны, я всегда искалъ въ дружбѣ взаимныхъ признаній въ человѣческихъ слабостяхъ, гдѣ дружеское пониманіе и нѣжность помогли бы мнѣ исправиться, улучшить то, что достойно порицанія, укрѣпить противоположное и возвысить то немногое, заслуживающее похвалы, что дѣлаетъ человѣка полезнымъ для другихъ и достойнымъ собственнаго уваженія.

Такова, напримѣръ, была моя слабость—желаніе сдѣлаться писателемъ. И здѣсь благородные и любящіе со-вѣты Ганделлини были мнѣ великой опорой и сильно меня подбодрили. Живѣйшее желаніе быть достойнымъ уваженія этого рѣдкаго человѣка прибавило сразу какъ бы новую пружину моему духу и такъ оживило мой умствен-

ныя способности что я чувствовалъ, что не могу найти себѣ мѣста, пока не создамъ произведенія, которое было бы или казалось бы мнѣ достойнымъ его. Я только тогда наслаждался вполнѣ проявленіемъ своихъ умственныхъ и творческихъ способностей, когда мое сердце было переполнено, и когда духъ мой чувствовалъ опору и поддержку въ дорогомъ мнѣ существѣ. Когда же этой опоры не хватало и я оставался, такъ сказать, одинъ во всемъ мірѣ и смотрѣлъ на себя, какъ на ненужное никому, никѣмъ не любимое созданіе, я впадалъ въ такую меланхолю, разочарованіе и отвращеніе ко всему, и эти приступы такъ часто возобновлялись, что я приводилъ цѣлые дни и недѣли безъ всякаго желанія и возможности взяться за книгу или за перо.

Чтобы заслужить одобреніе столь уважаемаго лица, какимъ былъ для меня Гори, я работалъ этимъ лѣтомъ съ большимъ жаромъ, чѣмъ когда бы то ни было. Имъ же была внушена мнѣ идея обработать для театра „Заговоръ Пацци“. Событіе это было мнѣ совершенно неизвѣстно, и онъ посовѣтовалъ мнѣ прочесть о немъ у Маккіавелли, предпочтительно передъ всякими другими историками. И по странному совпадению, произведенія этого божественнаго писателя, которому вскорѣ суждено было стать предметомъ моихъ восторговъ, снова попали мнѣ въ руки благодаря новому другу, во многомъ напоминавшему столь любимаго мною д'Акуна, но болѣе свѣдущаго и ученаго, чѣмъ былъ тотъ.

И дѣйствительно, хотя для принятія и возвращенія такого посѣва почва и не была еще достаточно подготовлена, я прочелъ безъ всякаго порядка въ теченіе іюля довольно много отрывковъ изъ Маккіавелли, кромѣ описанія заговора. Послѣ этого я не только создалъ планъ своей трагедіи, но захваченный этой манерой изложенія, столь оригинальной и столь заманчивой, я долженъ былъ забросить на нѣсколько дней всѣ остальные занятія, и точно вдохновленный этимъ возвышеннымъ гениемъ, однимъ духомъ написалъ двѣ книги „Тираниннi“ въ такомъ или

въ приблизительно такомъ видѣ, какими я позже выпустилъ ихъ въ свѣтъ.

Это было изліяніе переполненной души, израненной съ дѣтства стрѣлами ненавистнаго гнета, тяготящаго надъ всѣмъ міромъ.

Если бы я взялся за этотъ сюжетъ въ болѣе зрѣломъ возрастѣ, безъ сомнѣнія, я иначе бы обработалъ его и призвалъ бы на помощь исторію. Но когда я отдавалъ книгу въ печать, мнѣ не хотѣлось холодомъ прожитыхъ лѣтъ и педантизмомъ познаній ослаблять огонь молодости и честнаго, великодушнаго негодованія, которыми, какъ мнѣ казалось, сверкала здѣсь каждая страница, не теряя отъ этого извѣстной правильности и убѣдительности сужденій. И если я нахожу въ ней ошибки или декламацию—это всегда результатъ неопытности, а не проявленіе дурной души. Поэтому, я ничего не измѣнялъ въ ней. Въ книгѣ нѣтъ ничего закулиснаго, ничто въ ней не продиктовано мотивомъ личнаго мщенія. Быть можетъ, она не чужда заблужденій чувства и преувеличеній страсти. Но можетъ ли быть преувеличеннымъ взрывъ страсти, когда дѣло идетъ объ истинѣ и справедливости, и въ особенности о томъ, чтобы заразить этою страстью другихъ; я сказалъ лишь то, что дѣйствительно чувствовалъ и скорѣе уменьшилъ, чѣмъ преувеличилъ.

Не являлись ли въ кипучей страстности этого возраста мысль и разсужденіе лишь манерой чисто и возвышенно чувствовать?

Г л а в а V.

НОВАЯ ЛЮБОВЬ, НАКОНЕЦЪ, ПРИКОВЫВАЕТЪ
МЕНЯ НАВСЕГДА КЪ ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНѢ.

Облегчивъ душу, истерзанную ненавистью къ тираніи,—ненавистью, которая зажглась во мнѣ отъ рожденія и съ каждымъ днемъ возгоралась сильнѣе,—я сталъ снова чувствовать тяготѣніе къ драматическому творчеству. Книжонку же свою я прочелъ другу и очень ограниченному числу лицъ, послѣ чего запечаталъ ее, отложивъ въ сторону, и надолго пересталъ о ней думать. Вернувшись къ котурнамъ, я въ чрезвычайно короткое время, почти въ одинъ присѣсть, написалъ въ прозѣ „Агамемнона“, „Ореста“ и „Виргинію“. Относительно „Ореста“ у меня возникло сомнѣніе, когда я сталъ писать его; однако, это сомнѣніе было не особенно значительно и не стоило останавливаться на немъ; поэтому мой другъ безъ труда устранилъ его нѣсколькими словами. Я задумалъ эту трагедію въ Пизѣ за годъ передъ тѣмъ; увлекся ея сюжетомъ, когда читалъ очень слабого „Агамемнона“ Сенеки. Наступившая зима застала меня уже въ Туринѣ; однажды, когда я перебиралъ книги въ своей бібліотекѣ, я раскрылъ случайно томъ сочиненій Вольтера, и первыя слова, попавшіяся мнѣ на глаза, были: „Орестъ, трагедія“. Я тотчасъ захлопнулъ книгу, огорченный тѣмъ, что у меня нашелся соперникъ среди новѣйшихъ писателей. До сихъ поръ я не зналъ, что у Вольтера была такая трагедія. Я спросилъ кое у кого и узналъ, что „Орестъ“ принадлежитъ къ числу лучшихъ драматическихъ сочиненій этого автора. Это страннымъ образомъ охладило во мнѣ желаніе выполнить свой планъ относительно „Ореста“.

Очутившись, какъ я уже говорилъ, въ Сіенѣ, и закончивши въ прозѣ „Агамемнона“, причемъ я ни разу не заглянулъ въ одноименную трагедію Сенеки, чтобы не стать невольнымъ плагиаторомъ, я почувствовалъ, что настала очередь „Ореста“. Я обратился за совѣтомъ къ моему другу и, подѣлившись съ нимъ своими сомнѣніями,

опросилъ его одолжить мнѣ Вольтера, такъ какъ мнѣ хотѣлось ознакомиться съ его трагедіей и рѣшить, стоитъ ли браться за тотъ же сюжетъ. Гори отказался дать мнѣ французскаго „Ореста“, сказавъ: „Напишите своего „Ореста“, не читая вольтеровскаго, и если вы дѣйствительно созданы для трагедіи, ваше произведеніе будетъ лучше или хуже, или равноцѣнно тому „Оресту“, но, по крайней мѣрѣ, оно будетъ вполнѣ вашимъ“. Я такъ и сдѣлалъ. Съ тѣхъ поръ это мудрое и благородное правило стало для меня системой. Съ той поры всякій разъ, какъ я замышлялъ разработать сюжеты, уже использованные другими современными авторами, я избѣгалъ читать ихъ произведенія, пока мое не было набросано прозой и облечено въ стихи. Если же случалось видѣть такое произведеніе въ театрѣ, я старался тотчасъ же забыть его, а когда оно невольно приходило на память, пытался, насколько возможно, дѣлать все наоборотъ. Такъ я приобрѣлъ, мнѣ кажется, собственную фізіономію и собственные приемы драматическаго творчества, если и не вполнѣ совершенные, зато вполнѣ мои.

Такимъ образомъ, это почти пятимѣсячное пребываніе въ Сіенѣ дѣлительно подѣйствовало на мой духъ и разумъ. Кромѣ работы надъ произведеніями, которыя я назвалъ, я съ настойчивостью и успѣхомъ продолжалъ изученіе римскихъ классиковъ, изъ которыхъ Ювеналь такъ глубоко поразилъ меня, что я впослѣдствіи постоянно перечитывалъ его съ тѣмъ же увлеченіемъ, какъ и Горація. Наступила зима, которая очень непріятна въ Сіенѣ, и такъ какъ я еще не излечился отъ юношеской тоски по новымъ мѣстамъ, то въ октябрѣ рѣшилъ перѣѣхать во Флоренцію, не будучи увѣренъ, проведу ли тамъ зиму, или вернусь въ Туринъ. Но едва я успѣлъ поселиться во Флоренціи, устроившись только на мѣсяцъ, какъ неожиданное обстоятельство прикрѣпило меня къ этому городу и заставило пробыть въ немъ цѣлые годы. Это обстоятельство счастливымъ образомъ побудило меня навсегда отказаться отъ роднаго города; тогда-то, нако-

нецъ, я обрѣлъ среди золотыхъ цѣпей, которыя незамѣтно опутали меня здѣсь и ласково приковали, ту свободу литературнаго творчества, безъ которой я не создалъ бы ничего хорошаго, если и признать, что я кое-что создалъ.

Предшествующимъ лѣтомъ, которое я провелъ, какъ уже говорилъ, цѣликомъ во Флоренціи, мнѣ приходилось, не ища вовсе этихъ встрѣчъ, часто видѣть одну необыкновенно красивую и чрезвычайно привлекательную даму. Такъ какъ она была иностранка и изъ высшаго общества, невозможно было, увидѣвъ ее, не обратить на нее вниманія; притомъ добавлю—обративъ вниманіе не почувствовать ея неотразимаго очарованія. Почти вся мѣстная знать и всѣ родовитые иностранцы бывали въ ея домѣ; но такъ какъ я былъ погруженъ въ свои занятія и въ свою меланхолію, къ тому же обладалъ дикимъ и причудливымъ нравомъ и упорно избѣгалъ тѣхъ женщинъ, которыя казались мнѣ самыми прекрасными и привлекательными, то я и не захотѣлъ въ первое свое пребываніе во Флоренціи быть введеннымъ въ ея домъ. Однако, случалось встрѣчать ее очень часто въ театрѣ и на прогулкахъ. Отъ этихъ встрѣчъ у меня въ глазахъ и на сердцѣ сладко запечатлѣлся ея образъ; черные глаза, горѣвшіе тихимъ огнемъ, въ соединеніи (рѣдкое сочетаніе!) съ очень бѣлой кожей и совершенно свѣтлыми волосами придавало ея красотѣ печать торжественности, которая не могла оставить равнодушнымъ того, кто видѣлъ ее, и отъ созерцанія которой жаль было оторваться.

Ей было двадцать пять лѣтъ; она обладала большой любовью и прекраснымъ вкусомъ къ литературѣ и искусству; у ней былъ золотой нравъ, и, несмотря на это, ея семейныя обстоятельства были тяжелы и печальны и не давали того счастья и довольства, которыхъ она заслуживала. Слишкомъ много было въ ней обаянія, чтобы я прошелъ мимо.

Но очутившись осенью вновь во Флоренціи, подъ вліяніемъ одного изъ друзей, который настойчиво побуждалъ меня представиться ей, я, считая себя достаточно крѣп-

кимъ, отважился пренебречь опасностью. Очень скоро я почувствовалъ себя въ плѣну, почти не замѣтивъ, какъ это случилось. Однако, колеблясь еще между рѣшающимъ „да“ и „нѣтъ“ этого пламени, внезапно мной обуявшаго, я въ декабрѣ на почтовыхъ умчался въ Римъ. Это было безумное и утомительное путешествіе, не давшее никакихъ результатовъ, если не считать совета о Римѣ, который я однажды ночью написалъ въ жалкой гостиницѣ въ Баккано, гдѣ мнѣ не удавалось сомкнуть глазъ. Поѣхать, побыть въ Римѣ и вернуться,—все это заняло двѣнадцать дней. По дорогѣ туда, какъ и на обратномъ пути, я проѣзжалъ черезъ Сіену. Тамъ я повидался съ Гори, который не освободилъ меня отъ новыхъ цѣпей, уже болѣе чѣмъ на половину меня сковавшихъ. Возвращеніе во Флоренцію заключило меня въ нихъ навсегда. Приближеніе этой четвертой и послѣдней сердечной горячки, къ счастью, проявилось совсѣмъ иными симптомами, чѣмъ припадки трехъ предыдущихъ. Тѣ были безразсудны. Разсудокъ и сердце въ моей новой любви создавали противовѣсъ другъ другу и образовали невыразимое сочетаніе, въ которомъ было, пожалуй, меньше пылу и стремительности, но за то они придавали чувству больше углубленности, дѣлали его болѣе душевнымъ и прочнымъ. Таковъ былъ огонь, который съ той поры бросалъ свой отблескъ на всѣ мои привязанности и мысли, и который можетъ исчезнуть лишь вмѣстѣ съ моей жизнью. Я понялъ, наконецъ, послѣ двухъ мѣсяцевъ томленія, что нашелъ въ ней свою истинную избранницу, ибо не встрѣтилъ, какъ въ другихъ женщинахъ, препятствій для своей литературной славы, и любовь, которую она выразила мнѣ, не отвращала меня отъ работы и не разсѣивала моихъ мыслей; наоборотъ, я въ ней чувствовалъ побужденіе и примѣръ для всего, что было моимъ благомъ. Я сумѣлъ понять и оцѣнить это рѣдкое сокровище и съ того времени съ безавѣтной страстностью отдался ей. И я не ошибся, потому что спустя цѣлыхъ двѣнадцать лѣтъ, въ день, когда я повѣряю бумагѣ эти безумства,

уже вошедшія, увы! въ печальную полосу разочарованій, я все болѣе воспламеняюсь любовью къ ней по мѣрѣ того, какъ течетъ время, разрушая въ ней то, что не есть она сама,—хрупкія прелести смертной красоты. Каждый день сердце мое возвышается, смягчается, облагораживается благодаря ей, и я рѣшаюсь сказать, рѣшаюсь вѣрить, что она чувствуетъ то же по отношенію ко мнѣ, и что сердце ея, находя опору въ моемъ, черпаетъ въ немъ новыя силы.

Г л а в а VI.

Я ПЕРЕДАЮ ВСЕ СВОЕ ИМУЩЕСТВО СЕСТРѢ. НОВЫЙ ПРИСТУПЪ СКУПОСТИ.

Я радостно принялся за работу съ просвѣтленнымъ и утоленнымъ сердцемъ, какъ человѣкъ, нашедшій, наконецъ, свою цѣль и опору. Про себя я твердо рѣшилъ не покидать Флоренціи, по крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока моя любовь будетъ жить здѣсь.

Насталъ моментъ для выполненія плана, который давно уже созрѣвалъ въ моей головѣ, и осуществленіе котораго сдѣлалось для меня безусловной необходимостью въ тотъ день, когда я съ такой вѣрностью отдалъ свое сердце столь достойному существу.

1778.

Я всегда ощущалъ, какъ нѣчто превышающее мои силы, тяжесть и докучность цѣпей своего рабскаго положенія на родинѣ, и среди нихъ въ особенности незавидную привиллегію знатныхъ феодаловъ—обязанность испрашивать у короля разрѣшеніе для того, чтобы покинуть королевство даже на самое короткое время; разрѣшеніе это министръ нерѣдко выдавалъ съ нѣкоторыми затрудненіями, нелюбезно и всегда чѣмъ-нибудь ограничивалъ.

Мнѣ приходилось уже раза четыре или пять обращаться къ нему съ этого рода просьбами, и хотя каждый разъ мнѣ разрѣшали, я находилъ несправедливостью самую необходимость разрѣшеній (ея не существовало ни для младшихъ членовъ аристократическихъ семей, ни для горожанъ, къ какому бы классу они не относились, за исключеніемъ состоявшихъ на службѣ); такимъ образомъ, всякій разъ я подчинялся съ отвращеніемъ, все возраставшимъ по мѣрѣ того, какъ отрастала моя борода. Каплей, переполнившей мое терпѣніе въ этомъ дѣлѣ, была послѣдняя нелюбезность министра, о которой я уже упоминалъ. Кромѣ того, мои писанія день ото дня становились многочисленнѣе: эта „Виргинія“, которую я написалъ прозой въ томъ духѣ свободы и съ такой силой, какъ того требуетъ сюжетъ; моя книга „О тиранніи“, написанная такъ, какъ если бы я родился и выросъ въ странѣ справедливости и настоящей свободы; удовольствіе и живое одушевленіе, которое я находилъ въ чтеніи Макіавелли, Тацита и немногихъ другихъ писателей, возвышенныхъ и свободныхъ; размышленія, приведшія къ тому, что я далъ себѣ ясный отчетъ въ своемъ положеніи—въ невозможности оставаться въ Туринѣ, если желаешь печататься, и въ невозможности печататься, если желаешь оставаться въ Туринѣ; глубокое убѣжденіе, что меня ждуть тысячи опасностей и препятствій, если я буду печататься внѣ Турина, оставаясь подвластнымъ законамъ своего отечества, которые я приведу ниже; прибавьте къ этимъ соображеніямъ, достаточно важнымъ и яснымъ для всѣхъ, еще страсть, которая совѣмъ по новому, къ моему величайшему счастью, овладѣла мною. Всего этого, кажется, достаточно, чтобы приступить съ упорствомъ и жаромъ къ важному дѣлу, задуманному мной—къ освобожденію себя отъ пьемонтскаго подданства, насколько это возможно, и разрыву навѣки, во что бы то ни стало, съ гнѣздомъ, гдѣ я родился.

Мнѣ представлялось нѣсколько способовъ для достиженія этой цѣли. Я имѣлъ возможность изъ года въ годъ

возобновлять полученное разрѣшеніе, и это было бы, пожалуй, самымъ благоразумнымъ исходомъ, но онъ былъ нѣсколько сомнителенъ, и я не могъ вполнѣ положиться на него, такъ какъ при немъ я продолжалъ бы оставаться въ зависимости отъ чужой воли. Открывалась еще возможность прибѣгнуть къ изворотамъ и хитрости, расплатиться съ долгами, тайкомъ распродать свое имущество или реализовать его какимъ-нибудь другимъ образомъ, чтобы исторгнуть его изъ благородной тюрьмы. Но все это недостаточныя средства, при томъ не вполнѣ надежныя; они не приходились мнѣ по душѣ, можетъ быть, и потому еще, что не являлись крайними. Склонный по характеру своему ожидать всегда худшаго, я стремился совершенно и сразу покончить съ этимъ дѣломъ, къ которому такъ или иначе пришлось бы возвратиться, или отказать отъ славы искренняго и независимаго писателя. Необходимо было выяснитъ положеніе вещей и установить, могу ли я спасти хоть что-нибудь изъ имущества съ тѣмъ, чтобы немедленно уѣхать и начать печататься за предѣлами отечества; я взялся горячо за дѣло. И провелъ его хорошо, несмотря на свою молодость и страстность. Дѣйствительно, если бы при деспотическомъ образѣ правленія, подъ эгидой котораго я имѣлъ несчастье родиться, я началъ бы печатать за границей хотя бы невиннѣйшія произведенія, дѣло могло принять сомнительный оборотъ, и мои средства къ существованію, слава и самая свобода всецѣло оставались бы въ зависимости отъ неограниченной власти того, кто, несомнѣнно, былъ бы уязвленъ моею манерой мыслить, писать и дѣйствовать съ благороднымъ презрѣніемъ свободаго человѣка, и не сталъ бы, конечно, способствовать моимъ планамъ освобожденія отъ его владычества.

Въ Пьемонтѣ существовалъ въ то время законъ, гласившій: „Безусловно воспрещается кому бы то ни было печатать книги и всякія другія изданія внѣ предѣловъ нашего государства безъ разрѣшенія цензуры, подъ угрозой штрафа въ шестьдесятъ скуди или другого, еще бо-

лѣе тяжкаго наказанія, вплоть до тѣлеснаго, если обстоятельства будутъ того настоятельно требовать для общаго назиданія“.

Къ этому закону присоединяется слѣдующій: „Подданные нашего государства не должны отлучаться безъ нашего письменнаго разрѣшенія“.

Легко заключить, что я не могъ сдѣлаться писателемъ, продолжая оставаться подданнымъ. И я предпочелъ стать писателемъ. Относясь съ глубокой ненавистью ко всякимъ уловкамъ и промедленіямъ, я избралъ самую простую и краткую дорогу—при жизни отдать всю недвижимость, какъ свободную, такъ и феодальную, что составляло двѣ трети моего имущества, моей законной наслѣдницѣ—сестрѣ Джуліи, вышедшей замужъ, какъ я уже говорилъ, за графа Куміана. Я сдѣлалъ это въ самой торжественной, безукоризненно правильной формѣ, оставивъ за собой право на получение годовой пенсіи въ четырнадцать тысячъ пьемонтскихъ лиръ, равняющихся приблизительно 1400 флорентійскимъ цехинамъ, что составляло въ то время около половины всѣхъ моихъ доходовъ. Этого мнѣ казалось вполне достаточнымъ, и другую половину я не считалъ слишкомъ дорогой платой за независимость моихъ мнѣній и за свободу моего пера и выбора мѣстожителства.

Но эта отдача имущества и выполненіе всей процедуры явилось для меня источникомъ скучнѣйшихъ неприятностей изъ-за разныхъ формальностей закона; онѣ надолго затянули дѣло, ведшееся на разстояніи, письменной волокитой. Требовалось, кромѣ всего прочаго, обычное разрѣшеніе короля, ибо въ этой богоспасаемой странѣ нѣтъ такого частнаго дѣла, куда бы не вмѣшивался король. Надлежало, чтобы мужъ моей сестры, дѣйствовавшій за нее и за меня, получилъ отъ короля позволеніе принять мой даръ и полномочія выплачивать мнѣ установленную ежегодную сумму, гдѣ бы я ни захотѣлъ поселиться. Для самыхъ близорукихъ глазъ было достаточно ясно, что главнымъ мотивомъ этого дара было мое рѣшеніе покинуть страну.

Отсюда вытекала необходимость заручиться разрѣшеніемъ правительства, которое по своему капризу всегда могло бы воспротивиться тому, чтобы пенсія уплачивалась мнѣ во время пребыванія моего за границей.

Къ великому моему счастью король, имѣвшій понятіе о моемъ образѣ мыслей (самъ я давалъ не мало поводовъ замѣтить это), возымѣлъ большее желаніе отпустить меня, чѣмъ удерживать у себя.

Онъ сразу согласился на мое раззореніе и мы разстались очень довольные другъ другомъ: онъ тѣмъ, что потерялъ меня, я—тѣмъ, что нашелъ себя.

Но я нахожу нужнымъ упомянуть здѣсь объ одномъ очень странномъ обстоятельстве, на утѣшеніе моимъ врагамъ и чтобы дать возможность улыбнуться надо мной тѣмъ, кто, разобравшись въ себѣ, найдетъ себя болѣе разумнымъ и менѣе ребенкомъ, чѣмъ былъ я. По этому обстоятельству, которое существовало на ряду съ проявленіемъ моей нравственной силы, умѣющей наблюдать и размышлять, безъ сомнѣнія, можетъ придти къ выводу, что нерѣдко въ человѣкѣ и, во всякомъ случаѣ, во мнѣ—карликъ уживается съ гигантомъ. Но какъ бы то ни было, когда я писалъ „Виргинію“ и книгу „О тиранніи“, въ то время, когда я столь мужественно измѣнилъ жизнь и разбилъ цѣпи, приковавшія меня къ Пьемонту, я продолжалъ носить мундиръ сардинскаго короля, хотя не имѣлъ никакого отношенія къ его королевству, и уже четыре года какъ покинулъ военную службу. И что скажутъ мудрецы, когда я чистосердечно исповѣдуюсь передъ ними въ томъ, что заставило меня его носить. Мнѣ казалось, что въ этомъ костюмѣ у меня болѣе интересный, болѣе молодцоватый видъ.

Смѣйся, читатель, это поистинѣ достойно смѣха.

И прибавь еще, что поступая такъ по-ребячески нелѣпно, я предпочелъ казаться болѣе красивымъ въ глазахъ другихъ, чѣмъ быть вполне достойнымъ въ собственныхъ глазахъ.

Дѣло мое тянулось съ января по ноябрь 1778 года,

потому что я включилъ въ свой договоръ статью о за-мѣнѣ пяти тысячъ лиръ годового содержанія капиталомъ въ сто тысячъ пьемонтскихъ лиръ, которыя сестра должна была мнѣ выплатить. Здѣсь явились новыя затрудненія, превосходившія прежнія. Но, въ концѣ концовъ, король согласился, чтобы мнѣ выплатили эту сумму, и я сейчасъ же помѣстилъ ее вмѣстѣ съ другими деньгами въ весьма сомнительныя французскія бумаги, дававшія пожизненную ренту. Какъ ни мало я довѣрялъ сардинскому королю, у меня не больше было довѣрія и къ королю христіаннѣйшему. Но мнѣ казалось, что раздѣливъ такимъ образомъ свое состояніе между двумя тиранніями, я рисковалъ меньше, и дѣною кошелъка спасалъ, по крайней мѣрѣ, свободу пера и мысли.

Этотъ шагъ былъ рѣшительнымъ и важнымъ событіемъ моей жизни, и я всегда буду благословлять небо за счастливый исходъ его.

Но я сказалъ о немъ подругѣ лишь тогда, когда дарственный актъ былъ окончательно и безповоротно закрѣпленъ.

Мнѣ не хотѣлось подвергать испытанію деликатность ея души, вызывая ее или на порицаніе моего рѣшенія, какъ несогласнаго съ моими интересами, или на одобреніе и похвалы ему, какъ благопріятствующему до извѣстной степени длительности и безопасности нашей взаимной любви (ибо этимъ рѣшеніемъ исключалась мысль покинуть ее въ будущемъ). Когда она узнала объ этомъ, то выразила свое порицаніе съ той простодушной искренностью, которая свойственна лишь ей; но такъ какъ уже ничего нельзя было измѣнить, она примирилась со всѣмъ происшедшимъ и простила мнѣ, что я скрывалъ отъ нея свои планы. Можетъ быть, это даже усилило ея любовь и увеличило уваженіе ко мнѣ.

Между тѣмъ, занимаясь строченіемъ писемъ и снова писемъ въ Туринъ, чтобы положить конецъ этой канители, этимъ препятствіямъ, которыя мнѣ ставилъ король, законъ и родные, рѣшивъ не отступать, каковъ бы ни

былъ исходъ моихъ попытокъ, я приказалъ Ильѣ, оставшемуся по моему распоряженію въ Туринѣ, продать движимость и серебро.

За два мѣсяца, которые онъ употребилъ на это, не теряя ни минуты, онъ выручилъ болѣе шести тысячъ цехиновъ и отправилъ ихъ согласно моему приказу переводомъ на флорентійскій банкъ.

Не знаю по какой случайности вышло такъ, что промежутокъ между письмомъ, въ которомъ онъ извѣщалъ меня, что эта сумма уже въ его рукахъ, и исполненіемъ моего приказанія затянулся до трехъ недѣль, и въ теченіе всего этого времени я не получалъ отъ него ни денегъ, ни писемъ и никакихъ извѣстій изъ банка. Хотя по своему характеру я мало склоненъ къ недоувѣрчивости, такая странная затяжка, происшедшая въ обстоятельствахъ, требующихъ большой честности, и причиненная такимъ неизмѣнно точнымъ и заботливымъ человѣкомъ, какъ Ильѣ, возбудила во мнѣ подозрѣнія. Они отравили мою душу и воображеніе, всегда слишкомъ быстро и пылко работавшее во мнѣ, превращало грозившій мнѣ убытокъ въ уже свершившійся.

Почти въ теченіе двухъ недѣль я твердо былъ увѣренъ, что мои шесть тысячъ цехиновъ обратились въ дымъ вмѣстѣ съ прекраснымъ мнѣніемъ объ Ильѣ, какого онъ вполне заслуживалъ. Благодаря всему этому я находился тогда въ очень трудномъ положеніи.

Мои дѣла съ сестрой еще не были окончательно улажены и каждый день приходилось защищаться отъ какой-нибудь новой каверзы ея мужа, не стѣснявшагося прикрывать именовъ короля свои мелкіе личные происки; кончилось тѣмъ, что я отвѣтилъ ему съ гнѣвомъ и презрѣніемъ, что если они не хотятъ взять отъ меня мое имущество, какъ даръ, то пусть берутъ на правахъ грабежа, ибо никогда въ жизни я не вернусь въ Туринъ и мнѣ нѣтъ дѣла до нихъ, до ихъ денегъ и до ихъ короля, пусть берутъ себѣ все и не подымаютъ больше объ этомъ рѣчи. На самомъ дѣлѣ, я рѣшилъ покинуть родину навсегда, хотя бы мнѣ пришлось просить милостыню.

Все было неопредѣленно и сомнительно въ этой области; деньги за проданную движимость также не приходили, и не чувствуя никакой увѣренности въ будущемъ, я потерялъ голову и неотступно передо мной стояла мрачная бѣдность; такъ продолжалось до тѣхъ поръ, пока ко мнѣ не пришелъ переводъ Ильи. Сдѣлавшись обладателемъ этой ничтожной суммы, я пересталъ дрожать за завтрашній день. Отдаваясь большому воображенію, самымъ подходящимъ выходомъ для себя я считалъ ремесло берейтора, въ которомъ я былъ или, по крайней мѣрѣ, считалъ себя на высотѣ искусства; къ тому же оно и наименѣе унижительно. Казалось мнѣ, что оно превосходно должно уживаться съ профессіей поэта, такъ какъ, въ концѣ концовъ, для того, чтобы писать трагедіи, лучше жить въ конюшнѣ, чѣмъ при дворѣ..

Еще до наступленія тѣхъ затруднительныхъ обстоятельствъ, причина которыхъ была въ сущности гораздо болѣе вымыслена мною, чѣмъ реальна, я спѣшно отпустилъ своихъ слугъ (какъ только совершилъ дареніе).

Я оставилъ при себѣ лишь одного человѣка для личныхъ моихъ услугъ и повара, котораго, впрочемъ, тоже скоро расчислилъ. Я и раньше былъ очень умѣренъ въ пищѣ, а съ тѣхъ поръ окончательно усвоилъ себѣ прекрасную и благотворную для здоровья привычку чрезвычайной воздержанности: совершенно отказался отъ вина, кофе и т. п., и ограничилъ свои трапезы наиболѣе простыми блюдами—рисомъ и варенымъ либо жаренымъ мясомъ, причемъ на протяженіи цѣлыхъ лѣтъ ничѣмъ не разнообразилъ своего стола... Четырехъ изъ своихъ лошадей я отослалъ въ Туринъ съ приказаніемъ продать ихъ вмѣстѣ съ тѣми, которыхъ я оставилъ тамъ при отъѣздѣ. Оставшихся у меня четырехъ я подарилъ четверемъ флорентинцамъ, скорѣе моимъ обыкновеннымъ знакомымъ, чѣмъ друзьямъ; они оказались менѣе гордыми, чѣмъ былъ бы я на ихъ мѣстѣ, такъ какъ приняли мой подарокъ. Свои платья я всѣ отдалъ слугѣ, не сдѣлавъ исключенія даже для мундира. Я сталъ носить черное

платье по вечерамъ и синее суконное днемъ; съ тѣхъ поръ я не измѣнялъ этимъ двумъ цвѣтамъ и буду носить ихъ до могилы. Такимъ-то образомъ, ежедневно въ чемъ-нибудь себя урѣзывая, я довелъ свои потребности до скромнаго уровня строго необходимаго,—и раздаривая свое имущество, превратился въ скупца.

Я приготовилъ себя такимъ способомъ ко всему худшему, что могло со мной случиться, такъ какъ былъ въ полной увѣренности, что все мое богатство заключается въ тѣхъ шести тысячахъ цехиновъ, которые я безразсудно помѣстилъ во французскую пожизненную ренту. И такъ какъ мой нравъ всегда доводилъ меня до крайностей, то стремленіе къ экономіи, вызванное жадой полной независимости, мало по малу зашло такъ далеко, что я ежедневно воображалъ себѣ возможность новыхъ лишеній и впалъ въ скупость, доходившую почти до скаредности. Я говорю почти, потому что все же каждый день еще мѣнялъ бѣлье и продолжалъ тщательно заботиться о своей опрятности. Но если бы желудокъ мой по моему примѣру сталъ писать исторію моей жизни, онъ зачеркнулъ бы это „почти“ и назвалъ бы мою скупость скаредностью. То былъ второй и, надѣюсь, послѣдній припадокъ этой низкой и постыдной болѣзни, отъ которой ржавѣетъ душа и мельчаетъ умъ. Долженъ сказать, однако, что хотя каждый день я изошрялъ изобрѣтательность, чтобы найти способъ еще болѣе урѣзать свои расходы, я никогда не жалѣлъ денегъ на книги. Я собралъ въ то время почти всѣ произведенія итальянскихъ писателей и значительное число лучшихъ изданій латинскихъ классиковъ. Я перебиралъ свои книги одну за другой, читалъ ихъ и перечитывалъ, но дѣлалъ это слишкомъ быстро, съ чрезмѣрной жадностью и не извлекъ изъ чтенія того, что могъ бы вынести, если бы читалъ со свѣжей головой и внимательно вникая въ комментаріи. Способность къ болѣе серьезному чтенію я выработалъ въ себѣ лишь очень поздно, а съ самыхъ юныхъ лѣтъ всегда предпочиталъ угадывать смыслъ трудныхъ мѣстъ

или безъ оглядки перескакивать черезъ нихъ, чѣмъ уяснять ихъ себѣ кропотливымъ чтеніемъ и изученіемъ комментаріевъ.

Въ теченіе этого 1778 года, посвященнаго матеріальнымъ и финансовымъ заботамъ, я не совсѣмъ забросилъ свое сочинительство, но на немъ сильно отразились всѣ анти-литературные помыслы, къ которымъ отвлекала меня необходимость. Въ самомъ для меня важномъ изъ тогдашнихъ моихъ занятій, именно въ изученіи тосканскаго языка, я встрѣтилъ новое препятствіе; оно состояло въ томъ, что моя подруга почти вовсе не знала тогда итальянски, и потому я снова былъ вынужденъ обучиться въ атмосферѣ французскаго языка, на которомъ приходилось говорить и который я постоянно слышалъ въ ея домѣ. Зато въ остальной части дня я искалъ противоядія отъ галлицизмовъ въ нашихъ отличныхъ и скучнѣйшихъ прозаикахъ XIV вѣка, и съ этой цѣлью совершалъ далеко не поэтическій трудъ, который сдѣлалъ бы честь даже упорству осла. Но мало по малу мнѣ удалось добиться того, что возлюбленная моя въ совершенствѣ освоилась съ итальянской рѣчью, могла читать и говорить лучше, чѣмъ всякая другая иностранка. Произношеніе ея было даже несравненно лучше, чѣмъ говоръ тѣхъ итальянокъ, которыя родились не въ Тосканѣ и всякая на свой ладъ—ломбардскій или венеціанскій, неаполитанскій или римскій,—безжалостно терзаютъ уши тѣхъ, кто привыкъ къ выразительному и сладостному звуку тосканской рѣчи. Однако, хотя моя Дама говорила со мной исключительно потоскански, домъ ея былъ всегда полонъ французами, которые подвергали мой тосканскій слухъ ежечасной мукѣ. Такъ случилось, что ко всѣмъ другимъ моимъ неудачамъ присоединилось нелѣпое положеніе, благодаря которому, живя эти года во Флоренціи, я слышалъ больше французскій, чѣмъ тосканскій языкъ. Почти всю мою жизнь вплоть до настоящаго дня судьба заставляла меня постоянно встрѣчать на пути это варварское нарѣчіе. Если, слѣдовательно, мнѣ удалось научиться писать правильно и

чисто въ тосканскомъ вкусѣ (не преувеличивая его, разумѣется, до аффектаціи и манерности), то въ этомъ моя особенная заслуга, если принять во вниманіе всѣ трудности, какія приходилось одолѣвать; если же это не удалось мнѣ, то я имѣю достаточно извиняющихъ оправданій.

Г л а в а VII.

УСЕРДНЫЯ ЗАНЯТІЯ ВО ФЛОРЕНЦИИ.

Въ апрѣлѣ 1778 года, уже послѣ того, какъ я написалъ стихами „Виргинію“ и большую часть „Агамемнона“, планъ которыхъ былъ мною раньше набросанъ, я заболѣлъ какимъ-то воспаленіемъ, которое было краткимъ, но жестокимъ и сопровождалось ангиной, заставившей врача пустить мнѣ кровь. Значительная потеря крови замедлила выздоровленіе, и съ этого времени мое здоровье вообще замѣтно ухудшилось. Волненія, дѣловыя заботы, усиленные занятія и сердечная страсть сдѣлали меня болѣзненнымъ. И хотя къ концу этого года домашнія дѣла перестали заботить меня, работа и любовь, все возрастая, лишили меня того скотскаго здоровья, которое я приобрѣлъ за десять лѣтъ привольной жизни и странствованій.

Однако, наступившее лѣто придало мнѣ силъ, и я много работалъ. Лѣто—моя излюбленная пора, и чѣмъ больше жара, тѣмъ лучше мое самочувствіе, особенно въ творчествѣ. Въ маѣ того года я началъ небольшую поэму въ октавахъ о герцогѣ Алессандро, убитомъ Лоренцино деи Медичи. Тема мнѣ очень нравилась, но она представлялась мнѣ въ видѣ поэмы, а не трагедіи. Я писалъ ее по частямъ, не давая полнаго развитія ни одной изъ нихъ для того, чтобы сначала вновь приобрѣсти навыкъ къ рѣшѣнью, который я утерять, имѣя такъ долго дѣло съ бѣлымъ стихомъ своихъ трагедій. Я сочинялъ также любовные стихи, то воспѣвая свою Даму, то изливая глубокую скорбь, въ которую ввергали меня ея семейныя не-

пріятности. Посвященные ей и напечатанные мною стихи открываются сонетомъ, изъ котораго привожу первый стихъ:

Negri, vivaci, in dolce fuoco ardenti, etc.

Всѣ послѣдовавшіе за этими любовные стихи принадлежатъ ей, только ей, одной, потому что я уже никогда не воспою другой женщины. Эти произведенія могутъ быть удачны и изящны болѣе или менѣе, но я думаю, что въ каждомъ изъ нихъ должна чувствоваться та безмѣрная любовь, которая руководила мной при ихъ созданіи, и которая съ каждымъ днемъ сильнѣе разгоралась въ моемъ сердцѣ. Можетъ быть, она всего ярче вылилась въ строкахъ, написанныхъ во время долгой разлуки, которая насъ разъединила.

Возвращаюсь къ своимъ занятіямъ въ 1778 году. Въ іюлѣ, подъ вліяніемъ страстнаго порыва свободолюбія, я набросалъ трагедію „Пацци“ и вслѣдъ за ней „Донъ Гарсія“. Вскорѣ за тѣмъ я задумалъ свои три книги „О Государѣ и литературѣ“, распредѣлилъ матеріалъ на главы и даже написалъ первыя три. Но скоро замѣтилъ, что языкъ мой недостаточно богатъ для полной передачи моихъ мыслей, и потому я отложилъ эту работу, чтобы мнѣ впослѣдствіи не пришлось передѣлывать ее съ начала до конца, когда я возьмусь за ея исправленіе. Въ августѣ того же года по желанію моей возлюбленной и для того, чтобы сдѣлать ей пріятное, я началъ работать надъ „Маріей Стюартъ“. Въ сентябрѣ я былъ занятъ переложеніемъ „Ореста“ въ стихи, и тѣмъ закончилъ этотъ годъ, протекшій такъ содержательно.

1779.

Съ тѣхъ поръ дни мои протекали почти въ полномъ покоѣ; нарушали его лишь безпокойства о возлюбленной, которую подавляли домашнія непріятности; причиной ихъ былъ престарѣлый, брюзжащій, безразсудный и вѣчно пьяный мужъ. Ея горести были моими, и заставляли меня переживать часы смертной тоски. Я имѣлъ возможность

видѣть ее лишь по вечерамъ и иногда обѣдая у нея. Но мужъ постоянно присутствовалъ при этомъ, или находился въ сосѣдней комнатѣ. Онъ это дѣлалъ не потому, что подозрѣвалъ меня болѣе другихъ,—нѣтъ, такова была его постоянная система. Въ теченіе девяти лѣтъ, что прожили вмѣстѣ эти супруги, они ни разу не вышли изъ дому другъ безъ друга. Это могло бы, въ концѣ концовъ, наскучить даже двумъ юнымъ любовникамъ. Я сидѣлъ цѣлыми днями запершись у себя въ комнатѣ и только въ утренніе часы вѣздилъ для укрѣпленія здоровья верхомъ. Вечеромъ меня ждала тихая радость встрѣчи съ нею, радость, къ которой, увы! какъ я уже сказалъ выше, примѣшивалось острое чувство жалости къ ней, всегда печальной и подавленной. Не будь у меня этой упрямой сосредоточенности въ занятіяхъ, я бы не смогъ примириться съ подобными свиданіями. Съ другой стороны, если бы меня лишили моего единственнаго утѣшенія—ея присутствія, улаждающаго горечь моего одиночества, я бы не могъ противиться этому непрекращающемуся пылу, этой ярости къ занятіямъ.

За 1779 годъ я написалъ въ стихахъ „Заговоръ Пацци“, задумалъ „Розамунду“, „Октавію“, „Тимолеона“, написалъ прозой „Марію Стюартъ“, „Дона Гарсія“, кончилъ первую пѣсню моей поэмы и значительно подвинулъ вторую.

Среди этихъ горячихъ и утомительныхъ работъ я, внимая голосу сердца, дѣлилъ свои досуги между возлюбленной и двумя отсутствующими друзьями, которымъ изливалъ душу въ письмахъ. Одинъ изъ нихъ былъ Гори изъ Сіены, пріѣзжавшій два или три раза ко мнѣ во Флоренцію, другой—превосходный аббатъ Калузю, который къ серединѣ 1779 года тоже посѣтилъ меня во Флоренціи, куда его призывало отчасти желаніе насладиться въ теченіе года звуками очаровательной тосканской рѣчи, отчасти (и я горжусь этимъ) желанье повидать человѣка, любившаго его такъ сильно, какъ я. Къ тому же здѣсь ку-

больше покоя и свободы для занятій, нежели въ

Туринѣ, гдѣ его осаждала стая братьевъ, племянниковъ, кузеновъ и всякихъ постоянно ему докучающихъ лицъ.

По своему мягкому и снисходительному характеру онъ, въ концѣ концовъ, принадлежалъ другимъ больше, чѣмъ себѣ. За годъ, что онъ жилъ во Флоренціи, мы видались ежедневно, проводя вмѣстѣ послѣобѣденные часы. Бесѣда необыкновенно пріятная и поучительная, незамѣтно для меня самого дала мнѣ гораздо больше нужныхъ свѣдѣній, чѣмъ если бы я годами корпѣлъ надъ безчисленными книгами. Кромѣ того, я ему буду вѣчно благодаренъ за то, что онъ научилъ меня чувствовать и цѣнить красоту и безконечное многообразіе стиховъ Вергилія. Раньше я ограничивался бѣглымъ чтеніемъ его, а это все равно, что никакое для истиннаго пониманія этого изумительнаго поэта.

Я попытался (не знаю насколько удачно) ввести въ вольный стихъ моихъ діалоговъ постоянное разнообразіе гармоніи, чтобы каждая строфа отличалась отъ предыдущей и послѣдующей, и также, насколько это позволялъ духъ языка, пытался прибѣгнуть къ тѣмъ цезурамъ и перестановкамъ, которыя столь сильно и благотворно отличаютъ поэзію Вергилія отъ поэзіи Лукана, Овидія и другихъ. Разницу между ними трудно выразить словами, но ее всегда чувствуютъ люди, близко стоящіе къ искусству. Я, въ самомъ дѣлѣ, очень нуждался въ развитіи формы, которая бы сдѣлала своеобразнымъ мой трагическій стихъ и дала бы ему возможность стать на ноги исключительно силою структуры. Въ этомъ родѣ композиціи нельзя помогать стиху нагроможденіемъ періодовъ, образовъ, нельзя дѣлать обильныя перестановки, употреблять странные и изысканные эпитеты. Простыя и торжественныя слова должны составлять содержаніе стиха, придавая діалогу правдоподобіе и естественность. Всѣ эти мысли, быть можетъ, очень дурно здѣсь выраженыя, продолжали жить у меня въ головѣ, постепенно уясняясь, пока не вылились изъ-подъ моего пера въ Парижѣ, во время втораго изданія моихъ сочиненій. Если благодаря чтенію, пониманію,

анализу красотъ Данте и Петрарки я научился легко и со вкусомъ рифмовать, то искусству владѣть бѣлыми стихами трагедіи (достигъ ли я его вполне или только показалъ его возможности) я обязанъ лишь Вергилію, Чезаротти и самому себѣ. Однако, раньше, чѣмъ я окончательно не уяснилъ себѣ этого желаннаго стѣля, мнѣ пришлось много путаться, идти ощупью, и избѣгая вялаго и пошлаго, впадать въ тяжеловѣсность и темноты. Объ этомъ, впрочемъ, я говорилъ подробно, когда описывалъ свою манеру писать.

Въ слѣдующій 1780 годъ я написалъ въ стихахъ „Марію Стюартъ“, въ прозѣ „Октавію“ и „Тимолеона“. Изъ этихъ двухъ послѣднихъ прозведеній одно было плодомъ чтенія Плутарха, къ которому я вернулся, другое же являлось истиннымъ дѣтищемъ Тацита, котораго я съ увлеченіемъ читалъ и перечитывалъ. Кромѣ того, я въ третій разъ снова передѣлалъ и сократилъ „Филиппа“. Но эта трагедія сохранила болѣе другихъ признаки своего темнаго происхожденія въ неясности чужой формы. Я продолжалъ „Розамунду“ и „Октавію“, которую мнѣ пришлось къ концу года оставить изъ-за мучившаго меня сердечнаго недуга.

Г л а в а VIII.

БЛАГОДАРЯ СЛУЧАЮ, Я ВНОВЬ ВИЖУ НЕАПОЛЬ И РИМЪ, ВЪ КОТОРОМЪ И ПОСЕЛЯЮСЬ.

Моя Дама, какъ я уже много разъ говорилъ, жила въ постоянной тревогѣ. Ея семейныя горести только увеличились со временемъ, и постоянныя преслѣдованія мужа, наконецъ, привели къ ужасной сценѣ въ ночь св. Андрея, когда она вынуждена была искать защиты отъ его варварства, чтобы оградить свою жизнь и здоровье. И вотъ мнѣ пришлось вновь (что совершенно не въ моемъ характерѣ) всѣми средствами добиваться содѣйствія вла-

стей во Флоренціи, чтобы помочь этой несчастной жертвѣ избавиться отъ варварскаго и недостойнаго гнета. Хотя я и сознаю, что старался тутъ болѣе для другихъ, нежели для себя; хотя и сознаю, что совѣтовалъ возлюбленной крайнія мѣры лишь когда ея злоключенія достигли крайнихъ предѣловъ (ибо таково мое правило какъ въ чужихъ дѣлахъ, такъ и въ своихъ); хотя я сознаю, наконецъ, что иначе невозможно было поступить,—все же я никогда не унижусь до отвѣта на глупыя и зlostныя обвиненія, которыми меня чернятъ съ тѣхъ поръ. Достаточно, если я скажу, что спасъ мою Даму отъ тиранніи неразумнаго и вѣчно пьянаго властелина, ничѣмъ при этомъ не задѣвъ ея чести и не оскорбивъ общественнаго мнѣнія. Всякій, кто только близко наблюдалъ или даже просто слышалъ отъ другихъ подробности ужаснаго плѣна, въ которомъ она часъ отъ часу угасала, пойметъ, какія надо было преодолѣть трудности, чтобы довести все до конца и добиться того, чего мнѣ удалось достигнуть.

Сначала она поступила въ монастырь во Флоренціи, куда отправилась въ сопровожденіи мужа подъ предлогомъ осмотра мѣстности. Тамъ ему пришлось, несмотря на все его неудовольствіе, оставить ее, потому что таково было распоряженіе правительства. Она пробыла тамъ нѣсколько дней, послѣ чего ея шурина, жившій въ Римѣ, пригласилъ ее къ себѣ. Тамъ она вновь удалась въ монастырь. Причины ея разрыва съ мужемъ были такъ очевидны и такъ многочисленны, что всѣ единогласно одобрили ее.

Она уѣхала въ Римъ въ концѣ декабря, и я остался во Флоренціи одинъ, какъ слѣпецъ, покинутый въ пустынь, съ сознаниемъ неполноты жизни, неспособный къ занятіямъ, къ мышленію, равнодушный къ нѣкогда столь пылко любимой славѣ и къ самому себѣ. Отсюда ясно, что если въ этомъ дѣлѣ я работалъ для ея наибольшаго блага, для себя я не сдѣлалъ ничего, ибо не могло быть для меня большаго несчастія, чѣмъ не видѣть ее. Я не могъ, не оскорбляя приличій, немедленно послѣдовать за

нею въ Римъ; еще менѣе могъ я оставаться во Флоренціи, однако, я пробылъ тамъ до конца января 1781 года; но недѣли были для меня годами, и я не могъ больше ни работать, ни читать. Наконецъ, я рѣшилъ отправиться въ Неаполь; и всякій догадается, что выбралъ я Неаполь потому, что дорога туда шла черезъ Римъ.

Прошло уже больше года, какъ разсѣялся туманъ второго приступа скупости, о которомъ я говорилъ. Я помѣстилъ въ два приема болѣе 160.000 франковъ во французскую пожизненную ренту, что дѣлало меня независимымъ отъ Пьемонта. Я вернулся къ разумному расходованію денегъ, вновь купилъ лошадей, но только четырехъ, что было совершенно достаточно для поэта. Дорогой аббатъ Калузю уже съ полгода какъ вернулся въ Туринъ; вотъ почему, за немѣніемъ друга, которому могъ бы довѣрить свою печаль, находясь въ разлукѣ со своей Дамой, чувствуя, что слабѣю, я отправился въ первыя числа февраля верхомъ въ Сиену, чтобы обнять мимоходомъ друга моего Гори и облегчить съ нимъ душу. Затѣмъ я продолжалъ путь къ Риму, одно приближеніе къ которому вставляло уже битвы мое сердце; такъ равно смотрятъ на міръ влюбленный и тотъ, кто не любитъ. Эта пустынная, неадерова область, три года назадъ казавшаяся мнѣ тѣмъ, что она и есть на самомъ дѣлѣ, представлялась теперь моимъ взорамъ самой восхитительной мѣстностью въ мірѣ.

Я пріѣхалъ, я увидѣлъ ее (о, Боже, при одномъ воспоминаніи объ этомъ сердце мое готово разорваться); она была узницей за рѣшеткой, несомнѣнно, меньше притѣсняемой, чѣмъ во Флоренціи, но котъ и по другимъ причинамъ, такой же несчастной. Развѣ не были мы и теперь разлучены, и кто знаетъ, когда это для насъ кончится. Но въ слезахъ моихъ для меня было утѣшеніемъ думать, что, по крайней мѣрѣ, здоровье ея мало по малу восстанавливается; думать, что она можетъ дышать болѣе свободнымъ воздухомъ, спать спокойнымъ сномъ, не трепетать безпрерывно передъ ненавистной тѣнью пьянаго мужа, что она можетъ, наконецъ, жить. Эта мысль дѣлала для меня

менѣ жестокими и менѣ долгими ужасные дни разлуки, съ которою, однако, нужно было примириться.

Я оставался въ Римѣ очень короткое время; и здѣсь любовь заставила меня пуститься на цѣлый рядъ низостей и хитростей, на которыя я, конечно, не рѣшился бы для того, чтобы получить царства всего міра; низостей, которыхъ позже я ожесточенно сталъ избѣгать (у порога храма славы, еще не смѣя надѣяться, что входъ для меня не загражденъ, я не сталъ кадить и лстить тѣмъ, кто были или считали себя привратниками храма). Я унился до того, что дѣлалъ визиты ея шурина, занскивалъ передъ нимъ, такъ какъ отъ него одного зависѣла отнынѣ ея полная свобода, сладостный приракъ которой манилъ нашу любовь. Я не стану много распространяться объ этихъ двухъ братьяхъ, которые въ то время были хорошо извѣстны всѣму свѣту; время погребло и того и другого въ общемъ забвеніи и не мнѣ воскрешать ихъ; я не могъ бы сказать о нихъ ничего хорошаго, а говорить дурное не хочу. Но изъ того, что я могъ сломить передъ ними свою гордость, пусть сдѣлаютъ выводъ о безмѣрности моей любви.

Итакъ, я отправился въ Неаполь; я далъ обѣщаніе, и моя щепетильность сдѣлала изъ него долгъ. Эта новая разлука для меня была еще печальнѣе, чѣмъ первая, во Флоренціи. Первая разлука, на сорокъ дней, дала лишь образецъ той жестокой скорби, которая ждала меня во второй, болѣе долгой и болѣе неопредѣленной разлукѣ.

Въ Неаполь—и потому, что видъ этихъ чарующихъ мѣстъ не представлялъ для меня ничего новаго, и потому, что сердце мое было такъ глубоко ранено, я не нашелъ облегченія, котораго ждалъ.

Книги потеряли для меня всякое значеніе; стихи и трагедія едва двигались. Посылать письма и получать ихъ—въ этомъ была вся моя жизнь и мысль моя могла вращаться лишь вокругъ отсутствующей подруги. Каждый день я одиноко катался верхомъ по прекраснымъ берегамъ Позилиппо и Байи, или по направленію къ Капуѣ

и Казертѣ, или еще гдѣ-нибудь, очень часто со слезами на глазахъ и въ такой разбитости, что душа моя, полная любви и скорби, даже не испытывала желанья излиться въ стихахъ. Такъ провелъ я послѣдніе дни февраля и первую половину мая.

Но все же, въ нѣкоторые часы, менѣе тягостные, я бралъ себя въ руки и пробовалъ работать.

Я кончилъ перелагать въ стихи „Октавію“, передѣлалъ половину стиховъ „Полиника“, и мнѣ казалось, что я успѣлъ придать имъ большую твердость.

За годъ передъ этимъ я кончилъ вторую пѣснь моей маленькой поэмы; я хотѣлъ взяться за третью, но едва могъ одолѣть первый стансъ, слишкомъ веселъ былъ сюжетъ для горестнаго состоянія моей души. Такимъ образомъ, въ эти четыре мѣсяца, кромѣ писанія писемъ, полученныхъ отъ нея, другихъ занятій у меня не было.

Дѣла моей Дамы тѣмъ не менѣе начали понемногу выясняться: въ концѣ марта она получила отъ папы позволеніе выйти изъ монастыря и жить безъ огласки отдѣльно отъ мужа въ апартаментѣ, который шуринъ ея (по прежнему жившій внѣ Рима) предоставилъ ей въ своемъ римскомъ дворцѣ. Я хотѣлъ вернуться въ Римъ, и въ то же время слишкомъ хорошо понималъ, что пріличія запрещаютъ мнѣ это.

Борьба любви и долга въ нѣжномъ и честномъ сердцѣ—самая ужасная страсть, которую только можетъ вынести человѣкъ. Такъ прошелъ апрѣль, и я принялъ рѣшеніе провлачить такимъ же образомъ весь май, но около 12-го числа этого мѣсяца я, самъ не знаю какъ, очутился въ Римѣ. Какъ только я пріѣхалъ, сейчасъ же, вдохновляемый и научаемый любовью и необходимостью, я предпринялъ и привелъ къ концу цѣлый рядъ происковъ и низкопоклонныхъ хитростей, чтобы получить право жить въ томъ же городѣ, гдѣ жила возлюбленная, и видѣть ее. Такъ, послѣ столькихъ усилій, трудовъ, яростныхъ порывовъ къ свободѣ, я внезапно обратился въ человѣка, дѣлающаго визиты, кланяющагося до земли,

заявшагося въ Римѣ ремесломъ льстеца, подобно кандидату, подбирающемуся къ прелатурѣ. Я пошелъ на все, кланялся передъ всѣми, и остался въ Римѣ, благодаря снисходительности всѣхъ этихъ важничающихъ особъ и поддержкѣ пописекъ, съ правомъ или безъ права вмѣшавшихся въ дѣла моей Дамы. Къ счастью, она зависла отъ своего шурина и отъ всей этой шайки лишь со стороны своего положенія въ обществѣ, а не по состоянію своему, довольно крупному, которое было помѣщено вполне надежно и внѣ предѣловъ досягаемости съ ихъ стороны.

Г л а в а IX.

Я ВНОВЬ ГОРЯЧО ПРИНИМАЮСЬ ЗА СВОИ ЗАНЯТІЯ ВЪ РИМѢ. ЗАКАНЧИВАЮ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ПЕРВЫХЪ ТРАГЕДІЙ.

Едва успѣвъ свободно вздохнуть отъ мелкихъ ухищреній полурабскаго состоянія, въ которомъ приходилось жить, неописуемо счастливый законной свободой, съ какой могъ видѣть возлюбленную каждый вечеръ, я вернулся цѣликомъ къ работѣ. Я вновь принялся за „Полиника“ и вторично закончилъ его стихотворную обработку; затѣмъ безъ передышки перешелъ къ „Антигонѣ“, „Виргиніи“, вслѣдъ за ними къ „Агамемнону“, „Оресту“, „Пацци“, „Дону Гарсіа“, потомъ къ „Тимолеону“, который еще не былъ переложень въ стихи, и, наконецъ, въ четвертый разъ уже, къ непокорному „Филиппу“. Я отдыхалъ отъ монотонной работы надъ бѣлыми стихами, возвращаясь въ промежуткахъ къ третьей пѣсни поэмы, а въ декабрѣ того же года за одинъ пріемъ написалъ четыре первыхъ оды „Американской свободѣ“.

Мысль объ этомъ пришла мнѣ во время чтенія благородныхъ и возвышенныхъ одъ Филикайи, преисполнившихъ меня восторгомъ. У меня ушло не больше семи

дней на эти оды, причемъ третья изъ нихъ заняла лишь одинъ день; онѣ и понынѣ существуютъ почти въ томъ же видѣ, какъ были задуманы. Такъ велика для меня, по крайней мѣрѣ, разница между лирическими рѣмованными стихами и бѣлыми стихами діалога.

1782.

Въ началѣ 1782 года, видя, какъ сильно подвинулись впередъ мои трагедіи, я сталъ надѣяться, что въ этомъ году смогу закончить ихъ. Съ самаго начала я рѣшилъ, что ихъ будетъ не больше двѣнадцати, и всѣ онѣ уже были созданы, обработаны, переложены въ стихи, большая часть ихъ была уже исправлена, и я продолжалъ безъ остановокъ работать надъ стихами остальныхъ. Я работалъ надъ ними все время въ томъ порядкѣ, въ какомъ онѣ были задуманы и приведены въ исполненіе.

Однажды въ февралѣ 1782 года мнѣ попалась „Меропа“ Маффеи, и чтобы увидѣть, приобрѣлъ ли я что-нибудь въ смыслѣ стили, я прочелъ нѣсколько отрывковъ изъ нея, и былъ внезапно охваченъ негодованіемъ и яростью при мысли о томъ, какъ бѣдна и слѣпа Италия въ области театра, если эта пьеса смотрѣлась и ставилась, какъ лучшая изъ нашихъ трагедій, какъ единственно хорошая не только изъ всѣхъ существовавшихъ въ то время, что я охотно признаю, но и изъ тѣхъ, какія могли быть созданы въ Италиі. Вслѣдъ за этимъ, какъ молнія, пронеслась передъ моимъ взглядомъ другая трагедія съ тѣмъ же навваніемъ, съ тѣмъ же сюжетомъ, но гораздо болѣе простая, горячая, захватывающая, чѣмъ эта. Такъ возникла она и завладѣла моимъ воображеніемъ какъ бы насильно. Сумѣлъ ли я показать ее такой, какою она передо мною предстала, это рѣшить потомство. Если когда-нибудь стихотворецъ имѣлъ нѣкоторое основаніе воскликнуть: *Est Deus in nobis*, я могъ также сказать это, когда задумалъ, обработалъ и переложилъ въ стихи мою „Меропу“, которая не давала мнѣ покоя, пока не получила въ одинъ присѣсть тройного воплощенія—противно

моимъ привычкамъ относительно другихъ произведеній: я не дѣлалъ длинныхъ промежутковъ между тремя различными ступенями работы. Такъ же было, по правдѣ говоря, и съ „Сауломъ“. Съ марта мѣсяца я погрузился въ чтеніе Библии, но не придерживаясь строгаго порядка. Тѣмъ не менѣе, такого чтенія было достаточно, чтобы воспламенить меня поэзіей этой книги и не дать покою до тѣхъ поръ, пока я не излилъ въ библейскомъ произведеніи полученнаго мной впечатлѣнія. Я задумалъ, написалъ и много времени спустя переложилъ въ стихи „Саула“, который оказался четырнадцатою, и по моему тогдашнему убѣжденію, послѣдней моей трагедіей.

Таково было напряженіе моихъ творческихъ силъ въ этомъ году, что если бы я не принялъ рѣшенія наложить на нихъ узду, то еще двѣ библейскихъ трагедіи явились бы искушать мое воображеніе и, конечно, увлекли бы его. Но я былъ твердъ, и, находя, что, можетъ быть, и четырнадцать уже слишкомъ много, остановился на этомъ.

Врагъ извѣстствъ, хотя по натурѣ и склонный къ крайностямъ, даже во время обработки „Мероны“ и „Саула“ я такъ сожалѣлъ уже, что превзошелъ намѣченное раньше число, что далъ себѣ слово не перекладывать ихъ въ стихи до тѣхъ поръ, пока совсѣмъ не закончу остальныхъ вещей; и въ случаѣ, если бы я не получилъ отъ каждой изъ нихъ такого же, или еще болѣе живого впечатлѣнія, какъ при первой обработкѣ, я рѣшилъ ихъ не заканчивать. Но всѣ мои обѣщанія, рѣшенія, все было бесполезно; я не могъ поступить иначе, не могъ вернуться къ прежнимъ вещамъ, пока послѣднія не получили полнаго завершения. Такъ родились эти двѣ трагедіи, болѣе непосредственныя, чѣмъ всѣ другія. Я раздѣлю съ ними славу, если онѣ заслужили ее, и если она придетъ,—отнесу на ихъ долю и большую мѣру порицанія, если будетъ и оно, ибо онѣ пожелали родиться и занять мѣсто среди другихъ трагедій помимо моей воли. Ни одна изъ нихъ не стоила мнѣ столько труда и времени, чѣмъ эти двѣ.

Такъ или иначе, къ концу сентября 1782 года всѣ четырнадцать трагедій моихъ были написаны подъ диктовку, переписаны, исправлены и переложены въ стихи. Но черезъ нѣсколько мѣсяцевъ я замѣтилъ и убѣдился, что онѣ еще очень далеки отъ совершенства. Я считалъ ихъ совершенными, и до этого смотрѣлъ на себя, какъ на перваго человѣка въ мѣрѣ. За десять мѣсяцевъ я переложилъ въ стихи семь трагедій; задумалъ, написалъ прозой и переложилъ въ стихи двѣ новыхъ вещи; наконецъ, я продиктовалъ и исправилъ всѣ четырнадцать. Октябрь мѣсяцъ, памятное для меня время, принесъ мнѣ послѣ самой жестокой усталости покой, столь же сладостный, сколько и необходимый. Я опредѣлилъ нѣсколько дней на маленькое путешествіе верхомъ въ Терни, съ цѣлю увидѣть знаменитый водопадъ. Переполненный тщеславіемъ, я открывался прямо лишь самому себѣ, и тонко давалъ объ этомъ понять своей возлюбленной, склонной (безъ сомнѣнія, благодаря привязанности ко мнѣ) принимать меня за великаго человѣка; она больше всѣхъ вдохновляла мои попытки достигъ этой славы. Такимъ образомъ, послѣ двухъ мѣсяцевъ, протекшихъ въ опьяненіи молодымъ самолюбіемъ, я опомнился и, проэкзаменовавъ еще разъ мои четырнадцать трагедій, увидѣлъ, сколько надо еще пройти, чтобы достигнуть столь страстно желанной цѣли. Во всякомъ случаѣ, такъ какъ мнѣ не было еще тридцати четырехъ лѣтъ, и такъ какъ я былъ молодъ и на литературномъ поприщѣ, гдѣ за мной числилось всего восемь лѣтъ труда я утвердился болѣе крѣпко, чѣмъ когда бы то ни было, въ надеждѣ добиться лавроваго вѣнка. Лицо мое, не могу отрицать этого, выдавало себя отблескомъ этой благородной надежды, которой мой языкъ никогда не обнаруживалъ.

Въ нѣсколько пріемовъ я съ успѣхомъ читалъ уже всѣ эти трагедіи въ различныхъ кружкахъ, въ смѣшанномъ обществѣ мужчинъ и женщинъ, ученыхъ и идиотовъ, людей чувствительныхъ къ языку страсти и невѣждъ. Читая мои произведенія я искалъ, по правдѣ говоря, не

олько похвалъ, но и пользы. Я достаточно зналъ людей и свѣтъ, чтобы не довѣрять тѣмъ незначущимъ похва-ламъ, въ которыхъ никогда не отказываютъ читающему автору; вѣдь, онъ ничего не проситъ, а надсаживается въ кружкѣ вѣжливыхъ и хорошо воспитанныхъ людей. Я дорожилъ этими похвалами въ мѣру ихъ настоящей цѣн-ности, и ничуть не больше; но совершенно иначе я цѣнилъ свидѣтельство, хвалебное или порицающее, которое въ противоположность свидѣтельству устъ я назвалъ бы сви-дѣтельствомъ сидѣнія, хотя выраженіе это и можетъ показаться неудобнымъ; но я нахожу его изобразитель-нымъ и вѣрнымъ.

Поясню это: каждый разъ, когда вы собираете у себя двѣнадцать или четырнадцать человѣкъ, смѣшанное обще-ство, какъ я уже говорилъ, — духъ собранія столь различ-ныхъ людей въ общемъ очень приближается къ тому, который царитъ въ театральной публикѣ. Хотя эта ма-ленькая аудиторія не платитъ за мѣста, и хотя вѣжли-вость предписываетъ ей держать себя извѣстнымъ обра-зомъ, тѣмъ не менѣе холодъ и скука, которая овладѣваетъ ею во время слушанія, никогда не могутъ быть скрыты, и еще того менѣе могутъ замѣниться настоящимъ вниманіемъ, горячимъ интересомъ, живымъ нетерпѣніемъ знать, чѣмъ окончится дѣйствіе. Слушатель не въ силахъ держать въ повиновеніи выраженіе своего лица, ни пригвоздить себя неподвижно къ сидѣнію; и оба независимые признака — степень вниманія и выраженіе лица — послужатъ автору надежными показателями того, воспринимаютъ или не воспринимаютъ его слушатели. За этими признаками я постоянно внимательно слѣдилъ во время чтенія, и мнѣ всякій разъ казалось (если только я не обманывался), что въ теченіе двухъ третей того времени, которое нужно было для прочтенія цѣлой трагедіи, слушатели мои сидѣли неподвижно, были взволнованы, внимательны, и съ тре-вожнымъ напряженіемъ ждали развязки дѣйствія. Это до-казывало, что даже при самыхъ извѣстныхъ сюжетахъ развязка не подразумѣвалась сама собою и оставляла

зрителя въ томленіи неизвѣстности до самаго конца. Однако, я долженъ тутъ же признаться, что при чтеніи для меня самого становилось очевиднымъ присутствіе длиннотъ и холодныхъ декламаторскихъ пассажей, которые навѣвали скуку и на меня, когда я читалъ ихъ другимъ; и я замѣчалъ молчаливую, но искреннюю критику тѣхъ мѣстъ въ благодатныхъ зѣвкахъ, невольномъ кашлѣ, въ безпокойныхъ движеніяхъ, которые проносились среди слушателей и помимо ихъ воли произносили судъ надъ произведеніемъ и предупреждали автора. Не стану даже отрицать, что послѣ такихъ чтеній мнѣ надо было выслушать не мало прекрасныхъ совѣтовъ отъ литераторовъ, отъ просто свѣтскихъ людей и особенно отъ дамъ, когда дѣло касалось страстей сердца. Литераторы говорили о стилѣ и правилахъ драматическаго искусства; свѣтскіе люди—о занимательности сюжета, о характерахъ и дѣйствіяхъ героевъ; тупицы же сослужили мнѣ службу по своему—своимъ едва скрываемымъ потягиваніемъ и храпомъ. Все вмѣстѣ, по моему мнѣнію, оказало мнѣ немалую пользу. Выслушивая всѣхъ, запоминая все, не пренебрегая ничѣмъ, не презирая никого изъ моихъ критиковъ, хотя я уважалъ очень немногихъ изъ нихъ, я извлекъ затѣмъ изъ всего этого то, что было наиболѣе подходяще для меня и моего искусства. Къ этимъ признаніямъ присоединю напоследокъ еще одно: я прекрасно сознавалъ, что читая полупублично свои трагедіи людямъ, которые далеко не всегда бывали къ нимъ доброжелательны, я легко могъ стать предметомъ насмѣшки. Но я не раскаиваюсь въ томъ, что поступалъ такимъ образомъ, если это послужило на пользу мнѣ и моему дѣлу. Если же я ошибся, то эта нелѣпость стучится передъ гораздо большей: передъ тѣмъ, что я имѣлъ глупость напечатать свои трагедіи и ставить ихъ на сценѣ.

Г л а в а X.

ПОСТАНОВКА „АНТИГОНЫ“ ВЪ РИМѢ.—Я ПЕЧАТАЮ ПЕРВЫЯ ЧЕТЫРЕ ТРАГЕДИИ.—МУЧИТЕЛЬНѢЙШАЯ РАЗЛУКА.—ПУТЕШЕСТВІЕ ВЪ ЛОМБАРДИЮ.

Такимъ-то образомъ я находился тогда въ состояніи полуотдыха, создавая себѣ понемногу славу трагическаго писателя, хотя еще не зналъ, напечатаю ли теперь же свои трагедіи, или подожду. Но случай предоставилъ мнѣ возможность средняго пути; именно, дать одну изъ своихъ трагедій для постановки избранному кружку свѣтскихъ любителей. Драматическій кружокъ, о которомъ я говорю, уже выступалъ нѣкоторое время въ частномъ театрѣ, устроенномъ во дворцѣ тогдашняго испанскаго посланника, герцога Гримальди. До сихъ поръ ставились трагедіи и комедіи, дурно переведенныя съ французскаго. Я присутствовалъ, между прочимъ, на представленіи пьесы Томаса Корнеля „Le Comte d'Essex“, не знаю кѣмъ переведенной на итальянскій языкъ, въ которой герцогиня Цагароло довольно дурно исполняла роль Елисаветы. Такъ какъ, несмотря на это, герцогиня была чрезвычайно хороша собой, умѣла великолѣпно держаться на сценѣ и, кромѣ того, очень сознательно относилась къ своей роли, мнѣ показалось, что при нѣкоторомъ стараніи изъ нея можно сдѣлать отличную актрису. Это вызвало во мнѣ желаніе испытать съ помощью этихъ актеровъ одну изъ моихъ слѣшкомъ многочисленныхъ трагедій. Мнѣ хотѣлось на опытѣ убѣдиться, могла ли имѣть успѣхъ та манера, которой я далъ преимущество передъ всѣми другими: простота и обнаженность дѣйствія, самое ограниченное число дѣйствующихъ лицъ, прерывистый стихъ; я намѣренно избралъ съ этой цѣлью свою „Антигону“, наименѣе страстную изъ всѣхъ моихъ трагедій, рѣшивъ про себя, что если она будетъ имѣть успѣхъ, то тѣмъ большій достанется на долю другихъ, гораздо болѣе увлекательныхъ и разнообразныхъ въ переходахъ страстей.

Аристократическіе актеры съ удовольствіемъ приняли

предложеніе попробовать поставить мою „Антигону“. Однако, среди членовъ этой любительской группы въ то время лишь одно лицо было способно провести отвѣтственную роль въ трагедіи,—именно герцогъ Чери, братъ упомянутой герцогини Цагароло,—то я счелъ необходимымъ взять на себя роль Креона. Гемона я предоставилъ играть Чери; его женѣ была дана роль Аргіи; важнѣйшая роль Антигоны принадлежала по праву величественной герцогинѣ Цагароло. Съ такимъ распредѣленіемъ ролей и была сыграна моя трагедія. Не стану рассказывать здѣсь о самомъ представленіи, такъ какъ ужъ слишкомъ часто говорилъ объ этомъ въ другихъ своихъ сочиненіяхъ.

Нѣсколько возгордившись успѣхомъ этой первой пробы, я рѣшился, наконецъ, въ началѣ слѣдующаго 1783 года, впервые предать свои трагедіи страшному испытанію печатанія. Самый процессъ изданія показался мнѣ мало пріятнымъ, но я вполнѣ оцѣнилъ всѣ прелести этого дѣла, когда на опытѣ узналъ, что такое литературная вражда и дразги, козни книгопродавцевъ, приговоры журналистовъ, болтовня газетъ, однимъ словомъ, всѣ тѣ тяжелыя испытанія, которыхъ не можетъ избѣжать печатающійся авторъ. Все это до сихъ поръ оставалось мнѣ неизвѣстнымъ въ такой степени, что я даже не зналъ о существованіи литературныхъ журналовъ, печатающихъ критическія статьи. Вотъ какъ я былъ неотесанъ, неопытенъ и совершенно наивенъ въ ремеслѣ писателя.

Рѣшивъ печататься, и видя, что въ Римѣ не оберусь хлопотъ отъ придирчивой цензуры, я написалъ въ Сиену своему другу съ просьбой взять на себя заботы объ этомъ дѣлѣ. Онъ взялся съ величайшимъ рвеніемъ, вмѣстѣ съ нѣсколькими своими друзьями и знакомыми, общавъ мнѣ, что за всѣми присмотритъ лично и будетъ прилежно и неустанно торопить типографа. Для перваго раза я отважился рискнуть только четырьмя первыми изъ моихъ трагедій, и послалъ ихъ моему другу въ рукописи, безупречной со стороны почерка и орфографіи, но, увы, еще очень несовершенной со стороны легкости, изящества

и ясности стиля. Въ своей невинности я полагалъ, что когда авторъ сдалъ свою рукопись типографу, его дѣло сдѣлано. Позже я на горькомъ опытѣ узналъ, что тогда-то вновь и начинается для него серьезный трудъ.

Въ теченіе, по крайней мѣрѣ, двухъ мѣсяцевъ, какъ длилось печатаніе этихъ четырехъ трагедій, я находился въ Римѣ какъ бы на горячихъ угольяхъ и постоянно испытывалъ нетерпѣливый трепетъ и какую-то умственную лихорадку; неоднократно я готовъ былъ поддаться искушенію отступить и взять назадъ изъ типографіи свою рукопись. Наконецъ, я получилъ въ Римѣ одну за другой всѣ четыре трагедіи, изданныя очень хорошо, безъ всякихъ опечатокъ, благодаря стараніямъ моего друга, но напечатанныя очень грязно, какъ всякій можетъ убѣдиться,—это вина типографа, и варварски версифицированныя, какъ я успѣлъ съ тѣхъ поръ убѣдиться,—вина автора. Ребяческая забава, состоявшая въ томъ, что я ходилъ изъ дому въ домъ по Риму и всюду оставлялъ хорошо переплетенные томики своей книги, съ цѣлью добиться одобренія, это ребячество отняло у меня не мало дней и сдѣлало смѣшнымъ даже въ моихъ собственныхъ глазахъ. Между прочимъ, я преподнесъ свою книгу тогдашнему папѣ Пію VI, которому былъ уже представленъ за годъ передъ тѣмъ, поселившись въ Римѣ. Я долженъ сдѣлать здѣсь признаніе въ томъ, какъ я опозорился при этой аудіенціи. Я не питалъ слишкомъ большого уваженія къ сану папы; еще менѣе было его у меня къ Браски*), какъ писателю, ибо лучше молчать о его заслугахъ въ этой области. И, тѣмъ не менѣе, я явился къ папѣ и торжественно преподнесъ ему свою книгу; онъ благосклонно принялъ ее, раскрылъ и отложилъ на столикъ, высказавъ мнѣ много похвалъ; при этомъ не позволилъ облобызать ему ногу, но самъ поднялъ меня,—я былъ предъ нимъ на колѣняхъ,—и въ этой смиренной позѣ съ отцовской снисходительной лаской потрепалъ меня по

*) Фамилія Піа VI.

цекъ; болѣе того — тотъ самый Альфіери, который уже вынашивалъ въ душѣ свой горделивый советъ о Римѣ, отвѣчалъ тогда со слащавой лестью царедворца на комплименты, какими милостиво осыпалъ его римскій первосвященникъ по поводу представленія „Антигоны“, о которой онъ, по его увѣреніямъ, слышалъ лучшіе отзывы; и выбравъ моментъ, когда папа спрашивалъ меня, намѣренъ ли я еще писать трагедіи, и хвалилъ это благородное и прекрасное искусство, я отвѣчалъ ему, что у меня ихъ написано уже много, и въ числѣ ихъ „Саулъ“, сюжетъ котораго, почерпнутый изъ священнаго писанія, даетъ мнѣ смѣлость просить у Его Святѣйшества позволенія посвятить ему это произведеніе. Папа съ извиненіемъ отклонилъ мою просьбу, сказавъ, что не можетъ принять посвященіе никакого драматическаго сочиненія, какого бы оно ни было рода, и я ни слова не возразилъ ему. Сознаюсъ, что я испыталъ тогда два укола самолюбія, которые были очень различны, но оба одинаково заслужены. Первый — обида отказа, на который я самъ напросился; второй — горькое сознаніе, что я вынужденъ уважать себя меньше, чѣмъ папу, если я имѣлъ низость, слабость или двоедушіе (къ такому поступку побудила меня, разумѣется, одна изъ этихъ причинъ, если только не всѣ вмѣстѣ) выразить свое почтеніе, посвящая ему трагедію — человѣку, котораго я считалъ много ниже себя въ отношеніи дѣйствительныхъ заслугъ. Однако, хочу, если не для оправданія, то, по крайней мѣрѣ, для объясненія этого кажущагося или дѣйствительнаго противорѣчія между моими поступками и моими убѣжденіями изложить здѣсь съ полной искренностью единственное и истинное основаніе, которое заставило меня проституировать котурну передъ тиарой. Вотъ это основаніе. Священники съ нѣкотораго времени стали распространять слухъ, исходящій изъ дома шурина моей возлюбленной, что онъ и всѣ его приближенные очень косо смотрятъ на мои слишкомъ частые визиты къ его золовкѣ; и такъ какъ ихъ враждебность съ каждымъ днемъ увеличивалась, я заду-

малъ цѣною лести предъ папой оградить себя впоследствии отъ преслѣдованій, которыя уже предчувствовалъ, и которыя, дѣйствительно, меньше, чѣмъ черезъ мѣсяцъ разразились надъ моею головою. Я считалъ также, что представленіе „Антигоны“ вызвало слишкомъ много толковъ обо мнѣ въ обществѣ и увеличило этимъ число моихъ враговъ. Если я допустилъ тогда низкій и нечестный поступокъ, то побужденіемъ моимъ была одна любовь; и пусть кто-нибудь посмѣется надо мной, если это возможно, но пусть и узнаетъ во мнѣ себя. Я могъ бы не извлекать этотъ случай изъ потемокъ, гдѣ онъ скророненъ. Но мнѣ захотѣлось рассказать о немъ, чтобы онъ послужилъ урокомъ и для другихъ. Стыдъ мѣшалъ мнѣ до сихъ поръ повѣдать о немъ кому-нибудь вслухъ. Я рассказаль объ этомъ лишь своей Дамѣ, спустя нѣкоторое время. Я коснулся его также съ цѣлью утѣшить современныхъ авторовъ, которыхъ несчастныя обстоятельства принуждаютъ обезпечивать себя и свои творенія лживыми предисловіями; я хочу также, чтобы недоброжелатели мои могли сказать съ извѣстной долей правильности, что если я не дошелъ до полного паденія отъ такихъ продѣлокъ, то это забота судьбы, не пожелавшей, чтобы я сдѣлался подлецомъ или казался бы имъ.

10 мая.

Въ апрѣлѣ 1783 года супругъ моей Дамы опасно заболѣлъ во Флоренціи. Братъ кардиналъ тотчасъ отправился къ нему, желая застать въ живыхъ. Но болѣзнь ушла также быстро, какъ пришла, онъ выздоровѣлъ и былъ внѣ всякой опасности. Во время выздоровленія кардиналъ оставался во Флоренціи около двухъ недѣль, и священники, которыхъ онъ привезъ съ собою изъ Рима, посовѣтывавшись съ флорентійскими, рѣшили отъ имени мужа поставить на видъ кардиналу и убѣдить его, что онъ не можетъ и не долженъ дозволять дольше невѣсткѣ въ Римѣ, въ собственномъ домѣ, жить такъ, какъ она живетъ. Я не выступаю здѣсь съ апологіей образа

жизни, котораго придерживаются въ Римѣ и всюду въ Италіи почти всѣ замужнія женщины. Ограничусь замѣчаніемъ, что поведеніе моей Дамы на мой взглядъ было не только не ниже, а выше того, что обыкновенно практикуется въ Римѣ. Прибавлю, что неправота мужа, его грубая, гнусная манера обращенія съ ней были извѣстны всему свѣту. Тѣмъ не менѣе я сознаюсь здѣсь изъ любви къ истинѣ и справедливости, что мужъ, шурина и всѣ священники съ своей стороны имѣли достаточныя причины не одобрять моихъ слишкомъ частыхъ посѣщеній ея дома, хотя послѣднее и не выходило изъ границъ приличія. Но что меня выводило изъ себя, это усердіе священниковъ, единственныхъ двигателей въ этой интригѣ, усердіе, въ которомъ не было ничего евангельски чистаго отъ свѣтскихъ побужденій, потому что многіе изъ нихъ въ то же время собственнымъ печальнымъ примѣромъ служили какъ бы похвалою моему поведенію и сатирой на самихъ себя. Ихъ гнѣвъ не былъ порожденіемъ искренняго благочестія и строгой добродѣтели, а лишь коварствомъ и мстительностью.

Едва вернувшись въ Римъ, шурина заявилъ моей Дамѣ черезъ своихъ священниковъ, что онъ твердо рѣшилъ вмѣстѣ съ братомъ положить конецъ моимъ частымъ посѣщеніямъ его дома, и что съ своей стороны онъ не станетъ ихъ больше сносить. Затѣмъ этотъ горячій и безразсудный человѣкъ, какъ будто это и было наиболѣе достойнымъ отношеніемъ къ происходящему, вызвалъ скандальную болтовню по всему городу, самъ говорилъ объ этомъ со многими и добрался со своими сѣтованіями даже до папы. Прошелъ слухъ, что папа далъ мнѣ совѣтъ или приказаніе покинуть Римъ; въ дѣйствительности этого не было, но онъ легко могъ сдѣлать это, по милости италійской свободы. Тогда, вспомнивъ, какъ въ академіи, много лѣтъ назадъ, нося парикъ, какъ я уже говорилъ, я предупредилъ враговъ, снявъ его раньше, чѣмъ они стащили бы его силой; также и теперь, предваря оскорбительное изгнаніе изъ Рима, я рѣшилъ ухватить самъ. Я отправился

къ сардинскому посланнику и попросилъ его увѣдомить государственнаго секретаря, что узнавъ о поднявшемся скандалѣ, я слишкомъ принялъ къ сердцу доброе имя, честь и спокойствіе столь чтимой мною дамы, и рѣшилъ немедленно удалиться на время, чтобы положить конецъ злымъ толкамъ, и что я уѣзжаю въ первыхъ числахъ слѣдующаго мѣсяца. Это горькое и добровольное рѣшеніе понравилось посланнику и получило одобреніе государственнаго секретаря, папы и всѣхъ, кто былъ знакомъ съ истиннымъ положеніемъ дѣлъ. Я приготовился къ жестокому для меня отъѣзду. Поступку моему больше всего содѣйствовало то, что я предвидѣлъ, какимъ печальнымъ и ужаснымъ стало бы отнынѣ мое существованіе, если бы я продолжалъ жить въ Римѣ, не имѣя возможности попрежнему видѣться съ ней въ ея домѣ, или же обречь ее на тысячу неприятностей, если бы попытался видѣться съ ней въ другомъ мѣстѣ совершенно открыто или подъ бесполезнымъ покровомъ недостойной таинственности. А жить обонмъ въ Римѣ и не видѣться было бы для меня такой пыткой, что, по согласію съ возлюбленной, изъ двухъ золъ выбирая меньшее, я предпочелъ разлуку въ ожиданіи лучшихъ дней.

4 мая 1783 года, въ день, отмѣченный для меня самымъ горестнымъ воспоминаніемъ, я уѣхалъ отъ той, которая была больше, чѣмъ половиной меня самого. Изъ четырехъ или пяти разлукъ съ нею, это была наиболѣе ужасной, ибо всякая надежда на свиданіе становилась отдаленной и невѣрной.

Это событіе снова внесло въ мой духъ смятеніе, продолжавшееся въ теченіе двухъ лѣтъ, замедлившее мои занятія и во всѣхъ отношеніяхъ повредившее имъ.

За два года пребыванія моего въ Римѣ я велъ жизнь поистинѣ счастливую. Вилла Строщи, близъ термъ Діоклетіана, служила мнѣ восхитительнымъ убѣжищемъ. Я посвящалъ занятіямъ долгія утра, выходя изъ дому лишь на часъ или на два, чтобы покататься верхомъ по необозримымъ безлюднымъ окрестностямъ Рима, манящимъ къ

раздумью, слезамъ и стихотворству. Вечеромъ я возвращался въ городъ и, отдохнувъ отъ занятій въ обществѣ той, единой, которой принадлежала моя жизнь и мои занятія, возвращался, довольный, въ свое уединенное жилище, куда рѣдко попадалъ позже одиннадцати. Трудно было бы найти въ большомъ городѣ мѣсто болѣе свѣтлое, свободное, болѣе деревенское, подходящее къ моему настроенію, къ моему характеру и моимъ занятіямъ. До конца жизни я буду вспоминать о немъ съ сожалѣніемъ.

Оставивъ такимъ образомъ въ Римѣ свою единственную любовь, свои книги, эту дорогую мнѣ виллу, покой и себя самого, я удалился, какъ глупецъ и безумецъ. Я направился къ Сиенѣ, чтобы имѣть, по крайней мѣрѣ, возможность поплакать на свободѣ нѣсколько дней съ другомъ. Я еще самъ не зналъ какъ слѣдуетъ, куда поѣду, гдѣ устроюсь, что буду дѣлать. Большое утѣшеніе нашелъ я въ бесѣдѣ съ этимъ несравненнымъ человѣкомъ, добрымъ, сострадательнымъ и при такой высотѣ и пламенности чувствъ обладающимъ столь человѣчною душою. Лишь въ горѣ познаешь цѣну и значеніе истиннаго друга. Не будь его, я, вѣроятно, легко потерялъ бы разсудокъ. Но онъ считалъ меня за героя, постыдно униженнаго и падшаго ниже себя самого; и хотя зналъ по опыту, что такое сила и добродѣтель, не пожелалъ, однако, съ жестокостью и не къ мѣсту противополгать моему безумію свой строгій и холодный разумъ; у него было искусство въ сильной мѣрѣ ослаблять мою печаль, раздѣляя ее со мною. О, рѣдкій и по истинѣ небесный даръ въ одно и то же время и разсуждать и чувствовать!

Такъ какъ мои умственные способности были въ то время приижены и полузаснули, для меня оставалось одно только занятіе, одна мысль—писать письма. За время этой третьей разлуки, которая изъ всѣхъ была самой продолжительной, я написалъ ихъ цѣлые томы. Трудно передать, что я писалъ тогда. Я изливалъ тоску, дружбу, любовь, гнѣвъ—однимъ словомъ всѣ противоборствующія и неукротимыя страсти своего сердца, переполненнаго до кра-

евъ, своей смертельно раненой души. Всѣ литературныя мысли заглохли во мнѣ; я сталъ настолько равнодушенъ ко всему, что не касалось ея, что письма, которыя я получалъ въ это время въ Тосканѣ, нерѣдко содержавшія самую отрицательную критику моихъ напечатанныхъ трагедій, произвели на меня не больше впечатлѣнія, чѣмъ если бы они говорили о чужихъ произведеніяхъ. Изъ этихъ писемъ нѣкоторыя были написаны остро и искусно, но большая часть отличалась грубостью и отсутствіемъ ума; инныя были подписаны, другія—анонимны; всѣ они почти исключительно нападали на мой стиль, очень грубый, темный и экстравагантный, какъ говорилось въ письмахъ; но ихъ авторы не хотѣли или не могли ни въ одномъ изъ нихъ указать мнѣ опредѣленно, гдѣ они нашли этотъ недостатокъ и въ чемъ именно онъ состоитъ. Позже, когда я былъ въ Тосканѣ, мой другъ, желая разсвѣтать мои мысли, всецѣло поглощенный однимъ предметомъ, читалъ мнѣ во флорентинскихъ и пизанскихъ листкахъ, которыя назывались газетами, добавленія къ тѣмъ вышеназваннымъ письмамъ, которыя были отправлены въ Римъ. То были первыя вообще литературныя газеты, которыя попались мнѣ на глаза и въ руки. Тогда то я проникъ въ сокровенныя глубины этого почтеннаго искусства, которое съ одинаковымъ знаніемъ дѣла, умѣньемъ и развязностью хвалить или бранить появляющіяся книги смотря по тому, какъ поступили авторы этихъ книгъ: подкупили, ублажили лестью или отнеслись съ равнодушіемъ и презрѣніемъ. Признаться, я мало обратилъ вниманія на эти ничтожныя рецензіи, такъ какъ былъ безъ остатка сосредоточенъ на совсѣмъ иныхъ мысляхъ.

Я пробылъ въ Сіенѣ около трехъ недѣль, въ теченіе которыхъ никого не видѣлъ и ни у кого не бывалъ, кромѣ своего друга. И вотъ на исходѣ этого времени мною овладѣло опасеніе стать ему въ тягость, потому что я надобѣлъ самому себѣ; невозможность заняться какимъ-нибудь дѣломъ, потребность перемѣнить мѣсто, которая возвращалась ко мнѣ всякій разъ вмѣстѣ со скукой и бездѣятель-

ностью,—все это вмѣстѣ взятое побудило меня принять рѣшеніе еще разъ ъѣхать отъ тоскливой бездѣятельности, пустившись въ путешествіе. Приближался праздникъ Вознесенія, и я уѣхалъ въ Венецію, гдѣ уже однажды встрѣчалъ его много лѣтъ назадъ. Черезъ Флоренцію я проѣхалъ, не останавливаясь; мнѣ слишкомъ больно было видѣть тѣ мѣста, гдѣ я былъ такъ счастливъ, и которыя теперь только увеличивали своимъ видомъ мою скорбь. Развлеченія путешествія, его утомительность и, главнымъ образомъ, ѣзда на лошади хорошо отразились на моемъ здоровьѣ, которое въ прошедшіе три мѣсяца очень пострадало отъ непрерывной напряженности ума, души и сердца.

Выѣхавъ изъ Болоньи, я уклонился съ прямого пути, чтобы заѣхать въ Равенну и поклониться могилѣ великаго Данте. Я провелъ цѣлый день возлѣ нея въ молитвѣ, мечтахъ и слезахъ. Во время пути изъ Сиенны въ Венецію въ сердцѣ моемъ открылся новый и обильный источникъ страстной поэзіи, и не проходило дня, чтобы нѣкая сила не заставляла меня писать одинъ или нѣсколько сонетовъ, которые властно и сами собою зарождались въ моемъ возбужденномъ воображеніи. Уже въ Венеціи я узналъ о заключеніи мира между Англіей и американцами, который обезпечивалъ послѣднимъ полную свободу и независимость; тогда я написалъ свою пятую оду о „Свободной Америкѣ“ и тѣмъ завершилъ эту небольшую лирическую поэму.

Изъ Венеціи я поѣхалъ въ Падую, и на этотъ разъ ужъ не забылъ, подобно двумъ предыдущимъ, посѣтить въ Арка жилище и могилу нашего царственного учителя въ искусствѣ любви. Здѣсь также я посвятилъ цѣлый день слезамъ и поэзіи, чтобы излить все, что скопилось на сердцѣ, и облегчить его. Въ Падуѣ я завязалъ личное знакомство со знаменитымъ Чезаротти, живыя и привлекательныя манеры котораго очаровали меня не меньше, чѣмъ высокое совершенство его стиховъ при переводѣ „Оссіана“. Изъ Падуи я вернулся въ Болонью, по дорогѣ заѣхавъ въ Феррару, гдѣ совершилъ свое четвертое

поэтическое богомолье, осмотрѣвъ гробницу и рукописи Аріосто. Я уже много разъ посѣщалъ въ Римѣ мѣсто упокоенія Тассо и его колыбель въ Сорренто, куда я нарочно заѣхалъ во время послѣдней поѣздки въ Неаполь. Эти четыре поэта Италіи были тогда, остаются и будутъ навсегда первыми для меня, скажу даже—единственными среди поэтовъ, писавшихъ на этомъ восхитительномъ языкѣ. Мнѣ всегда казалось, что у нихъ есть все, что можетъ дать человѣчеству поэзія, за исключеніемъ развѣ строя бѣлаго стиха въ діалогѣ; но и его можно извлечь изъ матеріала, который они употребляли, и реконструировать его, переначивъ на нѣсколько иной ладъ. Вотъ уже шестнадцать лѣтъ, какъ не проходитъ дня, чтобы я не держалъ въ рукахъ твореній этихъ четырехъ великихъ мастеровъ стиха, и они представляются мнѣ всегда новыми, всегда все болѣе совершенными въ лучшемъ изъ того, что они создали, и прибавлю, всегда очень полезными въ худшемъ. Я не настолько слѣпъ и фанатиченъ, чтобы не видѣть, что у каждого изъ четырехъ есть посредственныя и даже дурныя вещи; но я утверждаю, что многому, очень многому можно научиться на ихъ ошибкахъ и неудачахъ. Для этого надо умѣть вникнуть въ тайну ихъ побужденій и намѣреній, такъ какъ нельзя достаточно понять ихъ и полно ими наслаждаться, если не до конца имъ прочувствуешь.

Изъ Болоньи, все такъ же проливая слезы и сочиняя, стихи, я отправился въ Миланъ. Тамъ я оказался вблизи моего дорогого аббата Калузо, пріѣхавшаго провести нѣкоторое время у своихъ племянниковъ въ ихъ прелестномъ замкѣ Мазино, находившемся по близости отъ Верчелли. Я провелъ съ нимъ пять или шесть дней; тутъ мнѣ пришло въ голову, что я нахожусь почти у самыхъ воротъ Туррина, и мнѣ стало совѣстно не заглянуть туда и не обнять сестры. Я заѣхалъ къ ней на одну ночь вмѣстѣ съ другомъ и на слѣдующій день къ вечеру мы вернулись въ Мазино. Я покинулъ свою родину со времени отказа отъ имущества и хотѣлъ заставить повѣрить, что сдѣ-

лалъ это съ дѣлю болѣе не возвращаться. Поэтому я ни за что не хотѣлъ, чтобы меня тамъ такъ скоро увидали, особенно при дворѣ. Вотъ почему я лишь мелькомъ погостилъ у сестры; это мимолетное посѣщеніе, которое многіе сочтутъ, можетъ быть, чудаческимъ, представится инымъ, если знать его причины. Прошло уже шесть лѣтъ, какъ я покинулъ Туринъ, гдѣ не чувствовалъ себя въ безопасности, не имѣлъ ни покоя, ни свободы, и теперь я не долженъ былъ, не хотѣлъ, не могъ пробыть здѣсь дольше.

Изъ Мазино я скоро вернулся въ Миланъ, гдѣ провель еще почти весь іюль. Я довольно часто встрѣчался въ это время со своеобразнымъ авторомъ „Утра“, этимъ истиннымъ предшественникомъ будущей итальянской сатиры. Этотъ знаменитый и образованный писатель научилъ меня терпѣливо отыскивать нужныя выраженія и настойчивому желанію найти ихъ, такъ какъ отсутствіе этихъ способностей было причиной важнѣйшихъ недостатковъ въ стилѣ моихъ трагедій. Съ чисто отеческой добротой Парини давалъ мнѣ разные совѣты, по правдѣ сказать, по маловажнымъ предметамъ, которые въ совокупности своей не могутъ создать того, что зовется стилемъ, а образуютъ лишь нѣкоторые его элементы. Относительно же того, что представляетъ главнѣйшій, если не единственный порокъ стиля, и до чего я не могъ тогда дойти собственнымъ размышленіемъ—относительно этого ни Парини, ни Чезаротти ничего не умѣли сказать мнѣ; и не они одни, но и ни одинъ изъ заслуженныхъ писателей, которыхъ я посѣтилъ и разспрашивалъ съ жаромъ и скромностью новичка во время моего путешествія по Ломбардіи. И лишь гораздо позже, послѣ многихъ лѣтъ труда и колебаній, мнѣ удалось самому понять, въ чемъ заключается этотъ порокъ и пришлось самому пытаться устранить его.

Въ общемъ мои трагедіи имѣли бѣльшій успѣхъ по ту сторону Аппенинъ, чѣмъ въ Тосканѣ; даже стиль ихъ встрѣтилъ тамъ менѣе яростныхъ и болѣе просвѣщенныхъ критиковъ. То же было въ Римѣ и Тосканѣ среди

небольшого кружка лицъ, которые удостоили прочесть мою книгу. Повидимому, Тоскана обладает древней привилегіей такимъ страннымъ образомъ ободрять писателей Италіи, когда они пишутъ не для шутки.

Глава XI.

Я ПЕЧАТАЮ ЕЩЕ ШЕСТЬ ТРАГЕДІЙ.—КРИТИЧЕСКІЕ ОТЗЫВЫ О ЧЕТЫРЕХЪ ПЕРВЫХЪ.—ОТВѢТЬ НА ПИСЬМА КАЛЬСАБИДЖИ.

Въ первыхъ числахъ августа я уѣхалъ изъ Милана и возвратился въ Тоскану. Я поѣхалъ новой, замѣчательно живописной и красивой дорогой, черезъ Модену и Пистойю. Въ пути я впервые попробовалъ заключить въ эпиграммы поэтическую желчь, освѣщую на моемъ сердцѣ. Я былъ глубоко убѣжденъ, что если языкъ нашъ бѣденъ сатирическими, язвическими, остро отточенными эпиграммами, то не его въ томъ вина; ибо его клювъ и когти достаточно остры, а мѣткости, точности и энергіи въ немъ столько же, и даже больше, чѣмъ въ любомъ другомъ языкѣ. Флорентинскіе педанты, къ которымъ приближалъ меня каждый часъ пути по направленію къ Пистойѣ, доставляли мнѣ богатый матеріалъ для упражненія въ этомъ новомъ для меня искусствѣ. Во Флоренціи я остановился на нѣсколько дней и посѣтилъ нѣкоторыхъ изъ этихъ господъ, нарядившись въ овечью шкуру; цѣль моя была—научиться чему-нибудь или добыть сюжеты для сатиры. Перваго я не достигъ, зато собралъ богатую жатву для насмѣшекъ.

Эти скромные мудрецы недвусмысленно внушали мнѣ, что если бы передъ печатаніемъ я отдалъ имъ свою рукопись для исправленія, мои произведенія были бы отличны. Они наговорили мнѣ еще тысячу тонко сдобренныхъ колкостей. Я терпѣливо разспрашивалъ ихъ, въ чемъ погрѣшилъ противъ чистоты и точности языка,

противъ священныхъ правилъ грамматики, гдѣ они находятъ въ моихъ стихахъ солецизмы, варваризмы, неправильности размѣра. Они плохо знаютъ свое ремесло и потому не могли указать въ моей книгѣ ни одной подобной ошибки, процитировавъ опредѣленное мѣсто. Я же знаю, что я не свободенъ отъ погрѣшности противъ грамматики, но они не сумѣли найти ихъ. Они ограничились тѣмъ, что указали на нѣсколько отдѣльныхъ словъ, по ихъ мнѣнію, устарѣлыхъ, на слишкомъ краткіе, темные, неблагозвучные обороты рѣчи. Обогащенный столь замѣчательными свѣдѣніями, наученный и просвѣщенный въ трагическомъ искусствѣ мудростью такихъ ученыхъ знатоковъ, я вернулся въ Сіену. Здѣсь я рѣшилъ продолжать подъ своимъ личнымъ наблюденіемъ печатаніе трагедій, чтобы усиленной работой развлечься отъ скорбныхъ мыслей. Когда я рассказалъ другу объ указаніяхъ и познаніяхъ, которыя я почерпнулъ у литературныхъ оракуловъ Италіи, въ особенности пизанскихъ и флорентинскихъ,—мы провели немало веселыхъ минутъ, прежде чѣмъ взяться за работу по печатанію новыхъ трагедій, давшихъ педантамъ также поводъ смѣяться надо мной.

Я принялся за печатаніе горячо, но черезчуръ поспѣшно; уже въ концѣ сентября, т. е. менѣе чѣмъ черезъ два мѣсяца, вышли въ свѣтъ шесть трагедій въ двухъ томахъ, которые вмѣстѣ съ предыдущимъ томомъ, заключающимъ четыре трагедіи, образуютъ совокупность перваго изданія. Тутъ на горькомъ опытѣ мнѣ пришлось узнать то, чего я не зналъ еще. За нѣсколько мѣсяцевъ передъ тѣмъ я познакомился съ газетами и журналистами. Теперь мнѣ пришлось познакомиться съ цензорами рукописей, инспекторами типографій, наборщиками, печатниками и метранпажами. Послѣднія три категоріи можно, по крайней мѣрѣ, смягчить и обезвредить деньгами; но что подѣлаешь съ цензорами и инспекторами, духовными и свѣтскими? Поневолѣ приходится терпѣть ихъ и укрощать посвѣщеніями и лестью. И это не легкое дѣло. Для

первыхъ трагедій эти труды взялъ на себя другъ Гори. И онъ былъ готовъ возобновить ихъ для слѣдующихъ двухъ томовъ. Но я, пожелавъ отвѣдать всего понемногу на этомъ свѣтѣ, рѣшилъ воспользоваться случаемъ, чтобы узрѣть хмурыя брови цензоровъ и напыщенную важность инспекторовъ. И я нашелъ бы здѣсь богатое поприще для смѣха, если бы душа моя не была повержена въ такую печаль.

Я тогда впервые въ жизни самъ правилъ корректуры; но я былъ въ то время слишкомъ истомленъ и мало способенъ проявить при исправленіи стили моихъ трагедій то прилежное вниманіе, которое долженъ былъ бы проявить, которое могъ да и выказалъ нѣсколько лѣтъ спустя, переиздавая ихъ въ Парижѣ. Для исправленія стили корректуры представляютъ самыя большія удобства, такъ какъ среди отрывковъ, отдѣльныхъ и оторванныхъ отъ совокупности произведеній, глазъ легче видитъ неловкія выраженія, темные обороты, нескладности стиха, однимъ словомъ, всѣ тѣ маленькіе промахи, незначительные каждый по себѣ, которые вмѣстѣ портятъ впечатлѣніе отъ вещи. Тѣмъ не менѣе, даже по мнѣнію моихъ недоброжелателей, эти шесть трагедій были лучше, чѣмъ ихъ четыре предшественницы. Я хорошо сдѣлалъ тогда, что не присоединилъ къ напечатаннымъ десяти трагедіямъ оставшихся четырехъ, въ особенности „Заговоръ Пацци“ и „Марію Стюартъ“; въ моихъ обстоятельствахъ они могли бы ухудшить мое положеніе, а главное, доставить еще больше неприятностей той, чья судьба была мнѣ дороже своей собственной.

Тѣмъ временемъ утомленіе отъ исправленія корректуры, съ которыми приходилось неистово спѣшить, и которыми я обычно занимался тотчасъ послѣ обѣда, вызвало у меня острый припадокъ подагры, мучившей меня цѣлыя двѣ недѣли; сперва я не захотѣлъ улечься въ постель. То былъ ужъ второй припадокъ; первый, гораздо болѣе легкій, случился въ Римѣ нѣсколько болѣе года тому назадъ. Я убѣдился на этотъ разъ, что это развлеченіе

мнѣ суждено испытать еще не однажды въ теченіе жизни. Болѣзнь была вызвана двумя причинами: душевными горестями и чрезмѣрными умственными занятіями. Однако, строгая умѣренность режима, котораго я держался, успѣшно противодѣйствовала ей. Поэтому до сихъ поръ моя болѣзнь обнаруживала себя рѣдко и сравнительно слабо.

Печатаніе книгъ подходило уже къ концу, когда я получилъ изъ Неаполя отъ Кальсабиджи длинное письмо по поводу первыхъ моихъ четырехъ трагедій. Оно было испещрено цитатами на разныхъ языкахъ, но въ общемъ довольно дѣльно. Не откладывая, я сѣлъ писать отвѣтъ. Это было въ ту пору первое и единственное выраженіе разумной, справедливой и просвѣщенной критики. Къ тому же въ отвѣтѣ мнѣ представился случай изложить и развить мои мысли по этому предмету; съ тѣмъ вмѣстѣ, выясняя самъ, въ чемъ заключались мои промахи, я поучалъ моихъ неловкихъ судей, что слѣдуетъ критиковать разумно и толково—или молчать. Эта статья, сочиненіе которой не стоило мнѣ почти никакого труда, ибо въ умѣ моемъ уже вполне сложились нужные мысли, могла еще со временемъ послужить предисловіемъ къ собранію всѣхъ моихъ трагедій, когда онѣ закончатся печатаніемъ. Но я все-таки не хотѣлъ присоединять ее къ сиенскому изданію; оно имѣло для меня только значеніе пробнаго шага, и потому ему слѣдовало появиться безъ какихъ-либо оправдывающихъ соображеній, чтобы навлечь на себя со всѣхъ сторонъ стрѣлы зоиловъ. Я былъ увѣренъ, что стрѣлы эти дадутъ мнѣ не смерть, а жизнь, потому, что ничто не вливаетъ столько бодрости въ душу писателя, какъ глупая критика. Я обошелъ бы молчаніемъ этотъ маленькій и хитрый расчетъ моего авторскаго самолюбія, если бы въ самомъ приступѣ къ этой болтовнѣ не поставилъ себѣ цѣлью и не далъ обѣщанія не умалчивать ни о чемъ, вѣрнѣе—почти ни о чемъ, что меня касается, и во всякомъ случаѣ объяснять свои поступки лишь тѣми побужденіями, которыя строго согласуются съ истиной. По окончаніи печатанія я выпустилъ въ свѣтъ

оба свои тома въ началѣ октября и сохранилъ у себя третій томъ, чтобы вызвать новую войну тотчасъ послѣ того, какъ вторая утихнетъ и горизонтъ снова прояснится.

Но пока я такимъ образомъ освободился отъ дѣла, мною съ новой силой овладѣла тоска по моей Дамѣ. Такъ какъ надежда увидѣться съ нею никакимъ образомъ не могла осуществиться этой зимой, я,—разбитый, отчаявшійся и неспособный нигдѣ найти себѣ покоя, задумалъ совершить большое путешествіе по Франціи и Англіи. Эта мысль явилась мнѣ не потому, чтобы у меня было живое желаніе или любопытство вновь посѣтить эти страны, которыми я былъ ужъ пресыщенъ предыдущей поѣздкой; я хотѣлъ только двигаться. Это всегда было единственнымъ утѣшеніемъ, единственнымъ лекарствомъ, которыя помогали мнѣ въ скорби. Я хотѣлъ также воспользоваться случаемъ и купить себѣ нѣсколько англійскихъ лошадей. Это была, и есть, третья изъ моихъ страстей; она настолько пылка, такъ дерзка и столь часто вспыхивала, что не разъ рѣзвые скакуны вступали въ бой съ книгами и стихами и, признаюсь, иногда выходили побѣдителями.

Въ печали, которою было сковано мое сердце, музы имѣли мало власти надо мной. Такимъ образомъ, изъ поэта обратившись въ лошадника, я отправился въ Лондонъ, только и думая о краснвыхъ лошадиныхъ головахъ, о крѣпкой груди, высокой холкѣ, широкомъ крупѣ, и совершенно позабылъ о своихъ изданіяхъ и еще неизданныхъ трагедіяхъ. Эти глупости отняли у меня цѣлыхъ восемь мѣсяцевъ, въ теченіе которыхъ я ровно ничего не дѣлалъ, не занимался и ничего не читалъ, если не считать отрывковъ изъ моихъ излюбленныхъ четырехъ поэтовъ, изъ коихъ то одинъ, то другой располагался въ моемъ карманѣ, такъ какъ они были моими неразлучными спутниками во всѣхъ путешествіяхъ... Мои мысли были безраздѣльно поглощены отсутствующею Дамой, къ которой я время отъ времени обращался съ элегическими стихами.

Г л а в а Х П.

ТРЕТЬЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВЪ АНГЛІЮ, ЕДИНСТВЕННОЙ ЦѢЛЮ КОТОРАГО БЫЛА ПОКУПКА ЛОШАДЕЙ.

Въ половинѣ октября я выѣхалъ изъ Сіены и направился въ Геную черезъ Пизу и Леричи. Гори сопровождалъ меня до Генуи, гдѣ мы расстались черезъ два или три дня. Онъ опять поѣхалъ въ Тоскану, а я сѣлъ на корабль, отходившій въ Антибъ. Путешествіе продолжалось недолго, немного болѣе восемнадцати часовъ, но оно было небезопасно, и я провелъ ночь въ нѣкоторомъ страхѣ. Фелука была невелика; на ней помѣщалась моя карета, и это представляло опасность со стороны равновѣсія; и море и вѣтеръ были неблагоприятны, что заставило меня пережить много неприятныхъ минутъ.

Высадившись, я вновь направился въ Эксъ, гдѣ не задержался и, нигдѣ не останавливаясь, ѣхалъ до Авиньона; тамъ я съ восторгомъ посѣтилъ магическое уединеніе Воклюза; рѣка Сорга приняла въ себя мои слезы, слезы вырывавшіяся прямо изъ сердца, въ которыхъ не было ни малѣйшаго притворства. Въ этотъ день я сочинилъ четыре сонета по дорогѣ въ Воклюзъ и на обратномъ пути; это былъ одинъ изъ самыхъ счастливыхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ скорбныхъ дней моей жизни. Покинувъ Авиньонъ, я захотѣлъ посѣтить знаменитый Картезианскій монастырь въ Греноблѣ; всюду расточая слезы и сочиняя по пути немалое число стиховъ, я прибылъ въ Парижъ, уже въ третій разъ въ жизни. Эта гигантская клоака произвела на меня обычное впечатлѣніе—гнѣва и горести. Я провелъ здѣсь около мѣсяца, который показался мнѣ цѣлымъ вѣкомъ, хотя я привезъ съ собою письма ко многимъ, всякихъ родовъ литераторамъ; а въ декабрѣ я намѣревался уѣхать въ Англію.

Большинство французскихъ литераторовъ знаютъ очень мало о нашей итальянской литературѣ и хорошо, если

они способны понимать *Метастазіо*. А такъ какъ, съ своей стороны, я не могъ и не желалъ знать ничего объ ихъ литературѣ, то у насъ оказывалось очень мало общихъ интересовъ. Напротивъ, я злился въ глубинѣ души, что вновь поставилъ себя въ необходимость говорить и слышать вокругъ себя этотъ гнусавый жаргонъ, въ которомъ все враждебно тосканскому говору, и изо всѣхъ силъ торопился уѣхать отсюда. Во время моего короткаго пребыванія въ Парижѣ въ большой модѣ были еженедѣльные полеты на аэростатахъ, которыми всѣ увлекались до фанатизма; я видѣлъ два первыя и наиболѣе счастливыя ихъ испытанія, въ первый разъ это былъ шаръ, наполненный разрѣженнымъ воздухомъ, во второй — водородомъ; въ каждомъ изъ нихъ было по два человѣка.

22 мая.

Величественное и прекрасное зрѣлище! Событіе, принадлежащее скорѣй поэзіи, чѣмъ исторіи! Открытіе, которому не достаетъ лишь возможности быть полезнымъ, чтобы считаться великимъ.

1784.

Пріѣхавъ въ Лондонъ, я въ первую же недѣлю занялся покупкой лошадей: сначала я купилъ скаковую лошадь, затѣмъ три верховыхъ и шесть упряжныхъ. Такъ какъ нѣкоторые жеребята у меня пали или оказались неудачными, и вмѣсто cadaго выбывшаго я покупалъ сразу двухъ, то къ концу марта 1784 года у меня ихъ оказалось четырнадцать.

Эта дикая страсть, таившаяся во мнѣ уже почти шесть лѣтъ, раздражаемая долгимъ воздержаніемъ, полнымъ или частичнымъ, снова такъ живо зажглась въ моемъ сердцѣ и воображеніи, что, идя наперекоръ всему и видя, что въ десяти купленныхъ мною лошадей пять выбыло въ короткое время, я все же накупилъ четырнадцать; совершенно также и число своихъ трагедій я довелъ до сорокадвяти, сначала рѣшивъ ограничиться двѣнадцатю. Тра-

гедіи истощили мою мысль, а лошади опустошили карманы; но развлеченіе всѣми этими лошадьми вмѣстѣ со здоровьемъ вернуло мнѣ смѣлость вновь приняться за трагедіи и за другія работы. Итакъ, я не напрасно тратилъ деньги, ибо это помогало вернуть вдохновеніе и пылъ, которые безъ лошадей гасли во мнѣ. Я тѣмъ болѣе хорошо поступилъ, истративъ ихъ, что онѣ были у меня въ видѣ звонкихъ монетъ. Первые три года послѣ акта даренія сестрѣ я прожилъ очень скупю; три послѣдніе года я тратилъ деньги, но умѣренно. Такимъ образомъ, у меня была тогда въ рукахъ довольно крупная сумма, которую я накопилъ сбереженіями: всѣ поступленія отъ пожизненнаго ежегоднаго дохода во Франціи, до котораго я еще не дотрагивался. Большую часть его я истратилъ на четырнадцать своихъ друзей,—на ихъ покупку и перевозку въ Италію; остальное ушло на ихъ содержаніе въ продолженіе слѣдующихъ пяти лѣтъ; ибо покинувъ свой родной островъ, ни одна изъ нихъ не захотѣла умереть, а я такъ привязался къ нимъ, что ни одну изъ нихъ не захотѣлъ продать.

Погрузившись съ такой роскошью въ лошадей, полный отчаянія отъ невозможности свидѣться съ той, кто была для меня источникомъ всякой мудрости, всякой возвышенной дѣятельности,—я никого болѣе не посѣщалъ и не искалъ знакомствъ: я жилъ со своими лошадьми и писалъ письма за письмами; такимъ образомъ я прожилъ въ Лондонѣ около пяти мѣсяцевъ, совершенно не думая о своихъ трагедіяхъ, будто бы никогда въ жизни и не занимался ими. Но мнѣ часто вспоминалось это странное соотношеніе между количествомъ моихъ трагедій и моихъ лошадей, и я съ улыбкой говорилъ себѣ: „каждой трагедіей ты заработалъ себѣ лошадь“. Я прожилъ такъ цѣлые мѣсяцы въ постыдной праздности; я съ каждымъ днемъ пренебрегалъ все болѣе и болѣе чтеніемъ, даже любимыхъ авторовъ, и мой поэтический жаръ постепенно угасалъ, настолько, что во время всего моего пребыванія въ Лондонѣ я сочинилъ только одинъ сонетъ, да еще два въ минуту отъѣзда.

Въ апрѣлѣ я пустился въ путь съ этимъ многочисленнымъ караваномъ, и черезъ Калэ снова попалъ въ Парижъ; потомъ черезъ Лионъ и Туринъ возвратился въ Сиену. Но гораздо короче и легче рассказывать объ этомъ пути съ перомъ въ рукѣ, чѣмъ исполнить его со столькими животными. Я испытывалъ каждый день и на каждомъ шагу затрудненія и помѣхи, сильно отравлявшія удовольствіе, которое я могъ бы получить отъ своего отряда конницы. Одна лошадь начинала кашлять, другая не ѣла; одна хромала, у другой распухали ноги, у третьей обламывались копыта; однимъ словомъ, это былъ океанъ постоянныхъ несчастій, которыя больше всего угнетали именно меня.

При переѣздѣ черезъ море изъ Дувра мнѣ пришлось видѣть, какъ лошадей загнали, какъ скотъ, въ трюмъ, чтобы онѣ служили балластомъ; онѣ были такъ грязны, что нельзя было узнать чуднаго золотистаго цвѣта ихъ шерсти; а въ Калэ, передъ тѣмъ какъ высаживаться, когда сняли нѣсколько досокъ, служившихъ имъ какъ бы крышей, грубые матросы ходили по ихъ спинамъ, точно онѣ и не были живыми существами, но продолженіемъ пола; затѣмъ ихъ подтянули на канатахъ въ воздухъ, такъ что у нихъ болтались ноги, и спустили въ море: приливъ не позволялъ кораблю причалить раньше слѣдующаго утра. Если бы ихъ не выгрузили съ вечера такимъ образомъ, то пришлось бы имъ остаться всю ночь на кораблѣ въ такомъ неудобномъ положеніи. Однимъ словомъ, нужно было пережить тысячу трудностей. Но я проявлялъ столько предусмотрительности, заботливости и желанія помочь бѣдѣ, и съ такимъ упорствомъ лично занимался этимъ, что несмотря на всѣ превратности, опасности и неудобства, мнѣ удалось благополучно довести ихъ до дому, безъ всякихъ серьезныхъ приключеній.

Чтобы быть искреннимъ, я долженъ сознаться, что помимо моей страсти къ лошадямъ во мнѣ говорило глупое и нелѣпое тщеславіе; и когда въ Парижѣ, Аміенѣ, Лионѣ, Туринѣ или другихъ городахъ лошади мои заслу-

живали одобрение знатоковъ, я задиралъ носъ съ такимъ чванствомъ, точно я самъ ихъ создалъ. Но наиболѣе важнымъ и эпическимъ эпизодомъ моего путешествія съ этимъ караваномъ былъ переѣздъ черезъ Альпы между Ланебургомъ и Новаллоомъ Я съ большимъ трудомъ направлялъ лошадей и слѣдилъ за исполненіемъ своихъ приказаній, ибо иначе съ этими крупными, тяжелыми животными могла бы случиться катастрофа на трудныхъ и узкихъ дорогахъ, гдѣ можно сломить себѣ шею.

И да позволитъ мнѣ читатель съ такимъ же увлеченіемъ рассказывать объ этомъ, съ какимъ я отдавалъ приказанія въ горахъ. Кому это неинтересно, могутъ перевернуть страницу. А тотъ, кто согласится прочесть, сможетъ судить о томъ, лучше ли я управлялъ движеніями четырнадцати животныхъ въ этомъ Фермопильскомъ проходѣ, чѣмъ пятью актами трагедіи.

Мои лошади, благодаря своей молодости, моимъ отеческимъ заботамъ и не слишкомъ большой усталости, были полны огня и рѣзвости; было тѣмъ болѣе опасно вести ихъ по этимъ подъемамъ и спускамъ. Поэтому въ Ланебургѣ я нанялъ по человѣку на лошадь, чтобы вести ихъ подъ уздцы.

Но между каждыми тремя лошадьми я помѣстилъ еще по конюху; эти конюхи ѣхали на мулахъ и слѣдили за тремя лошадьми, ввѣренными имъ: и такъ черезъ каждыя три лошади. Тутъ же шелъ кузнецъ изъ Ланебурга съ гвоздями, молоткомъ и подковами, чтобы на мѣстѣ подковывать расковавшихся лошадей. А раскованной лошади грозитъ наибольшая опасность на такихъ дорогахъ. Наконецъ, я самъ, распорядитель экспедиціи, ѣхалъ позади всѣхъ, верхомъ на „Фронтинѣ“, самой маленькой и легкой изъ моихъ лошадей, съ двумя помощниками по сторонамъ, ловкими пѣшеходами, которыхъ я посылалъ со своими распоряженіями въ центръ и во главу каравана. Такимъ образомъ, мы необычайно благополучно добрались до вершины Монсениса, гдѣ начинался спускъ въ Италию; но извѣстно, что при спускѣ лошади очень ожи-

вляются, ускоряютъ шагъ и дѣлаютъ неосторожные прыжки, поэтому я оставилъ свой постъ и, спѣшившись, пошелъ во главѣ колонны. Мы спускались осторожно, и чтобы еще замедлить спускъ, я пустилъ впередъ наиболѣе смѣлыхъ и тяжелыхъ лошадей. Во время пути мои помощники бѣгали все время вдоль колонны, чтобы не распустить лошадей и соблюдать между ними нужное разстояніе. Несмотря на всѣ мои заботы, лошади потеряли три подковы; но мои распоряженія были такъ разумны, что кузнецъ могъ тотчасъ помочь имъ, и онѣ благополучно дошли до Новалеза; ноги ихъ были въ очень хорошемъ состояніи, и ни одна лошадь не захромала. Всѣ эти пустяки могли бы послужить правиломъ тому, кто захочетъ переходить черезъ Альпы или другія горы съ большимъ количествомъ лошадей. Я же, столь удачно сумѣвшій направить эту экспедицію, сталъ считать себя чуть не Ганнибаломъ, который немного южнѣе провелъ своихъ слоновъ и рабовъ. Но если ему пришлось истратить много укуса, то и я употребилъ очень много вина; такъ какъ и проводники, и кузнецы, и конюхи и помощники мои выпивали изрядно.

Такимъ образомъ, занятый этимъ вздоромъ, касающимся лошадей, и безъ всякихъ полезныхъ и серьезныхъ мыслей въ головѣ, въ концѣ мая я пріѣхалъ въ Туринъ, гдѣ пробылъ около трехъ недѣль, послѣ семилѣтняго отсутствія. Лошадей, которыми послѣ чрезмѣрнаго увлеченія началъ тяготиться, я отправилъ черезъ семь-восемь дней отдыха въ Тоскану, гдѣ долженъ былъ ихъ нагнать. А пока я хотѣлъ отдохнуть отъ столькихъ тревогъ, утомленій и ребячествъ, которыя, нужно сознаться, мало или тридцатипятилѣтнему трагическому поэту. Между тѣмъ, это развлеченіе, это движеніе, это полное нарушеніе всѣхъ моихъ занятій прекрасно подѣйствовало на мое здоровье. Я вновь почувствовалъ себя сильнымъ и помолодѣвшимъ и тѣломъ, и со стороны ума и познаній: лошади галопомъ донесли меня до той эпохи, когда я былъ молодымъ осломъ. А ржавчина опять такъ хорошо покрыла

мой умъ, что я считалъ, что уже навсегда лишень возможности сочинять и писать.

Г л а в а XIII.

КРАТКОЕ ПРЕБЫВАНИЕ ВЪ ТУРИНѢ.—Я ПРИСУТСТВУЮ НА ПРЕДСТАВЛЕНИИ „ВИРГИНИ“.

Въ Туринѣ я нашелъ больше разочарованій, чѣмъ удовольствій. Конечно, очень пріятно вновь увидѣть друзей первой молодости и мѣста, которыя узналъ раньше другихъ, увидѣть тѣ же растенія и тѣ же камни, все, что пробудило наши первыя мысли и первыя страсти... Но, съ другой стороны, мнѣ было очень горько замѣчать, какъ многіе товарищи моей юности, завидѣвъ меня издали, сворачивали въ переулокъ, а застигнутые врасплохъ, еле кланялись, или даже отвертывались; это были люди, которымъ я не сдѣлалъ ничего плохого, а наоборотъ, выказывалъ всегда сердечную привязанность. Чувство горечи было смягчено во мнѣ тѣмъ, что тѣ немногіе, кто остался со мною въ дружескихъ отношеніяхъ, говорили мнѣ, что одни обходились со мной такъ холодно потому, что я писалъ трагедіи, другіе—потому, что я такъ долго путешествовалъ, третьи—потому, что я возвратился на родину съ цѣлой конюшной лошадей: все это въ общемъ были мелочи, и мелочи вполнѣ простительныя, особенно, когда знаешь людей и судишь себя безпристрастно; но и ихъ надо по возможности избѣгать, не живя со своими согражданами, если не хочешь поступать, какъ они, если страна маленькая, а обитатели ея праздно, и если, наконецъ, обидѣлъ ихъ невольно, хотя бы тѣмъ, что попытался сдѣлать больше ихъ, въ какомъ бы ни было отношеніи и какимъ бы ни было образомъ.

Другой горькой пилюлей, которую мнѣ пришлось проглотить въ Туринѣ, была необходимость представиться королю, который держался обиженно, видя что я высоко-

мѣрно отвергъ его, навсегда удалясь изъ своего отечества. Какъ ни какъ, въ виду обычаевъ страны и моего положенія, я долженъ былъ засвидѣтельствовать ему свое почтеніе, чтобы не прослыть сумасброднымъ, дерзкимъ и невоспитаннымъ человѣкомъ.

23-го мая.

Не успѣлъ я пріѣхать въ Туринъ, какъ мой прелестный beau-frère, бывший тогда первымъ камеръ-юнкеромъ, сталъ съ безпокойствомъ вывѣдывать у меня, хочу я или нѣтъ представиться ко двору. Но я его тотчасъ успокоилъ, сказавъ, что согласенъ; и такъ какъ онъ настаивалъ, чтобы назначить опредѣленный день, я рѣшилъ не откладывать. На слѣдующій же день я пошелъ къ министру. Beau-frère сказалъ мнѣ, что правительство было ко мнѣ расположено, и что я буду очень хорошо принятъ, что на меня даже рассчитывали для чего-то. Эта милость, которой я не заслуживалъ и совершенно не ожидалъ, заставила меня струсить: но хорошо, что я былъ предупрежденъ и могъ держать себя и говорилъ такимъ образомъ, что меня нельзя было ни взять куда нибудь на службу, ни пригласить. Я сказалъ министру, что, проѣзжая черезъ Туринъ, я почелъ своимъ долгомъ посѣтить его, министра, и ходатайствовать черезъ него о разрѣшеніи представиться королю, дабы выразить ему мои вѣрно-подданическія чувства. Министръ принялъ меня чрезвычайно любезно; мало по малу онъ далъ мнѣ понять, а затѣмъ и прямо высказалъ, что король былъ бы доволенъ, если-бъ я захотѣлъ окончательно остаться на родинѣ; что я могъ бы отличиться, и тому подобный вздоръ. Но я отвѣтилъ напрямикъ, и рѣшительно сказалъ, что я возвращаюсь въ Тоскану, чтобы продолжать свои занятія и печатаніе моихъ произведеній, что мнѣ уже тридцать пять лѣтъ, и что это возрастъ, когда поздно думать о новой карьерѣ, и что разъ я уже избралъ литературную профессію, то не хочу отказываться отъ нея до конца своей жизни. Министръ отвѣчалъ, что литературная

карьеря—прекрасная вещь, но что существуютъ занятія болѣе важныя и высокія, къ которымъ я, конечно, и чувствую и долженъ чувствовать призваніе. Я вѣжливо его поблагодарилъ, но твердо стоялъ на своемъ. И даже былъ настолько сдержанъ и великодушенъ, что не сталъ его напрасно огорчать, чего онъ вполне заслуживалъ,—не высказалъ ему, что ихъ депеши и вся ихъ дипломатія казались мнѣ и дѣйствительно были гораздо менѣе важными и менѣе возвышенными предметами, чѣмъ трагедія, будь онѣ написаны мной или кѣмъ-нибудь другимъ. Но это такіе люди, которыхъ нельзя переубѣдить; я же, по природѣ, никогда не спорю, развѣ только, да и то очень рѣдко, съ тѣми, чьи взгляды сходятся въ главномъ съ моими; съ другими же я предпочитаю съ перваго слова держаться какъ разбитый по всѣмъ пунктамъ. Итакъ, я удовольствовался отрицательнымъ отвѣтомъ. Мой упорный отказъ, конечно, дошелъ до короля черезъ министра; такъ какъ на другой день, когда я привѣтствовалъ его, Его Величество не сказалъ мнѣ ни слова по этому поводу, что, впрочемъ, не помѣшало ему принять меня со свойственной ему любезностью и благосклонностью. Это былъ,—онъ и теперь царствуетъ,—Викторъ Амедей III, сынъ Карла Эммануила, въ царствованіе котораго я родился. Хотя я вообще и очень не люблю монарховъ, а абсолютныхъ въ особенности, я долженъ, однако, сказать, чтобы быть искреннимъ, что династія наша въ общемъ превосходная, особенно, если сравнишь ее съ другими нынѣ царствующими въ Европѣ домами. Въ глубинѣ души я чувствовалъ къ нашимъ королямъ больше симпатіи, чѣмъ отвращенія; ибо и теперешній король и его предшественникъ были полны лучшими намѣреніями, обладали приличными и достойными подражанія характерами и дѣлали своей странѣ больше добра, чѣмъ зла. Однако, когда подумаешь и почувствуешь, что добро и зло, которое творять короли, зависятъ отъ ихъ единой воли, нужно содрогнуться и бѣжать. Я это и сдѣлалъ черезъ нѣсколько дней, которые употребилъ на свиданіе съ родными и зна-

комьями въ Туринѣ и на полезныя и очаровательныя разговоры съ моимъ несравненнымъ другомъ аббатомъ Калузо; онъ привелъ немного въ порядокъ мои мысли и освободилъ отъ летаргіи, въ которую меня погрузила конюшня.

Во время пребыванія въ Туринѣ мнѣ пришлось (безъ особаго желанія съ моей стороны) присутствовать на публичномъ представленіи моей „Виргиніи“ въ томъ же театрѣ, гдѣ девять лѣтъ назадъ давали „Клеопатру“, и почти въ такомъ же хорошемъ исполненіи.

Одинъ изъ моихъ старинныхъ друзей по академіи подготовилъ это представленіе передъ моимъ пріѣздомъ въ Туринъ, не зная, что я могъ попасть въ театръ. Онъ просилъ меня дать нѣкоторыя наставленія актерамъ, какъ я дѣлалъ это нѣкогда для „Клеопатры“. Но такъ какъ во мнѣ съ тѣхъ поръ выросъ и талантъ, и въ гораздо большей степени гордость,—я не согласился; я слишкомъ хорошо зналъ, что представляютъ изъ себя наши актеры и нашъ партеръ. И я ни въ коемъ случаѣ не захотѣлъ стать соучастникомъ ихъ бездарности, которая для меня была очевидна, хотя я ихъ и не видѣлъ. Я зналъ, что нужно было начать съ невозможнаго, т. е. научить ихъ произносить по-итальянски, а не по-венеціански, говорить свои роли самимъ, а не со словъ суфлера, понимать (не скажу „чувствовать“,—это было бы чрезмѣрнымъ требованіемъ), просто понимать то, что они хотѣли бы дать понять слушателямъ. Мой отказъ, какъ видно, не былъ неразумнымъ а моя гордость—неумѣстной. И такъ я предоставилъ моему другу самому позаботиться объ этомъ, и ограничился неприятнымъ для меня обѣщаніемъ присутствовать на спектаклѣ. Я, дѣйствительно, пошелъ на него, заранѣе убѣжденный, что при жизни ни одинъ итальянскій театръ не дастъ мнѣ ни славы, ни провала. „Виргинія“ прошла съ тѣмъ же успѣхомъ, какъ въ свое время „Клеопатра“. Такъ же на другой день требовали ея повторенія. Я же, конечно, не пошелъ во второй разъ.

Съ этого дня, главнымъ образомъ, началось и мое

разочарованіе въ славѣ, которое потомъ постоянно расло. Однако, я не оставилъ намѣренія въ слѣдующія десять или пятнадцать лѣтъ, то есть, до шестидесятилѣтняго возраста, попробовать написать нѣкоторыя сочиненія въ нѣсколько иномъ родѣ. Я постараюсь сдѣлать это насколько могу лучше. И старѣя и приближаясь къ смерти, я хочу имѣть утѣшеніе въ томъ, что по мѣрѣ силъ исполнилъ долгъ передъ искусствомъ и самимъ собой. Что касается приговора современниковъ, но таково еще состояніе критики въ Италіи,—прибавлю это со слезами,—что отъ нея не надо ждать ни похвалы, ни порицанія. Я не называю похвалой то, въ чемъ нѣтъ анализа, обоснованности, и что не воодушевляетъ автора, и не называю порицаніемъ того, что не научаетъ, какъ сдѣлать лучше.

Я смертельно страдалъ на представленіи моей „Виргиніи“, гораздо больше чѣмъ на „Клеопатрѣ“, и по другимъ причинамъ; впрочемъ, я не хочу здѣсь распространяться объ этомъ. Тотъ, кто любитъ искусство и гордится имъ, не можетъ не знать ихъ; всякій другой человѣкъ найдетъ ихъ ненужными и не пойметъ.

Оставивъ Туринъ, я поѣхалъ на три дня въ Асти къ моей почтенной и глубоко уважаемой матери. Мы расстались обливаясь слезами, будто предчувствуя, что никогда уже больше не увидимся.

Не могу сказать, чтобы я чувствовалъ къ матери такую сильную привязанность, какъ могъ бы и долженъ былъ чувствовать. Я расстался съ ней девяти лѣтъ и съ тѣхъ поръ мы видѣлись чрезвычайно рѣдко, украдкой, и очень по малу. Но мое уваженіе, моя признательность и мое почтеніе къ ней и къ ея добродѣтелямъ были всегда безграничны и будутъ таковыми до послѣдняго моего дня. Да пошлетъ ей небо долгую жизнь; она употребляетъ ее такъ хорошо на благо и пользу всего своего города. Она необыкновенно сердечно относится ко мнѣ, чего я вовсе не заслужилъ. Ея безграничное, искреннее страданіе при разлукѣ оставило во мнѣ горькое чувство, не покинувшее меня и теперь.

Какъ только я выѣхалъ изъ государства короля Сардиніи, мнѣ показалось что мнѣ легче дышится, такъ еще тяготѣли надъ моею головою остатки отечественнаго ига, которое я, однако, сломилъ; настолько, что когда, во время моего пребыванія на родинѣ приходилось встрѣчаться съ вліятельными въ немъ людьми, по моему я скорѣе имѣлъ видъ вольноотпущенника, чѣмъ свободаго человѣка. Я не могъ не вспоминать удивительныхъ словъ Помпея, высадившагося въ Египтѣ, чтобы отдаться на усмотрѣніе и во власть Фотина: „Всякій свободный, входящій въ домъ тирана, становится рабомъ“. Такъ же и тотъ, кто отъ нечего дѣлать или ради развлечения входитъ въ тюрьму, откуда былъ выпущенъ, очень рискуетъ, что дверь будетъ заперта, когда онъ захочетъ выйти. Ибо въ ней есть еще тюремщики.

Извѣстія отъ моей Дамы, которыя я получалъ по пути къ Моденѣ, наполняли мое сердце то печалью, то надеждой, и всегда были неопредѣленны.

Въ послѣднихъ, полученныхъ мною въ Пьяченцѣ, сообщалось, что она можетъ оставить Римъ, что меня чрезвычайно обрадовало, такъ какъ Римъ былъ единственнымъ мѣстомъ, гдѣ я не могъ съ ней видѣться. Но, съ другой стороны, тяжелыя цѣпи приличій мнѣ и тогда строго запрещали слѣдовать за нею. Только съ большимъ трудомъ, жертвуя для мужа большими суммами денегъ, ей удалось получить отъ своего шурина и отъ папы разрѣшеніе поѣхать въ Швейцарію, на Баденскія воды, такъ какъ здоровье ея значительно измѣнилось отъ столькихъ неприятностей.

Она выѣхала изъ Рима въ іюнѣ 1784 г. и направилась вдоль береговъ Адриатики черезъ Болонью, Мантую и Трентъ въ Тироль;—въ то самое время, когда я, оставивъ Туринъ, возвращался въ Сіену черезъ Пьяченцу, Модену и Пистойю. Мысль, что я былъ такъ близокъ къ ней, а затѣмъ мы по прежнему оказались въ разлукѣ и такъ далеко другъ отъ друга, вызывала во мнѣ одновременно и горечь, и была пріятна. Я бы отлично

могъ послать свою карету и людей прямо въ Тоскану, а самъ могъ бы на почтовыхъ нагнать ее, по крайней мѣрѣ, повидаться съ ней. Я желалъ, я боялся, я надѣялся, я хотѣлъ, я не хотѣлъ; лишь тѣ немногіе, кто дѣйствительно любилъ, знаютъ это душевное безпокойство! Но взяло верхъ чувство долга и любовь къ ней, забота о ея добромъ имени; итакъ, я продолжалъ путь въ слезахъ и богохульствуя, и все еще подъ тяжелымъ впечатлѣніемъ моей печальной побѣды пріѣхалъ въ Сіену послѣ почти десяти тысячнаго путешествія.

Въ Гори я нашелъ утѣшителя, въ которомъ никогда такъ не нуждался, какъ теперь, чтобы выучиться дальше влачить свою безотрадную жизнь.

ГЛАВА XIV.

ПУТЕШЕСТВІЕ ВЪ ЭЛЬЗАСЬ.—Я ВНОВЬ ВСТРѢЧАЮСЬ СО СВОЕЙ ДАМОЙ.—ЗАДУМЫВАЮ ТРИ НОВЫХЪ ТРАГЕДИ.—НЕОЖИДАННАЯ СМЕРТЬ МОЕГО ДОРОГОГО ГОРИ ВЪ СІЕНѢ.

24 мая.

Черезъ нѣсколько дней послѣ меня въ Сіену пріѣхали мои четырнадцать лошадей. Пятнадцатую я оставлялъ здѣсь на попеченіи друга: это былъ мой прелестный рыжій „Фидо“, тотъ, что въ Римѣ часто подставлялъ свою спину пріятной ношѣ—моей Дамѣ; изъ-за этого онъ сталъ для меня дороже всѣхъ остальныхъ лошадей вмѣстѣ взятыхъ.

Всѣ эти животныя продолжали одновременно и развлекать меня и держать въ праздности. Такъ какъ къ этому прибавилось и сердечное безпокойство, то я тщетно пытался возобновить свои литературныя занятія. Такимъ образомъ, большую часть іюня и весь іюль я провелъ не выѣзжая изъ Сіены, не занимаясь ничѣмъ; я напи-

салъ лишь нѣсколько стихотвореній. Написалъ также нѣсколько стансовъ, которыхъ не хватало въ третьей пѣснѣ моей маленькой поэмы, и началъ четвертую пѣснь — послѣднюю. Идея этого произведенія, хотя и часто прерываемаго, писавшагося черезъ долгіе промежутки, всегда отрывками и безъ окончательно выработаннаго плана, однако, очень сильно запечатлѣлась въ моемъ умѣ. Я особенно остерегался того, чтобы оно не вышло слишкомъ длиннымъ, что могло бы у меня легко случиться, если бы я увлекся эпизодами и прочими украшающими подробностями. Но чтобы произведеніе вышло оригинальнымъ и острымъ, жгучаго кислосладкаго вкуса, первымъ условіемъ являлась краткость. Вотъ почему я первоначально рѣшилъ ограничиться тремя пѣснями; но при просмотрѣ друзей, почти цѣлая пѣснь была уничтожена и пришлось сочинить четыре. Впрочемъ, я склоненъ думать, что всѣ эти перерывы оставили слѣды на цѣломъ поэмы и придали ей характеръ нѣкоторой беспорядочности.

Пытаясь работать надъ этой послѣдней пѣсней, я не переставалъ получать и писать длинныя письма; эти письма постепенно наполнили меня надеждой и все болѣе и болѣе воспламенили желаніемъ поскорѣе свидѣться съ моей возлюбленной. Эта возможность стала настолько правдоподобной, что въ одинъ прекрасный день, не будучи въ состояніи болѣе сдерживаться, повѣдавъ только другу о цѣли путешествія и дѣлая видъ, что я предпринимаю экскурсію въ Венецію, я выѣхалъ по направленію къ Германіи. Это было 4 августа, увы! день, воспоминаніе о которомъ всегда будетъ для меня горькимъ.

Смѣлый, полный радости, ѣхалъ я къ другой половинѣ собственнаго существа и не подозрѣвалъ, что обнимая своего рѣдкаго и дорогого друга, прощаясь съ нимъ на шесть недѣль, я покидалъ его навѣки. Даже теперь, послѣ столькихъ лѣтъ, я не могу думать и говорить объ этомъ безъ слезъ. Но не буду больше упоминать о нихъ; я постарался свободно излить ихъ въ другомъ мѣстѣ.

Вотъ я и опять въ пути. Я вновь отправился по пре-

лестной поэтической дорогѣ, идущей изъ Пистойи въ Модену, весьма быстро доѣхалъ до Мантуи, Трента, Инсбрука, а оттуда направился въ Кольмаръ, городъ верхняго Эльзаса, на лѣвомъ берегу Рейна. Близъ этого города я встрѣтилъ, наконецъ, ту, кого искалъ всюду, и чье отсутствіе остро ощущалъ болѣе шестнадцати мѣсяцевъ. Я совершилъ все это путешествіе въ двѣнадцать дней, и съ какой бы быстротой ни ѣхалъ, мнѣ все казалось, что я не двигаюсь съ мѣста. Поэтическій жаръ вновь охватилъ меня съ необычайной силой, и не проходило дня, чтобы та, что имѣла надо мной больше власти, чѣмъ я самъ, не заставляла меня сочинить три сонета и даже больше. Я былъ самъ не свой при мысли, что въ продолженіе всего этого пути каждый мой шагъ встрѣчалъ слѣдъ ея ноги. Я всѣхъ разспрашивалъ и повсюду узнавалъ, что она проѣхала здѣсь около двухъ мѣсяцевъ тому назадъ. Часто сердце мое наполнялось радостью, и тогда я изливался въ веселыхъ стихахъ. Между прочимъ, написалъ посланіе Гори, гдѣ давалъ ему необходимыя наставленія относительно моихъ любимыхъ лошадей; эта страсть занимала во мнѣ третье мѣсто; я постыдился сказать второе, такъ какъ музы должны по справедливости первенствовать надъ Пегасомъ.

Это нѣсколько длинное посланіе, которое я впоследствии помѣстилъ среди своихъ стиховъ, было моимъ первымъ и почти единственнымъ опытомъ въ стилѣ Берни, всю прелесть и изящное остроуміе котораго я чувствую несмотря на то, что не особенно склоненъ къ этому по натурѣ. Но не всегда достаточно бываетъ чувствовать, чтобы сумѣть выразить. Я сдѣлалъ, какъ могъ.

Шестнадцатаго августа я встрѣтился съ возлюбленной, и провелъ съ ней два мѣсяца, которые промелькнули какъ молнія.

Не прошло и двухъ недѣль, какъ ея присутствіе вернуло меня къ жизни и я, вновь обрѣтшій всего себя сердцемъ, умомъ и душою, я, въ продолженіе двухъ лѣтъ и не собиравшійся вообще писать трагедій, я, поставившій

„Саула“ на котурны и твердо рѣшившій не снимать ихъ; я, самъ не знаю какъ, чуть ли не по чьему-то принужденію, задумалъ три новыхъ трагедіи: „Агисъ“, „Софонизбу“ и „Мирру“. Темы первыхъ двухъ и раньше приходили мнѣ въ голову, но я каждый разъ устранялъ мысль о нихъ, но на этотъ разъ онѣ такъ сильно отпечатались въ моемъ воображеніи, что нужно было набросать ихъ на бумагѣ съ убѣжденіемъ и надеждой, что я не пойду дальше этого. О „Миррѣ“ я не думалъ никогда. Этотъ сюжетъ, не менѣе чѣмъ библейскій, и всякій другой, основанный на кровосмѣшеніи, казался мнѣ неподходящимъ для сцены, но напавъ случайно въ „Метаморфозахъ“ Овидія на краснорѣчивую и истинно богоподобную рѣчь, съ которой Мирра обращается къ своей кормилицѣ, я залился слезами, и мысль написать на эту тему трагедію молніей промелькнула въ моемъ умѣ. Мнѣ казалось, что могла получиться очень трогательная и оригинальная трагедія, если бы только автору удалось такъ расположить дѣйствіе, чтобы зрители сами постепенно вошли во всѣ страшныя бури, которыя поднимаются въ воспламенномъ и вмѣстѣ невинномъ сердцѣ Мирры, гораздо болѣе несчастной, чѣмъ виновной, и чтобы при этомъ она не высказалась бы даже наполовину, намеками, не смѣя не только говорить другимъ, но и самой себѣ признаться въ столь преступной страсти. Однимъ словомъ, въ моей трагедіи, въ томъ видѣ, какъ я ее набросалъ сначала, Мирра должна была дѣлать то же самое, о чемъ она говоритъ у Овидія; но она должна была дѣлать это молча. Я съ самага начала почувствовалъ, какъ невозможно трудно мнѣ будетъ наполнить пять дѣйствій одними душевными колебаніями Мирры. Эта трудность тогда меня все болѣе и болѣе воспаляла, и когда послѣ я занялся разработкой, переложеніемъ въ стихи и впечатаніемъ моей трагедіи, она была моимъ постояннымъ поощреніемъ въ преодоленіи препятствій; но теперь, когда произведеніе окончено, я боюсь этой трудности и узнаю ее на всемъ его протяженіи, предоставляя другимъ су-

дять, сумѣлъ ли я побороть ее цѣликомъ, или частью, или совсѣмъ не сумѣлъ.

Эти три новыя трагедіи вновь зажгли въ моемъ сердцѣ любовь къ славѣ, которую я впредь желалъ лишь для того, чтобы подѣлиться ею съ той, что была мнѣ дороже самой славы. Такъ прошелъ мѣсяцъ полный счастья; одно угнетало меня—что самое большее черезъ мѣсяцъ намъ снова придется разстаться. Но какъ будто страшной мысли о неизбежной разлукѣ не было достаточно, чтобы отравить мои скоротечныя радости: враждебная судьба захотѣла прибавить и отъ себя не малую дозу горечи, заставляя меня дорого заплатить за краткую передышку. Письма изъ Сиены въ теченіе недѣли сообщили мнѣ и о смерти молодого брата Гори и о серьезной болѣзни самого Гори. Дальнѣйшія принесли извѣстіе и о его смерти, послѣ шестидневной болѣзни. Если бы я не находился при этомъ внезапномъ ударѣ близъ возлюбленной, послѣдствія его были бы гораздо ужаснѣе. Но когда есть съ кѣмъ плакать, слезы менѣе горьки.

Моя Дама тоже знала и очень любила этого дорогого Франческо Гори. Въ прошломъ году, проводивъ меня, какъ я уже говорилъ, до Генуи, и вернувшись въ Тоскану, онъ отправился въ Римъ почти только для того, чтобы познакомиться съ нею, а во время своего пребыванія, продолжавшагося нѣсколько мѣсяцевъ, постоянно видѣлся съ ней и ежедневно сопровождалъ ее при осмотрѣ памятниковъ искусства, которые онъ самъ страстно любилъ и о которыхъ судилъ какъ просвѣщенный любитель. Поэтому, оплакивая его вмѣстѣ со мной, она оплакивала его не только изъ-за меня, но и изъ-за себя, по недавнему опыту зная, чего онъ стоилъ. Я не въ силахъ выразить, какъ это несчастье омрачило остатокъ времени, и безъ того короткаго, которое мы провели вмѣстѣ; и по мѣрѣ того, какъ приближался срокъ, эта разлука казалась намъ еще горестнѣе и ужаснѣе. Наступилъ печальный день, нужно было повиноваться судьбѣ, и я погрузился во мракъ, разставаясь со своей Дамой, не зная,

на этотъ разъ, на сколько времени, потерявъ и друга, какъ я теперь зналъ ужъ навѣрное—навсегда. Когда я ѣхалъ сюда, то каждый шагъ по дорогѣ къ возлюбленной разсѣивалъ мое горе и мрачныя мысли, на обратномъ же пути было какъ разъ наоборотъ. Отдавшись горю, я сочинялъ мало стихотвореній, и ѣхалъ въ слезахъ до самой Сіены, куда прибылъ въ началѣ ноября. Нѣкоторые его друзья, любившіе меня за то, что я его любилъ, (такъ же и я къ нимъ относился), безмѣрно увеличили мое отчаяніе въ первые дни, слишкомъ хорошо удовлетворяя моему желанію знать малѣйшія подробности этого печальнаго случая, а я съ трепетомъ, и боясь ихъ слушать, все же настойчиво разспрашивалъ. Я, конечно, тотчасъ переѣхалъ изъ этого пристанища печали, котораго никогда больше не видалъ. Когда въ прошломъ году я возвратился изъ Милана, то съ большой радостью принялъ отъ друга предложеніе поселиться въ небольшомъ помѣщеніи въ его домѣ, уединенномъ и веселомъ, и мы жили съ нимъ какъ братья.

Но безъ Гори пребываніе въ Сіенѣ стало мнѣ съ самаго начала невыносимымъ. Я надѣялся переменною мѣста и обстановки облегчить свое горе, не измѣняя памяти друга. Поэтому въ теченіе ноября я переселился въ Пизу, рѣшивъ провести тамъ зиму, и ожидая, что лучший жребій вернетъ меня самому себѣ; ибо лишенный всего, что питаетъ душу, я, дѣйствительно, не могъ относиться къ себѣ, какъ къ живому.

ГЛАВА XV.

ПРЕБЫВАНІЕ ВЪ ПИЗѢ.—Я ПИШУ ПАНЕГИРИКЪ ТРАЯНУ И ДРУГІЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ.

Между тѣмъ, моя Дама, въ свою очередь, вернулась въ Италію черезъ Савойскія Альпы. Она пріѣхала изъ Турина въ Геную, а отсюда въ Болонью, гдѣ пред-

полагала провести зиму; эта комбинація была придумана ею для того, чтобы жить въ папской области и все-таки не возвращаться въ Римъ—свою прежнюю тюрьму. Дѣло было въ декабрѣ и, подѣ предлогомъ надвигающейся зимы, она осталась въ Болоньѣ. И вотъ, въ продолженіе шести мѣсяцевъ, мы опять близко другъ отъ друга, она въ Болоньѣ, а я въ Пизѣ, но опять насъ раздѣляютъ Аппенины. Это было для меня одновременно утѣшеніемъ и мученіемъ. Каждые три-четыре дня я получалъ отъ нея извѣстія, но не могъ и не долженъ былъ никакимъ образомъ попытаться увидѣть ее: маленькіе итальянскіе города кишатъ сплетнями, и разные недоброжелатели, бездѣльники, болтаютъ о всякомъ пустякѣ. Итакъ, я провелъ въ Пизѣ всю эту безконечную зиму, утѣшаясь лишь ея частыми письмами и, по обыкновенію, теряя время въ забавахъ со своими лошадьми; книгъ, рѣдкихъ, но вѣрныхъ друзей моего одиночества, я почти не трогалъ. Тѣмъ не менѣе, чтобъ избѣжать скуки въ то время, когда я не могъ ѣздить верхомъ или править, я еще пробовалъ время отъ времени читать кое какіе пустяки, особенно по утрамъ, просыпаясь и лежа въ постели. Въ этомъ полу-чтеніи я просмотрѣлъ письма Плинія младшаго, доставившія мнѣ большое удовольствіе, какъ своимъ изяществомъ и подробностями о римской жизни и нравахъ, такъ и тѣмъ, что въ нихъ проглядываетъ благородство души и прекрасный характеръ автора. Послѣ писемъ я принялся за панегирикъ Траяну, извѣстный мнѣ только по наслышкѣ, изъ котораго я ни слова до тѣхъ поръ не читалъ. Прочтя нѣсколько страницъ, я не узналъ въ немъ автора писемъ и человѣка, претендовавшаго на дружбу съ Тацитомъ, и я почувствовалъ въ глубинѣ души порывъ негодованія. Тотчасъ же бросивъ книгу и выпрямившись, такъ какъ читалъ лёжа, я съ гнѣвомъ взялъ перо и, разговаривая съ самимъ собой, громко воскликнулъ: „Дорогой мой Плиній, если бы ты былъ истиннымъ другомъ, соревнователемъ и поклонникомъ Тацита, вотъ какимъ образомъ тебѣ бы слѣдовало говорить съ Трая-

номъ“. И тутъ же, сгоряча, не разсуждая, какъ сумасшедшій, я исписалъ около четырехъ листовъ самымъ тонкимъ почеркомъ. Наконецъ, утомленный и излившъ свой порывъ въ потокъ стиховъ, я бросилъ перо и болѣе не думалъ объ этомъ въ тотъ день. На другое утро, взявши вновь моего Плинія, или, вѣрнѣе, того Плинія, который наканунѣ такъ сильно палъ въ моемъ мнѣніи, я рѣшилъ дочитать его панегирикъ. Съ величайшимъ усиліемъ я прочелъ еще нѣсколько страницъ и не могъ продолжать дальше. Я пробовалъ прочесть отрывокъ изъ панегирика, написаннаго мною въ предыдущее утро съ такой пылкостью. Я не разочаровался въ немъ при чтеніи и, воспламенившись съ новой силой, обратилъ шутку въ серьезное произведеніе. Раздѣливъ и распредѣливъ тему наилучшимъ образомъ, я писалъ каждое утро не отрываясь отъ работы, насколько позволяли мои глаза: два часа усиленнаго труда уже лишаютъ меня зрѣнія. Затѣмъ я цѣлый день размышлялъ о написанномъ, что случается со мной всегда, когда кто-то невѣдомый сообщаетъ мнѣ горячку творчества; и въ пять дней, отъ 13 до 17 марта, произведеніе мое было совершенно закончено. Оно подверглось лишь незначительной обработкѣ при печатаніи.

Эта работа разбудила мой умъ и временно облегчила мои горькія страданія. Я тогда понялъ на опытъ, что для того, чтобы имѣть возможность переносить свои горести и не пасть подъ гнетомъ отчаянія, мнѣ было необходимо подчинять свой умъ какой-нибудь работѣ. Но будучи еще независимѣе и свободнѣе меня, мой умъ ни за что не хотѣлъ подчиняться; и, если бы, напримѣръ, я заранѣе намѣтилъ себѣ прочесть Плинія, а затѣмъ написать панегирикъ Траяну, то не могъ бы совмѣстить этихъ двухъ идей; чтобы одновременно обмануть и умъ и горе, я принудилъ себя совершить какую-нибудь трудную, какъ обычно говорятъ, черновую работу. Вотъ почему я вернулся къ Саллюстію, котораго, десять лѣтъ тому назадъ, въ Туринѣ, перевелъ ради упражненія; я велѣлъ переписать

сать этотъ переводъ и, свѣряясь съ текстомъ, подвергъ его серьезнымъ исправленіемъ, въ надеждѣ кое-что почерпнуть въ немъ. Но даже для такого мирнаго труда я не чувствовалъ себя достаточно покойнымъ и усидчивымъ. Это отразилось и на работѣ; я не достигъ большихъ результатовъ; напротивъ, убѣдился, что для кипящей и безумствующей души, полной заботъ и недовольства, легче задумать и создать короткое, пламенное произведеніе, чѣмъ холодно обрабатывать ранѣ сдѣланное. Отдѣлываніе надоѣдаетъ, и невольно думаешь о другомъ. Когда же охватываетъ горячка творчества, то весь предаешься ей одной. Итакъ, я оставилъ Саллюстія до болѣе благопріятнаго времени и вернулся къ прозѣ „О государѣ и о письмахъ“, задуманной мною и разбитой на главы нѣсколько лѣтъ тому назадъ во Флоренціи. Я написалъ тогда всю первую книгу и нѣсколько главъ второй.

По возвращеніи изъ Англіи въ Сіену, начиная съ прошлой осени, я напечаталъ третій томъ своихъ трагедій и разослалъ его многимъ, заслуживающимъ вниманія, соотечественникамъ, въ томъ числѣ знаменитому Чезаротти, съ просьбой высказать свое мнѣніе относительно стилиа и характера моихъ пьесъ.

25 мая.

Въ половинѣ апрѣля я получилъ отъ него письмо съ критическими замѣчаніями о трехъ трагедіяхъ, помѣщенныхъ въ этомъ томѣ. Я отвѣтилъ въ краткихъ словахъ; высказывая ему благодарность, я отмѣтилъ и то, о чемъ можно было спорить; при этомъ просилъ вновь указать мнѣ образецъ трагическаго стиха. По этому поводу можно замѣтить, что тотъ Чезаротти, который такъ превосходно изучилъ и перевелъ великіе стихи Оссіана, два года тому назадъ имѣлъ смѣлость предложить мнѣ, какъ образецъ бѣлаго стиха для діалога, нѣсколько собственныхъ переводовъ съ французскаго. Это были „Семирамида“ и „Магометъ“ Вольтера, давно уже появившіеся въ печати. Эти переводы Чезаротти уже

стали общимъ достояніемъ, поэтому я могу не разбирать ихъ здѣсь. Каждый сможетъ судить о нихъ и сравнить эти стихи съ моими и съ его собственнымъ эпическимъ переводомъ Оссіана; и тогда будетъ видно, что они не изъ одной мастерской. Но этотъ фактъ покажетъ, какъ ничтожны мы, люди, и особенно мы, писатели. У насъ всегда готовы краски, чтобъ описать другихъ, но никогда нѣтъ наготовѣ зеркала, чтобы увидать и узнать самихъ себя.

Въ Пизѣ журналистъ, который долженъ былъ написать отзывъ о третьемъ томѣ моихъ трагедій, нашелъ наиболѣе удобнымъ и краткимъ переписать это письмо Чезаротти ко мнѣ, прибавивъ мои замѣчанія, служащія ему отвѣтомъ. Я остался въ Пизѣ до конца августа 1785 года, но ничего болѣе не писалъ; я удовольствовался тѣмъ, что далъ переписать десять уже напечатанныхъ трагедій, внеся въ нихъ множество поправокъ, которыя тогда вполнѣ удовлетворили меня. Но когда позже, въ Парижѣ, я вновь занялся печатаніемъ своихъ произведеній, я нашелъ ихъ очень неудовлетворительными и чуть ли не учетверилъ число поправокъ. Въ маѣ мѣсяцѣ того же года я сильно развлекался въ Пизѣ игрою въ „мостъ“; это было очаровательное зрѣлище, гдѣ есть нѣчто античное наряду съ героическимъ. Прибавляю къ этому еще великолѣпный въ своемъ родѣ праздникъ, а именно, иллюминація всего города, что происходитъ каждые два года въ день св. Раніери. Эти два праздника справлялись одновременно по случаю пріѣзда неаполитанской королевской четы въ Тоскану, въ гости къ великому герцогу Леопольду, шурина короля. Мое мелкое тщеславіе было тогда вполнѣ удовлетворено, такъ какъ обратили особое вниманіе на моихъ прекрасныхъ англійскихъ лошадей, которыя по силѣ, красотѣ и быстротѣ бѣга превосходили всѣхъ остальныхъ. Но въ этихъ дѣтскихъ и обманчивыхъ забавахъ я скоро, къ своему великому огорченію, убѣдился, что въ умирающей и гниющей Италіи легче было обратить на себя вниманіе лошадьми, чѣмъ трагедіями.

ГЛАВА XVI.

ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВЪ ЭЛЬЗАСЪ, ГДѢ Я ПОСЕЛЯЮСЬ.—Я ЗАДУМЫВАЮ И ПИШУ ВЪ ПРОЗѢ ДВУХЪ „БРУТОВЪ“; ТАКЖЕ И „АВЕЛЯ“. — ВНОВЬ УСИЛЕННЫЯ ЗАНЯТІЯ.

Между тѣмъ, моя Дама уѣхала изъ Болоньи и въ апрѣлѣ направилась въ Парижъ. Рѣшивъ болѣе не возвращаться въ Римъ, она нашла наиболѣе удобнымъ поселиться во Франціи, гдѣ у нея были родственники, знакомства и кругъ интересовъ. Пробывъ въ Парижѣ до конца августа, она вернулась въ Эльзасъ, въ ту же виллу, гдѣ мы встрѣтились въ предыдущемъ году. Я же, съ радостью и послѣшностью, отправился въ первыхъ числахъ сентября въ Эльзасъ по обычной дорогѣ черезъ тирольскія Альпы. У меня не было больше въ Сиенѣ друга, возлюбленная моя покинула Италію,—теперь и я рѣшилъ послѣдовать за ней. Я не хотѣлъ поселиться тамъ же, гдѣ жила моя Дама, да и приличія этого не позволяли; но я старался жить какъ можно ближе къ ней и, по крайней мѣрѣ, не быть отдѣленнымъ отъ нея Альпами. Итакъ, я двинулъ всю свою кавалерію, и она, черезъ мѣсяцъ послѣ меня, благополучно прибыла въ Эльзасъ, гдѣ такимъ образомъ собралось все, чѣмъ я обладалъ, кромѣ книгъ, большинство которыхъ осталось въ Римѣ. Но блаженство этой второй встрѣчи продолжалось и могло продолжаться лишь два мѣсяца, такъ какъ моя Дама вынуждена была вернуться на зиму въ Парижъ. Въ декабрѣ я проводилъ ее до Страсбурга, гдѣ въ третій разъ разстался съ ней, что стоило мнѣ большихъ мученій. Она продолжала путь къ Парижу, а я возвратился въ нашу виллу. Я былъ очень печаленъ, но мое горе на этотъ разъ не было такъ велико, потому что мы находились ближе другъ къ другу; я могъ, безпрепятственно и не рискуя повредить ей, сѣздить въ Парижъ. Впереди предстояло лѣто, когда мы могли жить вмѣстѣ. Всѣ эти надежды такъ утѣшили меня и такъ освѣжили мой умъ, что я снова цѣликомъ бросился въ

объятія музъ. Въ теченіе одной этой зимы, отдыхая среди мирныхъ полей, я наработалъ гораздо больше, чѣмъ могъ бы сдѣлать равше въ столь короткій срокъ. Ничто такъ не сокращаетъ и не заполняетъ времени, какъ постоянная мысль объ одномъ и томъ же, и отсутствіе развлеченій и неудовольствій. Какъ только я вернулся въ свое уединеніе, я принялся писать въ прозѣ „Агиса“, котораго началъ въ Пизѣ въ декабрѣ прошлаго года; утомившись и соскучившись надъ этой работой, чего никогда не случилось со мной во время творчества, я тогда не могъ ее окончить. Теперь же благополучно окончивъ ее, я лишь тогда вздохнулъ свободно, когда также завершилъ „Софонизбу“ и „Мирру“. Въ слѣдующемъ мѣсяцѣ—январѣ 1786 года—я набросалъ вторую и третью книгу „О государѣ и о письмахъ“, задумалъ и написалъ въ прозѣ діалогъ подъ названіемъ „Непризнанная добродѣтель“. Это былъ долгъ, который я давно хотѣлъ отдать обожаемой памяти моего достойнѣйшаго друга Гори. Кромѣ того, я задумалъ, изложилъ прозой и написалъ стихами (лирическую часть) трагеломедіи „Авель“: это новый жанръ, о которомъ мнѣ необходимо будетъ сказать вскорѣ, если у меня хватитъ времени и силъ выполнить то, что я намѣренъ сдѣлать.

Разъ вернувшись къ поэзіи, я уже болѣе не бросалъ своей маленькой поэмы и вполнѣ окончилъ ее, включая в четвертую пѣснь. Затѣмъ я диктовалъ, исправлялъ и собиралъ три остальныхъ; будучи написаны отрывками, въ теченіе десяти лѣтъ, онѣ отличались какою-то несвязностью, не исчезнувшею, быть можетъ, и теперь, а среди многихъ моихъ недостатковъ этотъ рѣдко встрѣчается въ моихъ произведеніяхъ. Вскорѣ послѣ того, какъ я кончилъ эту поэму, я узналъ изъ письма моей возлюбленной, которая писала мнѣ очень часто, что она только что была на представленіи „Брута“ Вольтера, и что это произведеніе ей чрезвычайно понравилось. Я видѣлъ эту пьесу лѣтъ десять тому назадъ и совершенно забылъ ее; но теперь мое сердце преисполнилось чувствомъ соревнованія, къ которому присоединились гнѣвъ и

чувство презрительнаго соревнованія, и я сказалъ себѣ: „Какіе Бруты? Бруты какого-то Вольтера? Я самъ сумѣю создать Брутовъ. Время покажетъ, кому изъ насъ предназначено написать трагедію о Брутѣ, мнѣ, или какому-то плебею французу, который болѣе семидесяти лѣтъ подписывался: „Вольтеръ, gentilhomme ordinaire du roi“.

Я не сказалъ болѣе ни слова и не упомянулъ объ этомъ въ отвѣтномъ письмѣ къ моей Дамѣ, но сейчасъ же, съ быстротой молніи, задумалъ сразу двухъ Брутовъ, такъ, какъ я потомъ ихъ написалъ. Такимъ образомъ, уже въ третій разъ я измѣнялъ своему рѣшенію не писать болѣе трагедій, благодаря чему число ихъ возрасло съ двѣнадцати до девятнадцати. Послѣ послѣдняго Брута я торжественно возобновилъ свою клятву передъ Аполлономъ, и на этотъ разъ, я почти увѣренъ, что не нарушу ея. Порукой въ этомъ мнѣ служатъ года, тяжесть которыхъ все растетъ, а также и то, что мнѣ предстоитъ сдѣлать въ другой области, если хватитъ силъ и способностей.

Я провелъ въ этой виллѣ болѣе пяти мѣсяцевъ среди кипучей умственной дѣятельности. Съ ранняго утра, только что проснувшись, я писалъ пять или шесть страницъ моей Дамѣ; затѣмъ работалъ до двухъ или трехъ часовъ пополудни. Послѣ работы я дѣлалъ двухчасовую прогулку верхомъ или въ экипажѣ. Но во время прогулки мысль моя не отдыхала и не разсѣивалась, такъ какъ была все время сосредоточена на какомъ-нибудь стихѣ или образѣ; поэтому часы, предназначенные для отдыха, только утомляли мою голову. Это привело къ тому, что въ апрѣлѣ случился со мной жестокой припадокъ подагры, заставившій меня двѣ недѣли неподвижно, въ сильныхъ мукахъ, пролежать въ кровати, и такъ жестоко прервавшій мои занятія, за которыя я было хотѣлъ съ жаромъ вновь взяться. Было чрезвычайно трудно жить въ одиночествѣ и въ то же время напряженно работать. Я бы не вынесъ такой жизни, если бы не мои лошади, благодаря которымъ я дышалъ свѣжимъ воздухомъ и не

отвыкалъ отъ движенія. Но все же постоянная напряженность мозга до того изнурила меня, что если бы на этотъ разъ не пришла благодѣтельная подагра, я бы сошелъ съ ума или потерялъ остатокъ силъ. Я очень мало спалъ и почти ничего не ѣлъ. Однако, въ маѣ, благодаря отдыху и строгой діетѣ, я началъ поправляться. Но моя Дама по личнымъ обстоятельствамъ не могла вернуться ко мнѣ и мысль о томъ, что мнѣ придется еще томиться по ней, моей единственной радости, повергла меня въ отчаяніе, которое, болѣе чѣмъ на три мѣсяца, притупило мои творческія способности. Я работалъ мало и плохо до конца августа, когда столь желанное присутствіе моей Дамы утѣшило, наконецъ, печаль моей безпокойной и пламенной души.

Какъ только я исцѣлился физически и духовно, я забылъ страданія этой долгой разлуки, бывшей, къ счастью, послѣдней, и страстно принялся за работу. Къ срединѣ декабря, когда мы вмѣстѣ жили въ Парижѣ, я переложилъ въ стихи „Агиса“, „Софонисбу“, „Мирру“, изложилъ въ прозѣ обоихъ Брутовъ и написалъ свою первую сатиру.

26 мая.

Уже девять лѣтъ тому назадъ во Флоренціи пришла мнѣ мысль объ этомъ новомъ родѣ поэзіи. Я задумалъ сюжеты и даже пытался писать, но, не владея въ достаточной степени языкомъ и рифмой, потерпѣлъ неудачу. Потерявъ надежду когда-либо сдѣлать успѣхъ въ стилѣ и стихѣ, я забросилъ эту свою первоначальную мысль. Но живительные глаза моей Дамы вернули мнѣ необходимую смѣлость и энергію, и я рѣшился вновь попытать свои силы въ этой области; кажется, мнѣ удалось кое-что сдѣлать, хотя, быть можетъ, и не дано будетъ усовершенствоваться. Передъ отъѣздомъ въ Парижъ, я также пересмотрѣлъ свои стихотворенія, въ большинствѣ законченныя. Ихъ было много, пожалуй, даже слишкомъ много.

ГЛАВА XVII.

ПУТЕШЕСТВІЕ ВЪ ПАРИЖЪ.—СОГЛАШЕНІЕ СЪ
ДИДО ВЪ ПАРИЖЪ ПО ПОВОДУ ПЕЧАТАНІЯ МОИХЪ
ДЕВЯТНАДЦАТИ ТРАГЕДІЙ. — ВОЗВРАЩЕНІЕ ВЪ
ЭЛЬЗАСЪ.—ТЯЖКАЯ БОЛѢЗНЬ.—АББАТЬ КАЛУЗО
ПРІВЪЗЖАЕТЪ КЪ НАМЪ НА ЛѢТО.

1787.

Послѣ непрерывнаго четырнадцати-мѣсячнаго пребы-
ванія въ Эльзасѣ мы уѣхали въ Парижъ, самый не-
пріятный и чуждый для меня городъ; но присутствіе моей
Дамы превращало его въ рай. Не зная, сколько времени
придется провести въ Парижѣ, я оставилъ въ Эльзасѣ,
на виллѣ, любимыхъ лошадей и привезъ съ собой всего
лишь нѣсколько книгъ и всѣ свои рукописи.

Сначала, послѣ долгаго пребыванія въ деревнѣ, шумъ
и зловоніе этого хаоса навели на меня уныніе.

Къ тому же мнѣ пришлось жить очень далеко отъ
моей Дамы. Эта непріятность и многое другое, невыноси-
мое для меня въ этомъ Вавилонѣ, заставили бы меня
уѣхать, если бы я жилъ только въ себѣ и для себя. Но
уже много лѣтъ я не принадлежалъ себѣ, и съ грустью
смирился теперь передъ необходимостью, стараясь, по
крайней мѣрѣ, извлечь отсюда нѣкоторую пользу для сво-
его образованія.

Что касается поэзіи, то въ Парижѣ не было ни одного
литератора, хорошо знающаго нашъ языкъ, и потому въ
этой области я ничему не могъ научиться.

Мой взглядъ на трагедію, въ которой французы отво-
дятъ себѣ первое мѣсто, былъ, однако, въ основѣ отли-
ченъ отъ ихъ воззрѣній. У меня не было достаточной
флегмы, чтобы, подобно имъ, вѣчно изрекать торжествен-
ныя сентенціи, большей частью вѣрныя, но плохо сказан-
ныя. Однако, такъ какъ я привыкъ никому не возражать,
ни съ кѣмъ не спорить, слушать много и многихъ почти
никому не вѣря, то я научился у всѣхъ этихъ говоруновъ
великому искусству молчанія.

Эти шесть-семь мѣсяцевъ пребыванія въ Парижѣ были, по крайней мѣрѣ, очень полезны для моего здоровья. Къ половинѣ іюня мы вернулись въ Эльзасъ. Въ Парижѣ я кончилъ перваго „Брута“ и, благодаря одному довольно-комическому происшествію, совсѣмъ передѣлалъ „Софонисбу“. Мнѣ захотѣлось прочесть ее одному французу, котораго я зналъ въ Туринѣ, гдѣ онъ жилъ много лѣтъ. Это былъ человѣкъ хорошо понимающій драматическое искусство; нѣсколько лѣтъ тому назадъ, когда я ему читалъ „Филиппа II“, онъ далъ мнѣ прекрасную мысль перенести совѣтъ изъ четвертаго акта въ третій, гдѣ я его и оставилъ, такъ какъ онъ тамъ менѣе стѣсняетъ развитіе дѣйствія. Пока я читалъ „Софонисбу“ этому компетентному судѣ, я пытался по возможности отождествиться съ нимъ и старался угадать по его общему виду больше, чѣмъ по словамъ, его истинное впечатлѣніе. Онъ слушалъ не моргая, но я, также слушавшій за двоихъ, съ середины второго дѣйствія почувствовалъ, что холодѣю. Къ третьему дѣйствію холодъ настолько увеличился, что я не смогъ болѣе читать и внезапно, повинувшись непреодолимому чувству, бросилъ рукопись въ огонь. Мы сидѣли совершенно одни по обѣимъ сторонамъ камина и огонь, казалось, тайно призывалъ меня къ этому быстрому и строгому суду надъ своимъ произведеніемъ. Немного удивленный этой странной и неожиданной выходкой (у меня не вырвалось ни одного слова, которое могло бы вызвать предчувствіе такой развязки), мой другъ сдѣлалъ попытку спасти рукопись. Но я схватилъ щипцы и, засунувъ бѣдную „Софонисбу“ между двумя пылающими полѣньями, какъ опытный палачъ держалъ ее щипцами до тѣхъ поръ, пока она не запылала и не исчезла въ трубѣ. Эта выходка была того же свойства, какъ и происшедшая въ Мадридѣ, жертвой которой сталъ бѣдный Илья, но только гораздо менѣе постыдная и принесшая мнѣ пользу. Я утвердился во мнѣніи, которое уже нѣсколько разъ мелькало у меня по поводу сюжета этой трагедіи: о его неблагодарности и могущей съ перваго

взгляда казаться фальшивости основного положенія. Поэтому я рѣшилъ оставить ее. Но рѣшенія поэта подобны гнѣву матери. Черезъ два мѣсяца несчастная проза „Софонисбы“, такъ жестоко покаранная мною, попала въ мою руку. Я перечелъ ее и мнѣ показалось, что она не лишена нѣсколькихъ удачныхъ мѣстъ. Я переименовалъ ее въ стихахъ, сильно сокращая и стараясь красотой стили скрыть недостатки содержанія. Хотя я былъ убѣжденъ въ томъ, что мнѣ не удастся сдѣлать изъ нея порядочную трагедію, у меня не было храбрости окончательно оставить ее, такъ какъ это былъ единственный сюжетъ, въ которомъ высокій духъ Кароагена и Рима получалъ такое полное развитіе. Это слабая трагедія, но въ ней есть мѣста, которыми я горжусь.

Въ общемъ же мои трагедіи казались мнѣ достаточно зрѣлыми, чтобы произвести общее цѣльное впечатлѣніе, и я рѣшилъ воспользоваться своимъ пребываніемъ въ Парижѣ, чтобы издать ихъ, изящно, тщательно и удобно, не щадя ни труда, ни денегъ. Но раньше, чѣмъ остановиться окончательно на выборѣ той или иной типографіи, я хотѣлъ узнать, какъ онѣ справятся съ иностраннымъ языкомъ. На пробу я далъ законченный еще въ прошломъ году панегирикъ Траяну, и такъ какъ онъ былъ не длиненъ, то все было готово ранѣе, чѣмъ черезъ мѣсяць. Это было мудрою мѣрой, такъ какъ пришлось переименовать типографію. Я заключилъ условіе съ Дидо старшимъ, человѣкомъ опытнымъ и любящимъ свое дѣло, къ тому же аккуратнымъ и въ достаточной мѣрѣ владеющимъ итальянскимъ языкомъ. Съ мая 1787 г. я началъ печатаніе перваго тома трагедій. Я спѣшилъ, зная, что съ моимъ отъѣздомъ въ іюнь въ Эльзасъ, гдѣ я собирался остаться до зимы, печатанье затянется, хотя и были приняты мѣры, чтобы я каждую недѣлю получалъ листы для корректуры, которые я затѣмъ вновь отсылалъ въ Парижъ. Такимъ образомъ, я былъ вынужденъ провести зиму въ Парижѣ, мысль о которомъ внушала мнѣ отвращеніе. Рѣшиться на это могли заставить меня лишь

любовь и слава. Я оставилъ Дидо рукописи „Разсужденія въ прозѣ“, служащаго предисловіемъ, и трехъ первыхъ трагедій, которыя я по глупости считалъ вполне отдѣланными и отшлифованными. Только потомъ, когда началось уже печатанье, я понялъ, какую допустилъ ошибку.

Любовь къ покою, радость жить подъ одной кровлей съ моей Дамой, близость книгъ и любимыхъ лошадей— все это заставляло меня желать скораго возвращенія въ Эльзасъ. Но было и еще одно обстоятельство, дѣлавшее для меня вдвойнѣ пріятной жизнь въ Эльзасѣ. Другъ Калузю обѣщалъ провести съ нами лѣто. А это былъ лучшій изъ людей, которыхъ я когда-либо зналъ, и послѣ смерти Гори мой единственный другъ. Черезъ нѣсколько недѣль послѣ нашего возвращенія въ Эльзасъ, къ концу іюля мы поѣхали къ нему навстрѣчу до Женевы. Затѣмъ уже втроемъ вернулись черезъ всю Швейцарію въ нашу виллу близъ Кольмара, гдѣ, такимъ образомъ, сосредоточилось все самое дорогое для меня на свѣтѣ. Несожданно, въ первомъ же разговорѣ, другъ мой коснулся моихъ семейныхъ дѣлъ. Моя мать дала ему довольно странное, если принять во вниманіе мой возрастъ, мои занятія, мой образъ мыслей, — порученіе, состоявшее въ предложеніи жениться. Онъ мнѣ передалъ его, смѣясь. Также смѣясь, отвѣтилъ я отказомъ, и мы сообща составили извинительное письмо моей милой матери.

Покончивъ съ вопросомъ о женитьбѣ, мы изливали свои сердца въ безконечныхъ разговорахъ о литературѣ, которую оба такъ любили. Я ощущалъ прямую потребность бесѣдовать объ искусствѣ, говорить по-итальянски о томъ, что касается Италіи. Вѣдь, я былъ лишенъ этого наслажденія болѣе двухъ лѣтъ и вредное вліяніе оторванности больше всего сказывалось на стихахъ. Я думаю, что если бы современнымъ знаменитѣйшимъ людямъ Франціи, Вольтеру и Руссо напимѣръ, пришлось прожить лучшую часть своей жизни въ скитаніяхъ по странамъ, гдѣ никто не знаетъ ихъ языка, и гдѣ не съ кѣмъ поговорить, то у нихъ, можетъ быть, не хватило бы невозму-

тимости и упорнаго постоянства писать исключительно изъ любви къ искусству, рассказывая свою душу, какъ это дѣлалъ я въ продолженіе столькихъ лѣтъ, вынужденный жить и общаться съ варварами. По совѣсти, въ отношеніи къ итальянской литературѣ мы въ правѣ называть такъ всѣхъ остальныхъ европейцевъ, но это, однако, можетъ относиться и къ большей части Италіи, *sui pescia*. Пожелай кто-нибудь писать вдохновляясь твореніями Петрарки и Данте, ему суждено будетъ остаться непонятымъ, такъ какъ кто теперь въ Италіи можетъ по настоящему цѣнить и живо чувствовать Данте и Петрарку? Одинъ на тысячу,—и то сказано слишкомъ. вмѣстѣ съ тѣмъ, непоколебимый въ своемъ отношеніи къ истинному и прекрасному, я предпочту (пользуясь каждой возможностью, чтобы изложить свое отношеніе къ данному вопросу), я предпочту писать на мертвомъ языкѣ для уже почти совсѣмъ не существующаго народа и быть заживо погребеннымъ, чѣмъ писать на одномъ изъ нѣмыхъ и глухихъ языковъ, какъ языкъ французовъ или англичанъ, хотя ихъ армія и пушки дѣлаютъ ихъ модными. Въ тысячу разъ лучше стихи итальянскіе (но хорошо выточенные), даже если они и будутъ временно презираемы и неизвѣстны, или осмѣяны, чѣмъ французскіе или англійскіе, или на какомъ-нибудь другомъ могущественномъ жаргонѣ, которые получаютъ большое распространеніе и принесутъ всеобщее одобреніе. Вѣдь, не одно и то же перебирать для себя одного благородныя и мелодичныя струны арфы или дуть въ пошлую волынку, хотя бы подъ торжественные аплодисменты тысячи вислоухихъ слушателей.

Возвращаюсь къ моему другу, въ разговорахъ съ которымъ я часто высказывалъ эти мысли, что доставляло мнѣ величайшее облегченіе. Я не долго наслаждался полнымъ и столь новымъ для меня счастьемъ проводить дни съ людьми, которыхъ я любилъ и глубоко уважалъ. Несчастный случай съ моимъ другомъ нарушилъ нашъ покой. Онъ упалъ съ лошади, катаясь со мной верхомъ, и вывихнулъ себѣ руку въ кисти. Я сначала подумалъ,

что онъ сломалъ ее, и это такъ сильно взволновало меня, что я заболѣлъ и мое положеніе стало опаснѣе его. Черезъ два дня у меня началась жестокая дизентерія. Болѣзнь быстро ухудшалась, и въ продолженіе пятнадцати дней я не бралъ въ ротъ ничего, кромѣ ледяной воды. Я страшно ослабъ, въ сутки у меня бывало болѣе восьмидесяти испражнений, но не было лихорадки. Температура тѣла настолько понизилась, что винныя припарки, которыя мнѣ клали на животъ, чтобы оживить совершенно истощенные органы, припарки настолько горячія, что обжигали руки моимъ домашнимъ и мою кожу, казались мнѣ холодными. Весь остатокъ жизни сосредоточился въ головѣ, хотя и ослабѣвшей, но ясной. Спустя пятнадцать дней наступило улучшеніе, но еще на тридцатый день число испражнений превышало двадцать въ сутки. Наконецъ, черезъ шесть недѣль я выздоровѣлъ, хотя и превратился въ скелетъ и такъ ослабъ, что еще цѣлый мѣсяцъ слуги вынуждены были переносить меня на рукахъ, когда приходилось поправлять постель. Я думалъ, что не выживу. Мнѣ были крайне тяжелы мысли о смерти, о разлукѣ съ моею Дамой, съ другомъ, со славой, еще только рождавшейся, которой я добивался въ теченіе десяти лѣтъ со столькими усиліями. Я чувствовалъ, что всѣ произведенія, оставшіяся послѣ меня, были бы не въ такой мѣрѣ закончены, какъ я бы могъ этого достигъ, если бы Господь далъ мнѣ время. Утѣшало меня лишь то, что я умру свободнымъ въ присутствіи самыхъ дорогихъ для меня существъ на свѣтѣ, любовь и уваженіе которыхъ я, казалось, заслужилъ, и то, что меня минуютъ страданія физическія и моральныя, вѣрные спутники старости. Я сдѣлалъ другу всѣ нужныя указанія насчетъ дальнѣйшаго печатанія моихъ трагедій. Когда я впослѣдствіи занялся серьезно самъ этимъ печатаніемъ, продолжившимся около трехъ лѣтъ, то ясно понялъ по кропотливости и медленности работы надъ безконечными корректурами, что умри я тогда, послѣ меня не осталось бы ничего значительнаго. Весь первоначальный трудъ пропалъ бы даромъ—такое

рѣшающее значеніе имѣютъ въ поэзіи послѣдніе заканчивающіе штрихи.

На этотъ разъ судьба помиловала меня и позволила довести трагедіи до той степени совершенства, какую я могъ имъ дать. Я надѣюсь, что написавъ ихъ, я оставилъ по себѣ нѣкоторый слѣдъ.

Выздоровленіе мое шло очень медленно и я чувствовалъ себя настолько слабымъ, что не могъ достаточно тщательно провѣрить корректуры первыхъ трехъ трагедій, надъ которыми работалъ четыре мѣсяца въ этомъ году. Это было причиной того, что два года спустя по ихъ появленіи въ свѣтъ, окончивъ все изданіе, я исправилъ ихъ и переиздалъ отдѣльно. Сдѣлалъ я это, чтобы удовлетворить требованіямъ искусства и, главнымъ образомъ, своимъ собственнымъ; ибо, вѣроятно, лишь весьма немногіе замѣтятъ измѣненія въ стилѣ. Каждая поправка въ отдѣльности не имѣла большого значенія, но общее впечатлѣніе на много улучшилось и, надо надѣяться, что это будетъ оцѣнено если не теперь, то въ будущемъ.

Г л а в а XVIII.

ТРЕХЛѢТНЕЕ ПРЕБЫВАНІЕ ВЪ ПАРИЖѢ.—ПЕЧАТАНІЕ ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ТРАГЕДІЙ.—ОДНОВРЕМЕННОЕ ПЕЧАТАНІЕ ДРУГИХЪ ПРОИЗВЕДЕНІЙ ВЪ КЕЛѢ.

Рука аббата Калузо давно зажила, и онъ долженъ былъ вернуться къ своимъ литературнымъ занятіямъ въ Туринѣ, гдѣ занималъ мѣсто секретаря Академіи Наукъ. Передъ окончательнымъ отъѣздомъ въ Италію ему пришла мысль предпринять экскурсію въ Страсбургъ. Возможность провести съ нимъ еще нѣкоторое время заставила меня рѣшиться сопутствовать ему, хотя я и чувствовалъ себя еще слабымъ.

Моя Дама присоединилась къ намъ, и мы выѣхали въ октябрь. Среди другихъ достопримѣчательностей мы посѣтили Кельскую типографію, прекрасно обставленную Бомарше, который самъ купилъ Бэскервильскій шрифтъ для различныхъ изданій полного собранія сочиненій Вольтера. Красота шрифта, быстрота работы, счастливый случай, сведшій меня съ Бомарше еще въ Парижѣ, — все это подало мнѣ мысль воспользоваться его типографіей для печатанія моихъ остальныхъ произведеній, по отношенію къ которымъ я опасался строгостей французской цензуры, не болѣе снисходительной, чѣмъ итальянская. Я всегда съ отвращеніемъ подчинялся этому предварительному осмотру, но не потому, чтобы стоялъ самъ за полную свободу печати. Я никогда не позволю себѣ написать ничего, могущаго вызвать чье-либо недовольство или обиду. Въ дѣлахъ печати Англія всегда останется для меня единственной достойной подражанія и дѣйствительно свободной страной. Полная свобода совѣсти, уваженіе къ добрымъ нравамъ, сдержанность въ выраженіяхъ—всегда будутъ единственными законами, которымъ я охотно подчиняюсь.

Воспользовавшись позволеніемъ Бомарше прибѣгнуть къ его замѣчательной типографіи, я оставилъ для печатанья рукопись пяти одъ подъ общимъ названіемъ „Свободная Америка“. Эта небольшая вещь должна была служить пробой, вполне меня удовлетворившей. Въ продолженіе двухъ лѣтъ я только тамъ печаталъ свои произведенія. Я получалъ каждую недѣлю корректуры въ Парижѣ и послѣ исправленія отсылалъ ихъ обратно. Иногда я мѣнялъ нѣкоторые стихи цѣликомъ. Моему рвенію способствовало страстное желаніе совершенствованія и рѣдкая любезность кельскихъ метранпажей, которой я никогда не смогу нахвалиться. Въ противоположность имъ, служащіе у Дидо перепортили мнѣ много крови, заставляя дорого доплачивать за каждую перестановку словъ; такъ что если обыкновенно въ жизни получаешь поощреніе за исправленіе ошибокъ, то я, напро-

тивъ, долженъ былъ платить за исправленіе или замѣну моихъ промаховъ.

Мы вернулись изъ Страсбурга въ виллу Кольмаръ, и нѣсколько дней спустя, къ концу октября, мой другъ уѣхалъ въ Туринъ. Болѣе чѣмъ когда-либо было мнѣ тяжело лишиться его милыхъ и мудрыхъ совѣтовъ. Мы оставались въ деревнѣ весь ноябрь и часть декабря, пока организмъ мой медленно оправлялся отъ тяжелаго потрясенія. Полубольной писалъ я кое-какъ второго „Брута“. Я рѣшилъ, что это послѣдняя моя трагедія; она должна была печататься въ самомъ концѣ, и у меня оставалось еще много времени, чтобы привести ее въ наилучшій видъ.

Какъ только мы пріѣхали въ Парижъ, гдѣ меня надолго задерживало изданіе сочиненій, я сталъ искать подходящаго жилища. Мнѣ посчастливилось, и я нашелъ очень спокойный и веселый съ виду домъ, одиноко стоявшій на бульварѣ С.-Жерменскаго предмѣстья, въ концѣ улицы Монпарнассъ. Здѣсь было уединенно, передо мной разстилался прекрасный видъ на даль полей и чистый воздухъ врывался въ мое окно. Все это напоминало мнѣ мою виллу въ Римѣ у термъ Діоклетіана. Всѣ лошади были со мной, и я уступилъ почти половину ихъ возлюбленной, такъ какъ она нуждалась въ нихъ, а мнѣ нужно было сократить свои расходы и развлеченія. Теперь я могъ беспрепятственно погрузиться въ трудное и скучное дѣло печатанія, на которое у меня и ушло три года.

1788.

Въ февралѣ 1788 года моя Дама получила извѣстіе о смерти мужа, наступшей его въ Римѣ, черезъ два года послѣ того, какъ онъ покинулъ Флоренцію. Въ этомъ не было ничего неожиданнаго, такъ какъ за послѣдній мѣсяцъ у него часто повторялись припадки. Къ моему удивленію, освобождавшая ее смерть мужа, въ которомъ она не привыкла видѣть друга, сильно огорчила ее. Въ ея печали не было ни преувеличенія, ни притворства, чуж-

дыхъ ея открытой, несравненной душѣ. Я не сомнѣваюсь что, несмотря на значительную разницу лѣтъ, онъ могъ бы найти въ ней если не возлюбленную, то вѣрнаго друга, не оттолкну онъ ее грубостью и пьянствомъ.

Печатаніе моихъ сочиненій продолжалось весь 1788 г. Окончивъ редактированіе четвертаго тома, я принялся за составленіе статей, которыя хотѣлъ помѣстить въ концѣ тома для поясненія каждой трагедіи. Въ этомъ же году кончилось и печатанье въ Келѣ „Одъ“, „Діалога“, „Этрупіи“ и „Стихотвореній“. Послѣ этого я въ слѣдующемъ году принялся съ еще большимъ жаромъ за работу, чтобы скорѣе покончить все. Въ августѣ въ Парижѣ были готовы шесть томовъ моихъ трагедій, а въ Келѣ мои двѣ статьи въ прозѣ „О государѣ и литературѣ“ и „О тиранніи“. Послѣ этого я уже ничего не печаталъ въ Келѣ. Въ теченіе года мнѣ попался на глаза мой „Панегирикъ“. Замѣтивъ въ немъ нѣсколько недостатковъ, я рѣшилъ, исправивъ ихъ, переиздать его у Дидо такъ же тщательно, тѣмъ же шрифтомъ, какъ и мои остальные произведенія. Я помѣстилъ въ тотъ же томъ оду на взятіе Бастиліи, очевидцемъ котораго я былъ, и заключилъ ее нѣсколькими словами, относящимися къ послѣднимъ событіямъ. Остались не напечатанными „Авель“, къ которому я хотѣлъ прибавить еще нѣсколько другихъ трагеломедій, и переводъ Саллюстія, который я оставилъ, не желая болѣе вступать на опасный и непроходимый путь—лабиринтъ переводчика.

Глава XIX.

НАЧАЛО СМУТЫ ВО ФРАНЦИИ, ПРЕВРАЩАЮЩЕЙ МЕНЯ ИЗЪ ПОЭТА ВЪ БОЛТУНА.—МОЕ МНѢНІЕ О НАСТОЯЩЕМЪ И БУДУЩЕМЪ ЭТОГО ГОСУДАРСТВА.

Съ апрѣля 1789 г. жилъ я въ непрерывномъ беспокойствѣ, опасаясь, что постоянно вспыхивающіе, послѣ созыва Генеральныхъ Штатовъ, мятежи помѣшаютъ мнѣ

довести до конца изданіе моихъ сочиненій, и послѣ столькихъ трудовъ и затратъ я пойду ко дну со своимъ грузомъ почти уже при входѣ въ портъ. Я спѣшилъ какъ только могъ. Но не такъ поступали мастера у Дидо, превратившіеся въ политикановъ, въ свободомыслящихъ, цѣлыми днями читавшіе газеты и обсуждавшіе законы вмѣсто того, чтобы набирать, править и выпускать книги. Я думалъ, что сойду съ ума отъ безпокойства, и потому велика была моя радость, когда мои трагедіи, наконецъ, были закончены и упакованы, и ихъ отослали въ Италію и другія страны. Но радость эта была недолга. Событія все ухудшались. Съ каждымъ днемъ въ этомъ Вавилонѣ становилось неспокойнѣе и опаснѣе, все болѣе и болѣе омрачались думы о будущемъ для тѣхъ, кто, подобно моей Дамѣ и мнѣ, къ сожалѣнію, вынужденъ былъ жить въ Парижѣ и имѣть дѣло съ этими мартышками.

1790.

Вотъ уже болѣе года я молчаливо наблюдаю печальныя послѣдствія ученой безпомощности этого народа, который, какъ давно уже такъ тонко замѣтилъ нашъ политическій пророкъ Маккиавелли, умѣетъ болтать обо всемъ, не будучи въ состояніи правильно дѣйствовать и доводить начатаго до конца. Я глубоко огорчился тѣмъ, что священное и высокое дѣло свободы было предано, подмѣнено и обезславлено этими полу-философами; отвратительно было видѣть эти полу-истины, полу-преступленія, и въ общемъ лишь одну бесполезность. При видѣ угрожающаго вліянія войска и адвокатовъ, изъ которыхъ такъ нелѣпо хотѣли сдѣлать основу новой свободы, у меня было одно желаніе—скорѣе покинуть эту зловонную больницу, скопище несчастныхъ и безумныхъ.

Я находился бы уже далеко отъ нея, если бы лучшая часть моего существа, къ несчастью своему, не была удержана здѣсь своими влеченіями. Колеблясь среди нескончаемыхъ сомнѣній и страховъ, которые овладѣли моимъ отупѣвшимъ умомъ вотъ уже годъ съ тѣхъ поръ,

какъ кончены мои трагедіи, я влачу жалкую долю, прозябаю скорѣе, чѣмъ живу; я истощилъ свои силы въ минувшіе три года, которые цѣликомъ отдалъ исправленію и изданію своихъ сочиненій, и теперь не могу и не умѣю создать себѣ достойное занятіе. Я получалъ и продолжаю получать съ разныхъ сторонъ извѣстія, что изданіе моихъ трагедій не прошло незамѣченнымъ и достигло своей цѣли. Мнѣ сообщаютъ, что онѣ продаются и встрѣчаютъ одобреніе. Однако, эти извѣстія переданы мнѣ друзьями или людьми, которые желаютъ мнѣ добра; поэтому я не обманываю себя на этотъ счетъ. Я принялъ рѣшеніе не считаться ни съ хвалой, ни съ порицаемъ, если они не обоснованы. А въ обоснованіи я желаю просвѣщенности и пользы для искусства и художника. Но подобныхъ обоснованій не встрѣчаешь, и до сихъ поръ я не слышалъ ни одного такого. Поэтому-то я и смотрю на все остальное, какъ на несущественное. Все это я зналъ и ранѣе; тѣмъ не менѣе, это не помогло мнѣ сбереечь трудъ и время въ стремленіи достичь лучшаго, насколько оно было во мнѣ заложено. Можетъ быть, въ будущемъ моему праху будетъ оказанъ, благодаря этому, большій почетъ, ибо я имѣлъ передъ собою такой поводъ для разочарованія, и тѣмъ не менѣе съ такой настойчивостью постоянно хотѣлъ сдѣлать дѣло хорошо, а не скоро, одобрять только истину и склоняться передъ нею одной.

Изъ шести произведеній, которыя я напечаталъ въ Кельѣ, я хочу вынустить теперь въ свѣтъ лишь два первыхъ, т. е. „Свободную Америку“ и „Непризнанную добродѣтель“; остальные я сохраню до менѣ бурнаго времени, когда никто не соблазнится желаніемъ сдѣлать мнѣ отвратительный и, думаю, незаслуженный упрекъ въ томъ, что я вторю голосу этихъ бандитовъ, говоря то же, что они говорятъ, но никогда не дѣлаютъ, чего они не сумѣли бы, никогда не могли бы сдѣлать. Тѣмъ не менѣе, я напечаталъ все, такъ какъ мнѣ представлялся случай, о которомъ я рассказалъ; и еще потому, что я убѣжденъ, что оставить послѣ себя руко-

писи совсѣмъ не одно и то же, что оставить книги. Книга, дѣйствительно, додѣлана и закончена лишь тогда, когда она напечатана съ самымъ великимъ тщаніемъ, просмотрѣна и корректирована у типографскаго станка самимъ авторомъ. Разумѣется, книга можетъ быть вовсе не закончена и даже совсѣмъ не сдѣлана, сколько бы старанія ни положить на внѣшность ея изданія. Это слишкомъ очевидно. Но и для настоящаго произведенія эти условія необходимы.

Когда я довелъ до конца это дѣло, я рѣшилъ начать лежащую передъ читателемъ повѣсть своей жизни. Я принялъ такое рѣшеніе подъ вліяніемъ темныхъ предчувствій и на основаніи сознанія (безъ стѣсненія признаюсь въ этомъ), что сдѣланное мною въ теченіе послѣднихъ четырнадцати лѣтъ достойно вниманія. Я началъ свою работу въ Парижѣ въ возрастѣ 41 года и нѣсколькихъ мѣсяцевъ, и тамъ же 27 мая 1790 года заканчиваю настоящій отрывокъ, который, повидимому, будетъ самымъ значительнымъ. И вторично я не стану переписывать этой болтовни, врядъ ли даже буду въ нее заглядывать, пока мнѣ не минетъ шестидесяти, если только доживу до этого возраста,—времени, когда, вѣроятно, уже закончится моя поэтическая карьера. Тогда съ холодной мудростью, которую приносятъ съ собою уходящіе въ прошлое годы, я снова проверю эту повѣсть и прибавлю къ ней отчетъ еще о новыхъ десяти или пятнадцати годахъ, которые я, вѣроятно, посвящу творчеству или самообразованію. Если я окажусь способнымъ примѣнить свои силы еще къ двумъ или тремъ родамъ литературы, которымъ я бы хотѣлъ отдать остатокъ своихъ способностей, я присоединю тогда годы, посвященные этому дѣлу, къ разсказу о четвертомъ періодѣ своей жизни—порѣ зрѣлости. Если же нѣтъ, то продолжая эту исповѣдь, я начну разсказъ о пятомъ періодѣ—безплодныхъ годахъ старости и вторичнаго дѣтства, который изложу въ самыхъ краткихъ словахъ, какъ ничтожный и бесполезный предметъ, если только сохраню достаточную ясность ума и сужденія.

Но если я умру раньше, что всего вѣроятнѣе, то прошу всякаго благоволящаго мнѣ человѣка, въ руки котораго попадетъ эта повѣсть, дать ей то примѣненіе, которое онъ сочтетъ наилучшимъ. Если она будетъ напечатана въ ея теперешнемъ видѣ, то, надѣюсь, будетъ видно, что хотя она и писалась съ большой послѣдностью, однако, складывалась подъ живымъ впечатлѣніемъ одной только правды. А это приноситъ съ собою простоту и незаконченность. Чтобы кончить повѣсть о мнѣ самомъ, будущему другу останется лишь сообщить время, мѣсто и родъ моей смерти. О нравственномъ состояніи, въ которомъ застанетъ меня послѣдній часъ, онъ сможетъ смѣло увѣрить читателя отъ моего имени, что я слишкомъ хорошо зналъ этотъ лживый и пустой міръ, чтобы унести съ собою сожалѣніе о чемъ-нибудь, кромѣ моей Дамы. Сколько я ни просуществую еще, я стану жить отнынѣ лишь для нея и въ ней, и потому только одна мысль можетъ потрясти и испугать меня,—мысль о возможности потерять ее. И у Неба я прошу лишь одной милости—дозволенія уйти первымъ отъ невзгодъ здѣшней жизни.

Впрочемъ, если неизвѣстный другъ, который станетъ обладателемъ этой рукописи, сочтетъ за лучшее сжечь ее, онъ поступитъ не хуже. Я только объ одномъ прошу его: если онъ захочетъ обнародовать ее не въ томъ видѣ, какъ я ее написалъ, пусть ограничитъ свои измѣненія сокращеніями разсказа или какими угодно поправками стили въ направленіи его изящества, но пусть не добавляетъ къ нему ни одного факта и, такимъ образомъ, не видоизмѣняетъ тѣхъ, которые я самъ разсказалъ. Если, приступая къ изложенію своей жизни, я прежде всего имѣлъ вполнѣ достойное намѣреніе бесѣдовать съ собою о самомъ себѣ, обнаружить себя приблизительно такимъ, каковъ я есть, и показать себя наполовину обнаженнымъ передъ тѣми, кто хочетъ или захочетъ въ будущемъ по настоящему узнать меня,—то я, во всякомъ случаѣ, душою, не менѣе всякаго другаго, способенъ выразить на двухъ или трехъ страницахъ квинтъ-эссенцію прожитыхъ сорока

одного года моей жизни, если таковая въ ней имѣется, и говорить о себѣ въ манерѣ Тацита съ аффектированной сжатостью и той ложной скромностью, которая чаще гордости. Но если бы таковы были мои намеренія, то я пожелалъ бы выжить на показъ свои высокія дарованія вмѣсто того, чтобы описывать свою душу и характеръ. Существуютъ ли эти дарованія или ихъ мнѣ только приписываютъ,—во всякомъ случаѣ, я далъ имъ полное выраженіе въ другихъ своихъ работахъ; въ этой же, которая несмотря на свою искренность, не менѣе значительна, чѣмъ другія, ищетъ выраженія только мое сердце, какъ старикъ, который говоритъ о себѣ самомъ, а поутро и о другихъ людяхъ, такъ, какъ они видны въ будничномъ обиходѣ.

ЖИЗНЬ
ВИТТОРИО АЛЬФИЕРИ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

МАЛЕНЬКОЕ ПРЕДИСЛОВІЕ.

4 мая 1803.

Перечитавъ черезъ тринадцать лѣтъ во Флоренціи, гдѣ я окончательно поселился, все написанное мною въ Парижѣ, т. е. мою жизнь до сорока одного года, я исподволь принялся за переписку, внося въ нее нѣкоторыя поправки для достиженія большей ясности и гладкости стила.

Окончивъ эти записки, въ которыхъ опять говорилъ о себѣ, я рѣшилъ продолжать свой разсказъ, ибо, можетъ быть, за эти тринадцать лѣтъ я сдѣлалъ что-нибудь достойное гласности. Мои силы тѣлесныя и духовныя все слабѣютъ съ накопленіемъ годовъ и возможно, что мнѣ уже больше ничего не дано будетъ совершить. Я льщу себя надеждой, что эта вторая часть, болѣе краткая, чѣмъ первая, будетъ послѣдней. Пятьдесятъ пятый годъ моего существованія привелъ меня къ порогу старости. Я много жилъ плотью и духомъ и рѣшилъ отнынѣ бездѣйствовать, въ силу чего эта часть моей жизни дастъ мнѣ лишь скудный матеріалъ для повѣствованія.

ЭПОХА ЧЕТВЕРТАЯ.

ГЛАВА XX.

ЗАКОНЧИВЪ ПЕЧАТАНЬЕ ПЕРВОЙ СЕРИИ ТРАГЕДИЙ, Я ПРИНИМАЮСЬ ЗА ПЕРЕВОДЪ ВИРГИЛІЯ И ТЕРЕНЦІЯ.—ЦѢЛЬ ЭТОЙ РАБОТЫ.

1790.

Продолжая разсказъ объ этомъ четвертомъ періодѣ своей жизни, скажу, что я очутился вновь въ Парижѣ, праздный, измученный, неспособный что-либо совершить, хотя предполагалъ многое сдѣлать. Чтобы какъ-нибудь убить время, я началъ въ іюнѣ 1790 года отрывочные переводы тѣхъ мѣстъ Энеиды, которыя меня больше всего очаровали. Потомъ увидавъ, что работа эта мнѣ пріятна и полезна, какъ упражненіе въ бѣлыхъ стихахъ, я началъ переводить съ начала. Скоро, однако, мнѣ надоѣло дѣлать каждый день одно и то же, и чтобы внести разнообразіе въ свои занятія и усовершенствоваться въ латыни, я рѣшилъ перевести всего Теренція. Я хотѣлъ при помощи этого чистѣйшаго образца выработать себѣ комическій стихъ для давно задуманной комедіи. Мнѣ казалось, что я смогу внести и сюда тотъ своеобразный стиль, котораго, какъ полагалъ, я достигъ въ трагедіи. Я переводилъ ихъ поочередно черезъ день весь 1790 годъ, до апрѣля 1792 г.; когда уѣзжалъ изъ Парижа, у меня были почти закончены четыре первыя книги Энеиды; а Теренція, — „Андірія“, „Евнухъ“ и „Заутонтимороменось“.

Кромѣ того, чтобы разсвѣять навѣянные обстоятельствами мрачныя мысли, я рѣшилъ для упражненія памяти, которая благодаря моему отвлеченію писательствомъ не имѣла достаточнаго развитія, заучивать отрывки изъ Го-

рація, Виргилія, Ювенала, а также изъ Данте, Тассо, Аріосто. Скоро голова моя наполнилась легіонами стиховъ. Эти второстепенныя занятія окончательно истощили мой мозгъ и лишили меня творческой способности. Поэтому изъ шести задуманныхъ трамелогедій я не смогъ прибавить ни одной къ первой изъ нихъ, къ моему „Авелю“. Я былъ выбитъ изъ колеи различнѣйшими обстоятельствами, и терялъ безвозвратно время, молодость и силы, необходимыя для такихъ произведеній. Поэтому въ послѣдній годъ, прожитый въ Парижѣ, и въ послѣдующіе два года я написалъ лишь нѣсколько эпиграммъ и сонетовъ, въ которыхъ изливалъ справедливую злобу на рабовъ, ставшихъ господами, и давалъ пищу своей меланхоліи. Тутъ я задумалъ сложную драму „Графъ Уголино“, которую собирался присоединить къ шести еще не написаннымъ трамелогедіямъ. Но это такъ и осталось планомъ, о развитіи котораго я больше не думалъ, и къ которому уже не возвращался. Въ это же время я бросилъ незаконченнаго „Авеля“. Въ октябрѣ того же 1790 г. я совершилъ со своей Дамой маленькое двухнедѣльное путешествіе черезъ Канъ, Гавръ, Руанъ, въ Нормандію, замѣчательную и богатую провинцію, мнѣ до тѣхъ поръ совсѣмъ незнакомую. Я вернулся очень довольный и даже немного облегченный. Эти три года непрерывнаго печатанья и постоянныхъ печалей иссушили мой духъ и тѣло. Въ апрѣлѣ, убѣдившись въ томъ, что во Флоренціи событія все больше и больше запутываются, я хотѣлъ поискать гдѣ-нибудь внѣ ея такого мѣста, гдѣ были бы намъ обезпечены отдыхъ и безопасность. Моя Дама избрала Англію, единственно сколько-нибудь свободную и непокоющую на другія страны, и отъѣздъ нашъ былъ рѣшенъ.

Г л а в а ХХІ.

ЧЕТВЕРТОЕ ПУТЕШЕСТВІЕ ВЪ АНГЛІЮ И ГОЛ-
ЛАНДІЮ.—ВОЗВРАЩЕНІЕ ВЪ ПАРИЖЪ, ГДѢ ТЯЖЕ-
ЛЫЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЗАСТАВЛЯЮТЪ НАСЪ
ОСТАТЬСЯ.

6 мая 1791.

Мы уѣхали въ концѣ апрѣля 1791 г., и такъ какъ собирались остаться въ Англіи надолго, то взяли съ собою лошадей и простились съ нашимъ парижскимъ домомъ. Скоро мы были въ Англіи. Въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ она очень поправилась моей Дамѣ, въ нѣкоторыхъ гораздо меньше. Немало состарѣвшійся послѣ первыхъ двухъ пребываній здѣсь, я продолжалъ цѣнить эту страну (но нѣсколько менѣе) со стороны ея государственнаго устройства. Но на этотъ разъ еще больше, чѣмъ въ третье путешествіе, поразили меня климатъ и неправильный образъ жизни англичанъ. Безконечная ѣда, позднее сидѣнье, до двухъ-трехъ часовъ ночи,—все это не благопріятствовало писательству, развитію ума и здоровью.

Когда впечатлѣнія потеряли для Дамы моей прелесть новизны, а я почувствовалъ капризные приступы подагры, которая по-истинѣ присуща этому благословенному острову, мы начали тяготиться жизнью въ Англіи. Въ іюнѣ того же года произошло знаменитое бѣгство французскаго короля; какъ всѣмъ хорошо извѣстно, онъ былъ достигнуть въ Вареннѣ и возвращенъ въ Парижъ, гдѣ оказался совсѣмъ уже узникомъ. Это все болѣе и болѣе осложняло положеніе Франціи и задѣвало также и наши интересы, такъ какъ двѣ трети нашего состоянія были помещены во Франціи. Золото исчезло, его замѣнили бумажками, стоимость которыхъ падала съ каждымъ днемъ. Я былъ свидѣтелемъ того, какъ съ недѣлю на недѣлю таяло мое состояніе и сводилось сначала къ двумъ третямъ, затѣмъ къ половинѣ, потомъ къ трети и со страшной скоростью стремилось къ нулю. Огорченные неотвратимо

надвигающейся на насъ нуждой, мы рѣшили возвратиться во Францію, единственную страну, гдѣ эта несчастная бумажка пока давала намъ средства къ жизни. Будущее страшило насъ и сулило еще большія неприятности. Все-таки въ августѣ, передъ тѣмъ, какъ окончательно покинуть Англию, мы посѣтили Бэтъ, Бристоль и Оксфордъ, затѣмъ опять черезъ Лондонъ проѣхали въ Дувръ, гдѣ нѣсколько дней спустя сѣли на пароходъ.

Въ Дуврѣ со мной приключилась по-истинѣ романтическая исторія, которую я расскажу въ двухъ словахъ. Въ третье путешествіе по Англии въ 1783—1784 г.г. я не пытался чего-либо узнать о той знаменитой дамѣ, которая во время второй поѣздки подвергла меня столькимъ опасностямъ. До меня только дошли смутные слухи, что она уѣхала изъ Лондона, что ея мужъ умеръ послѣ развода, а она сама вышла замужъ за кого-то темнаго и неизвѣстнаго. За всѣ четыре мѣсяца, проведенные въ Лондонѣ, я не слышалъ о ней ничего, ничего не сдѣлалъ, чтобы добыть о ней свѣдѣнія, и не зналъ даже, жива ли она. Но въ Дуврѣ, въ моментъ, когда я садился на пароходъ, за четверть часа до своей спутницы, чтобы уѣхать все ли въ порядкѣ, я случайно поднялъ глаза на берегъ, полный народу, и первое, на что упалъ мой взоръ, была эта дама, почти такая же красивая, какъ двадцать лѣтъ назадъ, въ 1771 г. Я подумалъ сначала, что это сонъ, и посмотрѣлъ внимательнѣе. Ея улыбка, обращенная ко мнѣ, убѣдила меня окончательно. Я не могу передать всѣ движенія души, всѣ противорѣчивыя чувства, возбужденныя во мнѣ этой встрѣчей. Я не сказалъ ей ни слова и взшелъ на пакеботъ, ожидая свою спутницу. Она явилась, и черезъ четверть часа мы снялись съ якоря. Она рассказала мнѣ, что сопровождавшіе ее до парохода показали ей ту даму, назвали ее и кратко рассказали исторію ея прошлой и настоящей жизни. Я также не скрылъ обстоятельствъ, при которыхъ мнѣ случалось ее встрѣчать раньше, и все, что за этимъ послѣдовало. Между мной и моею Дамой не могло быть при-

творства, недоверія, неуваженія другъ къ другу, жалобъ. Мы прїѣхали въ Калэ. Еще взволнованный неожиданностью, я хотѣлъ написать этой женщинѣ, чтобы облегчить тяжесть своей души. Я отправилъ ей письмо на имя одного банкира въ Дуврѣ, прося его доставить посланіе лично, и переслать отвѣтъ въ Брюссель, куда я направлялъ путь. Мое письмо, копіи котораго у меня, къ сожалѣнію, не сохранилось, было полно горячаго чувства. Это не была любовь, но искреннее, глубокое сожалѣніе къ ея бродячей и не достойной ни ея ранга, ни происхожденія жизни, вмѣстѣ со скорбнымъ сознаніемъ, что всему этому невольная причина. Не будь меня, она скрыла бы свои похождения, во всякомъ случаѣ, большую часть ихъ, и съ годами измѣнила бы образъ жизни. Ея отвѣтъ я около четырехъ недѣль спустя прочелъ въ Брюсселѣ. Привожу его дословно, чтобы показать всю странность и упорство ея дурно направленного характера. Рѣдко можно встрѣтить ихъ въ такой степени развитія, въ особенности у женщинъ. Но все на пользу при изученіи той странной породы, имя которой: человекъ *).

Высадившись въ Калэ, мы рѣшили передъ тѣмъ, какъ окончательно запереться въ Парижѣ, сдѣлать экскурсію въ Голландію, чтобы дать возможность моей Дамѣ увидѣть все сотворенное тамъ искусствомъ рукъ человѣческихъ. Мы ѣхали побережемъ до Брюгге и Остенде, оттуда черезъ Антверпенъ въ Амстердамъ, Роттердамъ, въ Гаагу и Сѣверную Голландію.

Путешествіе длилось три недѣли, и въ концѣ сентября мы были въ Брюсселѣ, гдѣ остались на нѣсколько недѣль, такъ какъ тамъ жили мать и сестры моей Дамы. Наконецъ, въ концѣ октября мы вернулись въ эту громадную

*) Въ письмѣ этомъ давняя любовь Альфіери пишетъ, что напрасно онъ ее жалѣетъ. Она рада, что покинула свѣтъ, живетъ просто занимается музыкой, живописью, читаетъ. Она сохранила къ нему добрыя чувства. Вѣроятно, письмо было написано неглупой и незаурядной женщиной. Во всякомъ случаѣ, вышенапечатанныя строки Альфіери по ея адресу кажутся сухими и непонятно дидактичными. Прим. ред.

клоаку, гдѣ удручающее состояніе нашихъ дѣлъ противъ нашей воли насъ задерживало. Приходилось устраивать тамъ свою жизнь.

Глава XXII.

БѢГСТВО ИЗЪ ПАРИЖА.—ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЪ ИТАЛІЮ ЧЕРЕЗЪ ФЛАНДРІЮ И ВСЮ ГЕРМАНИЮ.—МЫ ПОСЕЛЯЕМСЯ ВО ФЛОРЕНЦИИ.

6 мая 1792.

Потративъ два мѣсяца на поиски и затѣмъ на устройство новаго дома, мы, наконецъ, переѣхали въ него въ началѣ 1792 г. Домъ нашъ былъ очень красивъ и удобенъ. Со дня на день мы ожидали событій, которыя бы принесли съ собой сносный порядокъ вещей. Часто же совсѣмъ отчаивались, что такое время когда-нибудь настанетъ. Въ этомъ неопредѣленномъ положеніи моя Дама и я, какъ всѣ вынужденные обстоятельства жить въ то время въ Парижѣ и Франціи, только тратили даромъ время въ бездѣйствіи. Уже два года назадъ я выписалъ изъ Рима всѣ книги, оставленныя тамъ въ 1783 г. Теперь къ ихъ числу прибавились купленныя въ Парижѣ, а также въ Англіи и Голландіи во время послѣдняго путешествія. Такимъ образомъ, въ моемъ распоряженіи былъ весь нужный матеріалъ для ограниченной сферы моихъ работъ. Съ книгами и моею дорогой подругой я бы могъ вполнѣ наслаждаться тихимъ счастьемъ, если бы не страхъ передъ неизбѣжностью новыхъ перемѣнъ. Эта мысль отвлекала меня отъ занятій, я не могъ думать ни о чемъ другомъ и могъ заниматься только продолженіемъ переводовъ изъ Теренція и Виргилія. Между тѣмъ, въ это послѣднее пребываніе въ Парижѣ, какъ и въ предыдущее, я никогда не хотѣлъ познакомиться, ни даже увидать кого-либо изъ этихъ безчисленныхъ изобрѣтателей мни-

мой свободы. У меня къ нимъ было самое непобѣдимое отвращеніе, самое глубокое презрѣніе. Даже сегодня, когда я пишу эти строки,—а уже четырнадцать лѣтъ дѣлится эта трагикомедія,—я могу похвалиться, что по прежнему не оскверненъ ими мой языкъ, уши, глаза. Я ни разу не видѣлъ, не слышалъ и не говорилъ ни съ однимъ изъ этихъ французскихъ законодателей-рабовъ, и ни съ кѣмъ изъ подчиненныхъ имъ рабовъ.

Въ мартѣ этого года я получилъ письма отъ моей матери—они были послѣдними. Она въ нихъ писала съ горячей христіанской любовью о своемъ безпокойствѣ за меня, живущаго „въ странѣ столькихъ смуть, гдѣ исповѣдываніе католичества стѣснено, гдѣ каждый дрожитъ въ ожиданіи новыхъ безпорядковъ и ужасовъ“. Она была, увы, слишкомъ права, и будущее показало это. Но когда я ѣхалъ въ Италію, этой достойной и весьма уважаемой женщины не стало. Она покинула міръ 23 апрѣля 1792 г., семидесяти лѣтъ отъ роду.

Въ это время разгорѣлась война между Франціей и императоромъ, которая скоро стала всеобщей. Въ іюнѣ попытались окончательно уничтожить титулъ короля—единственный пережитокъ стараго порядка. Заговоръ 20 іюня не удался и событія шли тихимъ шагомъ, измѣняя жизнь къ худшему. Такъ было до знаменитаго 10 августа, когда, какъ извѣстно, разразилась главная буря.

Послѣ этого я не хотѣлъ терять ни одного дня, и моей первой и единственной мыслью было избавить мою Даму отъ всякой опасности, а съ 12 я сталъ готовиться къ отъѣзду. Оставалось послѣднее затрудненіе. Нужно было достать паспорта, чтобы выѣхать изъ Парижа и Франціи. Мы такъ хлопотали въ продолженіе этихъ двухъ-трехъ дней, что 15 и 16 мы, какъ иностранцы, получили ихъ. Я отъ венеціанскаго посланника, Дама отъ датскаго, почти единственныхъ оставшихся около этой тѣни королевской власти. Было значительно труднѣе достать необходимые паспорта отъ нашей секціи, называвшейся Монбланъ, отдѣльный для каж-

даго изъ насъ и для прислуги, съ точнымъ обозначеніемъ роста, цвѣта волосъ, пола и проч. Получивъ, наконецъ, всѣ эти свидѣтельства о рабствѣ, мы назначили свой отъѣздъ на 20 августа, но такъ какъ всѣ приготовления были сдѣланы заранѣе, я, повинуюсь смутному предчувствію, настоялъ, чтобы его передвинули на субботу 18. Мы выѣхали послѣ обѣда, и едва добравшись до заставы Бланшъ, ближайшей отъ насъ на пути въ С.-Дени и Калэ, куда мы направлялись, спѣша выбраться изъ этой несчастной страны, должны были остановиться для провѣрки паспортовъ. На посту стояло четверо солдатъ съ офицеромъ, который просмотрѣвъ бумаги, распорядился отворить передъ нами рѣшетчатые ворота этой огромной тюрьмы, выпуская насъ на вольный свѣтъ. Но въ это время изъ сосѣдняго кабака выскочила банда изъ тридцати бродягъ, пьяныхъ, обтрепанныхъ, яростныхъ. Увидавъ двѣ наши кареты, нагруженные сундуками, и нашу прислугу, двухъ горничныхъ и двухъ или трехъ лакеевъ, они стали кричать, что всѣ богатые бѣгутъ со своими деньгами изъ Парижа и оставляютъ бѣдность въ нуждѣ и бѣдствіи. Началась ссора между немногочисленными солдатами и этой толпой негодяевъ. Тогда я вышелъ изъ кареты и бросился къ нимъ. Держа въ рукахъ наши семь паспортовъ, я спорилъ, возмущался, кричалъ громче всѣхъ. Это было единственнымъ средствомъ подѣйствовать на французовъ. Они заставляли тѣхъ грамотныхъ, какіе нашлись межъ нами, поочередно читать описаніе нашей внѣшности. Вспыливъ и потерявъ терпѣніе, я, не взирая на опасность, три раза хватывалъ свой паспортъ и, наконецъ, крикнулъ:—„слушайте: меня зовутъ Альфіери; я не французъ, а итальянецъ. Примѣты: высокій, худой, рыжіе волосы. Это безусловно я, смотрите. Паспортъ у меня. Я его получилъ отъ имѣвшихъ право мнѣ его дать. Мы хотимъ уѣхать, и, кляпуться небомъ, мы уѣдемъ“.—Сумятица продолжалась болѣе получаса. Я велъ себя разумно, и это спасло положеніе. Въ это время многіе подходили вплотъ къ нашимъ каретамъ. Одни кричали:—„подождемъ“

кареты“, другіе:— „забрасаемъ ихъ камнями“, третьи:— „это дворяне и богачи, отвеедемъ ихъ въ мѣрію на расправу“. Но постепенно сопротивленіе, хотя и слабое, со стороны четырехъ солдатъ, высказывавшихся время отъ времени въ нашу пользу, мой крикъ, паспорта, которые я читалъ громогласно, и больше всего усталость отъ полчасового возбужденія способствовали усмиренію этихъ полу-обезьянъ, полу-тигровъ. Солдаты сдѣлали мнѣ знакъ прыгнуть въ карету, гдѣ я оставилъ Даму въ ужасномъ состояніи. Форейторы вскочили на лошадей, рѣшетчатые ворота открылись, и мы помчались галопомъ, сопровождаемые свистомъ, ругательствами и проклятіями этихъ каналій. Слава Богу, что мнѣніе хотѣвшихъ отвести насъ въ мѣрію не восторжествовало. Было бы очень опасно очутиться среди городской черни, заподозрѣнными въ бѣгствѣ, съ нагруженными каретами. Эти разбойники изъ муниципалитета не отпустили бы насъ. Мы были бы посажены въ тюрьму, и если бы пробыли тамъ двѣ недѣли, т. е. до 2 сентября, то насъ звѣрски зарѣзали бы тамъ вмѣстѣ со многими знатными людьми. Избѣгнувъ этого ада, мы въ два съ половиной дня достигли Калэ, предъявивъ по дорогѣ свои паспорта болѣе сорока разъ. Впослѣдствіи мы узнали, что были первыми иностранцами, покинувшими Парижъ и страну послѣ 10 августа. Во всѣхъ муниципалитетахъ, гдѣ мы должны были показывать паспорта, ихъ читали съ глубокимъ изумленіемъ. На печатныхъ паспортахъ было зачеркнуто имя короля. Парижскія событія смутно доходили сюда, и теперь, узнавая о нихъ, всѣ трепетали. Вотъ каковы были мои послѣднія впечатлѣнія отъ Франціи. Я покидалъ ее съ твердымъ намѣреніемъ никогда больше не возвращаться. Отъ Калэ можно было безпрепятственно добраться до Фландріи черезъ Гравелинъ, и мы предпочли вмѣсто того, чтобы тотчасъ свѣсть на пакеботъ, поѣхать сначала въ Брюссель. Мы избрали путь на Калэ, думая, что будетъ легче переправиться въ Англію, не воевавшую съ Франціей, чѣмъ во Фландрію, гдѣ война быстро разгоралась.

Въ Брюсселѣ моя Дама хотѣла отдохнуть отъ всѣхъ пережитыхъ ужасовъ и провести мѣсяцъ въ деревнѣ съ сестрой и ея почтеннымъ мужемъ. Тамъ мы получили письма отъ нашихъ слугъ, оставшихся въ Парижѣ. Они писали, что въ понедѣльникъ 20 августа, въ день, когда мы предполагали уѣхать и къ счастью уѣхали раньше, къ намъ явилась секція, въ полномъ составѣ, та самая секція, что выдала намъ паспорта; теперь она постановила арестовать мою Даму и посадить ее въ тюрьму. Безуміе и глупость этихъ людей, какъ видно, достигли крайнихъ предѣловъ. Все это было наказаньемъ за ея происхожденіе, богатство, безупречную репутацію. Мнѣ, всегда недостойному ея, они не оказали этой чести. Они въ нашемъ отсутствіи конфисковали нашихъ лошадей, наши книги, доходы и вписали наши имена въ эмиграціонные списки. Изъ слѣдующихъ писемъ мы узнали объ ужасахъ и кровопролитіяхъ 2 сентября въ Парижѣ, и благословили Провидѣніе, позволившее намъ бѣжать.

Видя, какъ все грозитъ и грозитъ собираются тучи надъ этой несчастной страной, и какъ кровью и терроромъ водворяется такъ называемая республика, мы благоразумно рѣшили держаться другихъ странъ и перваго октября уѣхали въ Италію. Мы проѣхали Аахенъ, Франкфуртъ, Аугсбургъ, Инсбрукъ и очутились у подножія Альпъ. Переѣздъ черезъ нихъ прошелъ весело; мы вспоминали дни, проведенные въ странѣ, гдѣ звучитъ si. Я радовался свободѣ и тому, что вмѣстѣ со своей Дамой открыто проѣзжаю по дорогамъ, гдѣ прежде мнѣ приходилось кружными путями, тайкомъ пробираться къ ней. Возможность спокойно наслаждаться ея присутствіемъ, близкое начало любимыхъ занятій, все это счастье такъ успокоило и просвѣтило мою душу, что начиная съ Аугсбурга до самой Тосканы ключъ поэзіи забилъ во мнѣ, полились и стихи. Наконецъ, 5 ноября мы прибыли во Флоренцію, откуда уже болѣе не выѣзжали, и гдѣ я вновь нашелъ живое сокровище языка, что не мало вознаградило меня за лишенія, которыя я протерпѣлъ во Франціи.

Г л а в а XXIII.

МАЛО-ПО-МАЛУ Я ВОЗВРАЩАЮСЬ КЪ ЗАНЯТИЯМЪ.—КОНЧАЮ ПЕРЕВОДЫ.—ПРИНИМАЮСЬ ЗА ОРИГИНАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ.—НАХОЖУ ХОРОШІЙ ДОМЪ ВО ФЛОРЕНЦІИ И НАЧИНАЮ ЗАНИМАТЬСЯ ДЕКЛАМАЦІЕЙ.

По возвращеніи во Флоренцію мы больше года потратили на поиски подходящаго дома. Въ это время вновь пробудилась во мнѣ заглохнувшая было за послѣдніе годы страсть къ литературѣ. Этому способствовали раздававшійся вокругъ меня столь милый моему сердцу прекрасный итальянскій языкъ, радостныя встрѣчи съ людьми, говорившими со мной о моихъ трагедіяхъ, и возможность часто видѣть ихъ, хотя и въ плохой постановкѣ, на сценѣ нѣсколькихъ театровъ. Первая самостоятельная маленькая вещь, которую я задумалъ (за послѣдніе три года я написалъ всего нѣсколько стихотвореній), была „Апологія короля Людовика XVI“; я написалъ ее въ декабрѣ того же года. Я также горячо продолжалъ переводы Теренція и Энеиды, и въ теченіе 1793 г. закончилъ ихъ; однако, они не были вполнѣ отдѣланы. Саллюстія, единственную вещь, надъ которой я болѣе или менѣе работалъ во время путешествія по Англіи и Голландіи (наряду съ Цицерономъ, прочитаннымъ и перечитаннымъ мною цѣликомъ), Саллюстія, исправленнаго и старательно отшлифованнаго, я собирался переписать въ 1793 г. и тѣмъ самымъ завершить его окончательно. Затѣмъ я написалъ еще сатиру въ прозѣ на событія во Франціи, въ видѣ компендіума; такъ какъ у меня было еще много сонетовъ и эпиграммъ на этотъ трагикомическій переворотъ, и я хотѣлъ собрать все во-едино, то и рѣшилъ, что эта проза будетъ предисловіемъ къ сборнику подъ названіемъ „Мизогаллъ“; она должна была и объяснить значеніе всей книги.

Такъ мало по малу я втягивался въ занятія. Наши доходы сильно уменьшились, но ихъ все же хватало на скромную жизнь. Я любилъ свою Даму съ каждымъ днемъ

все болѣе и болѣе, и чѣмъ безпощаднѣй обрушивались на нее удары судьбы, тѣмъ дороже и священнѣе становилась она для меня. Моя душа успокаивалась, и все ярче разгоралась въ ней жажда знанія. Но для серьезныхъ занятій, о которыхъ я мечталъ, мнѣ недоставало книгъ. Вся моя библіотека въ Парижѣ погибла безвозвратно, и я почти не пытался вернуть изъ нея хоть что-либо. Только разъ въ видѣ шутки въ 1795 г. я написалъ одному знакомому итальянцу, находившемуся въ Парижѣ, эпиграмму, въ которой было требованіе возвратитъ мои книги. Моя эпиграмма и отвѣтъ на нее помѣщены въ длинномъ примѣчаніи къ концу второго отрывка прозы въ „Мизогаллѣ“. Что касается настоящаго творчества, то мнѣ не хватало силъ на него. Планъ пяти родственныхъ „Авелю“ трамелогедій былъ у меня готовъ, но прошлыя и настоящія страданія притупили мою творческую способность. Мое воображеніе ослабѣло, и кипучая живость послѣднихъ лѣтъ молодости заглохла подъ вліяніемъ горя и тяжелыхъ впечатлѣній этихъ пяти лѣтъ. Такимъ образомъ я долженъ былъ отказаться отъ своихъ замысловъ за недостаткомъ необходимой для ихъ исполненія энергіи.

Разставшись съ этой дорогой для меня идеей, я взялся за сатиры, изъ которыхъ была готова лишь первая, служившая прологомъ къ остальнымъ. Я достаточно упражнялся въ сатирѣ въ различныхъ отрывкахъ „Мизогалла“, и не отчаявался въ успѣхѣ. Я написалъ вторую сатиру и часть третьей, но еще не могъ сосредоточиться. Къ тому же неудобства квартиры и недостатокъ книгъ мѣшали моей работѣ.

Въ это время я началъ заниматься декламаціей, что было только напрасной тратой времени. Вотъ какъ я пришелъ къ этому: во Флоренціи жила одна дама и нѣсколько молодыхъ людей, у которыхъ были способности и вкусъ къ сценическому искусству. Мы разучили „Саула“ и поставили его весной 1793 г. въ частномъ домѣ; спектакль имѣлъ большой успѣхъ у присутствовавшей немногочисленной публики. Въ томъ же самомъ году мы нашли пріятнѣй,

хотя и маленькій домъ Джіанфилляцци на Лунгарно, близъ моста S. Trinita. Мы переѣхали туда въ ноябрѣ. Я по сей часъ нахожусь въ немъ, тутъ надѣюсь и умереть, если только судьба не заброситъ меня слишкомъ далеко. Мягкій воздухъ, далекій видъ, удобство дома освѣжили мои умственные и творческія силы. Но до трамелогедій мнѣ такъ и не удалось подняться. Въ прошломъ году меня очень увлекло пустое занятіе—декламація; я и въ 1794 г. потратилъ на нее три весеннихъ мѣсяца.

Въ этомъ домѣ возобновились представленія „Саула“ и „Брута“, въ которыхъ я игралъ главные роли. Всѣ меня увѣряли, и я самъ былъ склоненъ вѣрить, что дѣлаю замѣтные успѣхи въ этомъ трудномъ искусствѣ. Будь я моложе, я бы могъ вполне усовершенствоваться въ немъ, такъ какъ чувствовалъ, какъ съ каждымъ разомъ все болѣе и болѣе развиваются мои способности, смѣлость, вѣрность передачи. Всего лучше удавались мнѣ переходы тона, многообразіе движеній—медленныхъ и быстрыхъ, мягкихъ и сильныхъ, спокойныхъ и страстныхъ. Они придавали красочность и скульптурность внѣшнему облику героя, игра остальныхъ улучшалась по моему примѣру, и это дало мнѣ увѣренность въ томъ, что если бы у меня были деньги, время и избытокъ здоровья, я могъ въ три-четыре года сгруппировать вокругъ себя труппу драматическихъ актеровъ. Возможно, что она не была бы образцовой, но, во всякомъ случаѣ, отличалась бы отъ обычныхъ итальянскихъ труппъ и дѣйствовала бы на путяхъ красоты и правды.

Изъ-за сцены я опять забросилъ свои занятія на весь этотъ годъ и на часть слѣдующаго, когда я въ послѣдній разъ выступалъ на подмосткахъ. Въ 1795 г. въ моемъ домѣ шелъ „Филиппъ II“, гдѣ я игралъ одну за другой двѣ столь различныя роли, Филиппа и Карлоса. Моей любимой ролью былъ Саулъ, потому что этотъ характеръ совмѣщаетъ въ себѣ рѣшительно все. Въ это время его ставили въ Пизѣ въ частномъ домѣ актеры-любители, пригласившіе и меня принять участіе въ спектаклѣ. Я

поддался голосу маленькаго тщеславія, и это было моимъ послѣднимъ выступленіемъ въ любимой роли, гдѣ я умиралъ, какъ подобаеъ царю.

За эти два года, прожитые въ Тосканѣ, я началъ опять покупать книги. Я досталъ почти всѣ пропавшія у меня произведенія на тосканскомъ нарѣчій и дополнилъ собраніе римскихъ классиковъ. Къ нему я присоединилъ, не знаю, по какимъ побужденіямъ, и греческихъ классиковъ въ лучшихъ греко-латинскихъ изданіяхъ. Мнѣ хотѣлось имѣть ихъ и читать хотя бы одніа заглавія, если ужъ не суждено было пойти дальше этого.

Г л а в а ХХІV.

ЛЮБОПЫТСТВО И СТЫДЪ ЗАСТАВЛЯЮТЪ МЕНЯ
ЧИТАТЬ ГОМЕРА И ГРЕЧЕСКИХЪ ТРАГИКОВЪ.—
Я ПРЕДПОЧИТАЮ ПИСАТЬ САТИРЫ И ПРОЧІЕ
ПУСТЯКИ.

9 мая.

Лучше поздно, чѣмъ никогда. Въ сорокъ шесть лѣтъ, будучи уже двадцать лѣтъ лирическимъ поэтомъ и авторомъ многихъ трагедій, я захотѣлъ познакомиться съ родоначальникомъ поэзіи, съ Гомеромъ, Пиндаромъ и другими греками. Я тѣмъ охотнѣе уступилъ этому своему желанію, что уже много лѣтъ, благодаря путешествіямъ, лошадамъ, перемѣнамъ, безпокойству ума и сердца, переводамъ, я чувствовалъ себя настолько оступѣвшимъ, что отнынѣ могъ претендовать только на эрудицію, для которой требуется лишь хорошая память и чужой талантъ. Къ несчастью, моя память, бывшая когда-то очень хорошей, теперь значительно ослабѣла. Чтобы избѣжать бездѣлья и прервать на время занятіе исторіей, я сталъ читать Гомера, Гезіода, Аристофана и Анакреона. Читалъ я ихъ въ латинскомъ подстрочникѣ, вслѣдствіе чего мнѣ

пришлось бросить Пиндара, такъ какъ его лирическіе порывы казались мнѣ въ дословномъ переводѣ просто глупыми. Я потратилъ полтора года на это неблагодарное занятіе. Мой истощенный мозгъ почти совсѣмъ не могъ уже творить. Къ этому времени относятся лишь нѣсколько стихотвореній и семь сатиръ. 96-й годъ былъ пагубнымъ годомъ для Италіи. Франція, три года грозившая нашествіемъ, наконецъ, привела свои намѣренія въ исполненіе. Все большая и большая печаль овладѣвала мною при мысли о будущемъ рабствѣ и нищетѣ. Вмѣстѣ съ независимостью Пьемонта рушились и всѣ мои надежды на жизнь. Готовый на все, съ твердымъ намѣреніемъ никому не служить и никого ни о чемъ не просить, я твердо и мужественно переносилъ все остальное. Я еще больше ушелъ въ свои занятія, отдыхая на нихъ отъ печальной дѣйствительности. „Мизогаллъ“ съ каждымъ днемъ увеличивался въ объемѣ. Я собралъ въ немъ всю ненависть моей любимой Италіи и мою собственную, храня твердую надежду, что эта злая книга послужитъ Италіи и нанесетъ Франціи сильный ударъ. Мечты и чудачества поэта, пока они не осуществляются—предсказанія вдохновеннаго пророка, когда исполняются.

Г л а в а XXV.

ПОЧЕМУ, КАКИМЪ ОБРАЗОМЪ И СЪ КАКОЮ ЦѢЛЬЮ Я, НАКОНЕЦЪ, РѢШИЛЪ ПРИНЯТЬСЯ СОВЕРШЕННО САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗА СЕРЬЕЗНОЕ ИЗУЧЕНІЕ ГРЕЧЕСКАГО ЯЗЫКА.

Еще въ 1778 году, когда мой милый Калузо былъ со мной во Флоренціи, по какой-то прихоти, навѣянной бездѣльемъ, или изъ побужденія пустого любопытства, я попросилъ его начертить мнѣ на листѣ бумаги греческую азбуку, и по ней научился съ грѣхомъ пополамъ различать и называть отдѣльныя буквы. Этимъ

исчерпывались мои познанія въ греческомъ языкѣ. Долгое время я не думалъ объ этомъ больше. Но два года тому назадъ, принявшись за чтеніе тѣхъ подстрочныхъ переводовъ, о которыхъ говорилъ уже, я разыскалъ среди своихъ бумагъ этотъ затерянный листокъ, и пытался вспомнить начерченные на немъ знаки съ тою цѣлью, чтобы имѣть возможность время отъ времени взглядывать на греческій текстъ и пробовать уловить въ немъ звукъ тѣхъ словъ, которыя почему-либо привлекали мое вниманіе. Мнѣ, дѣйствительно, случалось иногда останавливать недоумѣвающій взоръ на непонятныхъ письменахъ, уподобляясь лисицѣ изъ басни, тщетно вздыхавшей по запретному винограду. Къ естественной трудности для меня присоединилось особое трудно преодолимое препятствіе: глаза мои не могли приспособиться къ проклятому шрифту; былъ ли онъ крупенъ или мелокъ, слить или напечатанъ въ разбивку, взоръ мой туманился, лишь только я сосредоточивалъ его на строкахъ греческаго текста, и я считалъ удачей, когда мнѣ удавалось, разбирая по слогамъ, урвать изъ текста какое-нибудь одно, хотя бы самое короткое, слово. Но я такъ и не могъ прочесть цѣлаго стиха, не могъ даже пристально взглянуть въ него или произнести, и еще того менѣе заучить его на память.

Я не зналъ, какъ взяться за дѣло, ибо по природѣ неспособенъ къ длительному сосредоточенію ума и глаза на грамматикѣ, и совершенно лишенъ способностей къ языкамъ. (Еще раньше я два или три раза пробовалъ научиться по-англійски, а недавно, находясь въ Парижѣ въ 1790 г., передъ четвертой поѣздкой въ Англію, возобновилъ свои старанія, переводилъ „Виндзоръ“ Попа и принялся за „Опытъ о человѣкѣ“). Я дожилъ до зрѣлыхъ лѣтъ, не изучивъ ни одной грамматики, даже итальянской, противъ правилъ которой я грѣшу, правда, рѣдко, но и то лишь благодаря навыку глаза, приобрѣтеннаго чтеніемъ, а вовсе не вслѣдствіе знанія ея законовъ, назвать которые и изложить ихъ содержаніе я чрезвычайно затруд-

нился бы. И вотъ, наперекоръ всѣмъ этимъ физическимъ и психическимъ препятствіямъ, несмотря даже на мое обращеніе къ переводамъ, я далъ себѣ обѣтъ преодолѣть столько одновременныхъ препонъ. Но я никого не посвятилъ въ свое намѣреніе, не говорилъ о немъ даже своей Дамѣ; а это многое значитъ. Такимъ-то образомъ, проблуждавъ два года у границъ древней Греціи, но не успѣвъ проникнуть въ ея предѣлы, я, наконецъ, утратилъ терпѣніе и рѣшилъ покорить эту область.

Я накопилъ себѣ множество руководствъ по грамматикѣ,—сперва греко-латинскихъ, затѣмъ исключительно греческихъ. Я сталъ проводить цѣлые дни, спрягая глаголъ τῶντωνъ сложныхъ глаголовъ и глаголовъ на μι; моя Дама вскорѣ узнала мою тайну, такъ какъ замѣчала, что я постоянно бормочу что-то про себя, требовала объясненія и добилась своего.

Съ каждымъ днемъ мое упорство въ достиженіи намѣченной цѣли увеличивалось, а цѣной величайшихъ усилій ума, глаза и языка я достигъ къ концу 1797 года возможности безъ помутнѣнія взора и ума вглядываться въ любую страницу греческаго текста, даже напечатанную мелкимъ шрифтомъ, будь то стихи или проза; я научился вполнѣ точно понимать текстъ, поступая по отношенію къ параллельному латинскому тексту совершенно такъ же, какъ раньше поступалъ по отношенію къ греческому,—т. е. кидалъ бѣглый взглядъ на латинское слово, которое соотвѣтствовало греческому, если послѣднее мнѣ ранѣе не встрѣчалось, или я позабылъ его значеніе. Я достигъ, наконецъ, умѣнія отчетливо читать вслухъ съ произношеніемъ вполнѣ терпимымъ и даже педантическимъ въ отношеніи удареній, придыханій и двугласныхъ; я произносилъ греческія слова, сообразуясь съ начертаніемъ и не слѣдуя нелѣпой манерѣ современныхъ грековъ, которые, не замѣчая того, помѣстили цѣлыхъ пять іотъ (i) въ свою азбуку, превративъ этимъ самый гармоничный языкъ изъ всѣхъ, когда-либо звучавшихъ на землѣ, въ какое-то непрерывное, і о к а н і е, напоминающее больше

всего лошадиное ржаніе. Я преодолѣлъ всѣ трудности чтенія и произношенія тѣмъ, что не только тщательно прочитывалъ вслухъ текущій дневной урокъ, но и въ продолженіе цѣлыхъ двухъ часовъ подрядъ ежедневно декламировалъ и, такимъ образомъ, прочелъ—правда, ничего или почти ничего не понимая изъ-за быстроты чтенія и сосредоточенія вниманія на одномъ только произношеніи—всего Геродота, дважды Эукидида съ комментариемъ къ нему, Ксенофонта, всѣхъ второстепенныхъ ораторовъ, а также дважды комментаріи Прокла къ Платонову „Тимею“; послѣдняго я читалъ исключительно потому, что онъ былъ напечатанъ менѣе разборчивымъ шрифтомъ и съ большими числомъ сокращеній.

Столь упорный трудъ не ослабилъ моей умственной дѣятельности, чего я могъ опасаться. Наоборотъ, онъ вывелъ меня изъ летаргіи предшествующихъ лѣтъ. Въ теченіе этого 1797 г. я довелъ число своихъ сатиръ до семнадцати, дальше чего онѣ не пошли и до сихъ поръ. Я снова пересмотрѣлъ всѣ стихотворенія и исправилъ многія изъ нихъ. Наконецъ, все болѣе увлекаясь греческимъ, по мѣрѣ того, какъ въ немъ совершенствовался, я началъ переводить—сперва „Альцесту“ Эврипида, затѣмъ „Филоклетта“ Софокла и „Персовъ“ Эсхила и, наконецъ, чтобы испробовать свои силы на всѣхъ родахъ греческаго драматическаго искусства,—„Лягушекъ“ Аристофана. Увлеченіе греческимъ языкомъ не препятствовало занятіямъ латинскимъ. Въ томъ же году я прочелъ и изучилъ Лукреція и Плавта; я читалъ Теренція, произведенія котораго еще раньше переводилъ и, какъ оказалось по странной случайности, перевелъ ихъ такимъ образомъ всѣ цѣликомъ, хотя ни разу не прочелъ подрядъ ни одной изъ его шести комедій. Не грѣша противъ истины, могу сказать, что я перевелъ Теренція, не читавъ его.

Кромѣ того, я изучилъ всѣ размѣры, которыми писалъ Гораций, такъ какъ мнѣ стало стыдно, что я читалъ его, изучалъ, даже выучилъ, могу сказать, ничего не вѣдая о рифмахъ его стиховъ. Я приобрѣлъ также доста-

точные познанія о размѣрахъ, употребляемыхъ въ греческихъ хорахъ и о тѣхъ, какими писали Пиндаръ и Анакреонъ. Въ результатѣ этотъ 1797 годъ значительно уменьшилъ мое невѣжество. У меня не было иной цѣли, когда я предпринималъ всѣ эти труды, кромѣ стремленія удовлетворить своей любознательности, выйти изъ тьмы невѣжества, въ которой я прозябалъ, а также желанія избѣжать надоѣвшей мнѣ возни съ французщиной,

Г л а в а XXVI.

НЕОЖИДАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТЪ МОИХЪ НѢСКОЛЬКО ЗАПОЗДАЛЫХЪ ЗАНЯТІЙ ГРЕЧЕСКИМЪ ЯЗЫКОМЪ.—ВЪ ПОСЛѢДНІЙ РАЗЪ ВЕРНУВШИСЬ ПОДЪ СѢНЬ АПОЛЛОНА, Я ПИШУ ВТОРУЮ АЛЬЦЕСТУ.

16 мая 1798 года.

Таковы были единственные плоды, которыхъ я ждалъ отъ своихъ занятій; но доброму отцу Аполлону угодно было даровать мнѣ неожиданную награду за мои труды. Когда я въ 1796 году читалъ, какъ говорилъ уже, подстрочные переводы и успѣлъ ознакомиться съ Гомеромъ, Эсхиломъ, Софокломъ и пятью трагедіями Эврипида, я приступилъ къ чтенію его „Альцесты“, о которой не имѣлъ до сихъ поръ никакого представленія. Меня такъ поразилъ, такъ растрогалъ и вдохновилъ глубокій драматизмъ сюжета этой трагедіи, что, докончивъ ея чтеніе, я написалъ слѣдующія слова на клочкѣ бумаги, который еще у меня хранится: „Флоренція, 18 января 1796 года. Если бы я не далъ себѣ клятвы не сочинять больше ни одной трагедіи, я, не теряя ни мгновенія, подъ влияніемъ волнующихъ чувствъ, возбужденныхъ въ моей душѣ чтеніемъ „Альцесты“ Эврипида, набросалъ бы на бумагѣ планъ новой „Альцесты“, въ который ввелъ бы все, что представляется мнѣ прекраснымъ въ греческомъ об-

разцѣ, но откуда исключилъ бы все достойное смѣха, что было бы не маловажнымъ дѣломъ. Для начала вотъ перечисленіе дѣйствующихъ лицъ, количество которыхъ я бы сократилъ“. За этимъ, дѣйствительно, слѣдовалъ списокъ тѣхъ лицъ, которые потомъ вошли въ мою трагедію. Но я очень быстро забылъ объ этомъ листкѣ. Я продолжалъ читать произведенія Эврипида, въ которыхъ не находилъ уже впечатлѣній, равныхъ тѣмъ, которыя я вынесъ изъ „Альцесты“. Позже, когда пришла вновь очередь Эврипида (я взялъ за правило перечитывать всякую вещь, по меньшей мѣрѣ, два раза) и я опять встрѣтился съ „Альцестой“, я испыталъ то же волненіе, тѣ же восторги. И въ сентябрѣ этого 1797 года я набросалъ сценарій предполагаемой трагедіи, хотя твердо рѣшилъ не писать ее. Зато я задумалъ перевести Эврипидову „Альцесту“, и эта работа заняла весь слѣдующій годъ. Такъ какъ въ то время я слишкомъ мало зналъ греческій языкъ, я переводилъ съ латинскаго. Но постоянное сосредоточеніе мыслей вокругъ трагедіи Эврипида, которую я переводилъ, съ каждымъ днемъ все сильнѣе разжигало во мнѣ желаніе переработать ее по своему замыслу. Наконецъ, насталъ разъ майскій день 1798 года, когда мое воображеніе такъ сильно воспламенилось этой темой, что, вернувшись съ прогулки, я немедленно сталъ излагать ее въ прозѣ на бумагѣ. Написавъ въ одинъ присѣсть весь актъ, я намѣтилъ на поляхъ рукописи: „Написано съ восторгомъ и слезами“. На слѣдующій день съ тѣмъ же вдохновеніемъ закончилъ остальные четыре акта, прибавивъ набросокъ хоровъ и прозу, служащую комментариемъ. Все было окончено 26 мая. Для меня не могло быть отдыха до тѣхъ поръ, пока я не сложилъ съ себя бремени, которое носилъ въ душѣ моей такъ долго и настойчиво. Тѣмъ не менѣе, у меня все еще не было намѣренія переложить написанное въ стихи и отдѣлать свою трагедію.

Но въ сентябрѣ 1798 года, продолжая, какъ уже было сказано, основательное изученіе греческаго языка, я сталъ

лелѣять мысль о сличеніи съ темстомъ моего перевода „Альцесты“, съ цѣлью исправить его ошибки и сдѣлать шагъ впередъ въ этомъ языкѣ, овладѣть которымъ можно лишь дѣлая переводы, при условіи упорнаго старанья передать или, по крайней мѣрѣ, заставить почувствовать каждый образъ, каждое слово, каждый оборотъ рѣчи оригинала.

Но, какъ только я ввязался въ это дѣло, вдохновеніе вспыхнуло во мнѣ въ четвертый разъ и, взявшись за мою „Альцесту“, я прочелъ ее, умилился, пролилъ слезы и съ 30 сентября 1798 года сталъ перелагать въ стихи, которые закончилъ къ 21 октября, считая и хоры. Такъ нарушилъ я свой обѣтъ послѣ десятилѣтняго искуса. Но я не хочу, чтобы меня сочли неблагодарнымъ или плагиаторомъ и, признавая эту трагедію цѣликомъ принадлежащей не мнѣ, а Эврипиду, я помѣстилъ ее въ числѣ переводовъ, гдѣ она должна оставаться подъ названіемъ „Второй Альцесты“, неразрывной съ „Первой Альцестой“, своей матерью.

О нарушеніи моего обѣта я не повѣдалъ никому, даже той, которая была половиной меня самого. Я хотѣлъ сдѣлать изъ этого развлеченіе, и, собравъ у себя нѣсколько человѣкъ въ декабрѣ мѣсяцѣ, прочелъ имъ свою пьесу, выдавъ ее за переводъ Эврипида; и всѣ, у кого не было о немъ яснаго представленія, вѣрили этому до третьяго акта, когда кто-то, помнившій Эврипида, открылъ, наконецъ, мою продѣлку, и чтеніе, начавшееся съ имени Эврипида, окончилось именемъ Альфіери. Трагедія имѣла успѣхъ, и я самъ ничего не имѣлъ противъ нея, какъ произведенія посмертнаго; въ то же время я находилъ необходимымъ многое въ ней передѣлать и сократить. Я рассказалъ объ этомъ со всѣми подробностями потому, что если со временемъ „Альцеста“ дождется признанія, этотъ анекдотъ послужитъ къ выясненію природы поэтовъ непосредственнаго вдохновенья, и, какъ бываетъ съ ними иногда, что вещи, предвѣданныя ими къ исполненію не удаются, а тѣ, отъ которыхъ они отказались, берутъ

на себя ихъ геній и успѣваетъ въ этомъ; и какъ нужно считается съ вдохновеніемъ и повиноваться естественному влеченію Феба.

Если же моя „Альцеста“ ничего не стоитъ, читатель посмѣется надо мной вдвойнѣ, читая мое произведеніе и мою жизнь, и посмотритъ на эту главу, какъ на относящуюся къ пятой эпохѣ, сочтя за лучшее оторвать ее отъ зрѣлаго возраста, какъ даръ, подобающій старости.

Когда объ этихъ двухъ „Альцестахъ“ узнали нѣсколько человѣкъ во Флоренціи, то прежде всего обнаружилось, что я изучалъ греческій языкъ, обстоятельство, которое я скрывалъ отъ всѣхъ, даже отъ друга моего Калузо; но онъ узналъ объ этомъ слѣдующимъ образомъ. Въ маѣ того же года я послалъ въ Туринъ свой портретъ, очень хорошо сдѣланный Ксавье Фабромъ, уроженцемъ Монпелье, но совсѣмъ не французомъ. На оборотной сторонѣ этого портрета, который предназначался въ даръ моей сестрѣ, я написалъ двѣ строчки изъ Пиндара. Сестра осталась очень довольна портретомъ и, поворачивая его во всѣ стороны, замѣтила мои греческія каракули; тогда она позвала Калузо, съ которымъ тоже была дружна, и попросила его перевести стихи. Отсюда аббатъ узналъ, что я умѣю писать по-гречески; но онъ сомнѣвался, чтобы я могъ поддаться смѣшному педантскому тщеславію и написать эпиграфъ, котораго самъ не понимаю. Онъ сейчасъ же написалъ мнѣ, упрекая въ скрытности, и въ томъ, что я сдѣлалъ тайну изъ этого живого изученія. Я отвѣчалъ ему краткимъ письмомъ, написаннымъ по-гречески, которое составилъ какъ можно старательнѣе, безъ всякой посторонней помощи. Онъ нашелъ его недурнымъ для пятидесятилѣтняго ученика, который не больше, чѣмъ полтора года тому назадъ взялся за грамматику. Я прибавилъ къ этому маленькому посланію четыре отрывка, заимствованныхъ изъ моихъ четырехъ переводовъ, и отослалъ ему все это, какъ образчикъ работъ, сдѣланныхъ мною до этого времени.

Похвалы Калузо поощрили меня продолжать дѣло съ бѣльшимъ жаромъ. Я вернулся къ превосходному упражненію, которое было для меня самымъ полезнымъ при изученіи латинскаго и греческаго, и состояло въ заучиваніи наизусть дѣльныхъ сотенъ стиховъ различныхъ авторовъ.

Но въ этомъ же, 1798 году, мнѣ пришлось обмѣняться нѣсколькими письмами съ лицами, очень непохожими на друга моего Калузо. Ломбардія, какъ я уже упоминалъ, и какъ это каждый знаетъ, была наводнена французской арміей съ 1796 года. Пьемонтъ едва держался; подъ видомъ кампоформійскаго мира императоръ заключилъ несчастный договоръ съ французскимъ диктаторомъ. Положеніе папы поколебалось, и Римъ его былъ занятъ, оказался во власти рабовъ-демократовъ.

Все вокругъ дышало бѣдствіемъ, униженіемъ и ужасомъ. Французскимъ посланникомъ въ Туринѣ былъ тогда Жэнгэнэ, по профессіи парижскій литераторъ, работавшій подъ сурдинку надъ возвышенной задачей сокрушенія побѣжденнаго и безоружнаго короля. Я неожиданно получилъ письмо отъ этого человѣка, къ моему великому удивленію и сожалѣнію. *) Я отвѣтилъ и получилъ отвѣтъ.

Изъ этихъ писемъ видно, что Жэнгэнэ, получивъ отъ своихъ господъ приказаніе обслужить Пьемонтъ французской свободой, искалъ агентовъ для этого и пробоваъ, нельзя ли обезчестить и меня, какъ имъ удалось уже однажды разорить меня. Но блага этого міра во власти тирановъ, а честь принадлежитъ тому, кто обладаетъ ею.

Вотъ почему послѣ моего второго отвѣта переписка закончилась; но я думаю, что позже онъ воспользовался свѣдѣніями о тюкахъ моихъ манускриптовъ въ Парижѣ— о чемъ ему сообщилъ Калузо, дабы онъ возвратилъ мнѣ ихъ. Списокъ книгъ, которыя по его словамъ онъ могъ

*) Альфіери приводитъ въ приложеніи переписку съ Жэнгэнэ, которую мы опускаемъ. П р и м. р е д.

мнѣ вернуть (я думаю, что многое онъ удержалъ лично для себя), вызоветъ улыбку, если я приведу его здѣсь. Въ немъ числится около сотни томовъ самыхъ худшихъ произведеній, самыхъ плохихъ итальянскихъ авторовъ, — а то, что я оставилъ въ Парижѣ шесть лѣтъ тому назадъ, представляло собой, по крайней мѣрѣ, тысячу шестьсотъ томовъ избранныхъ итальянскихъ и латинскихъ классиковъ. Но никого не удивитъ этотъ списокъ: таково ужъ, всѣмъ извѣстно, французское возстановленіе убытковъ.

Г л а в а XXVII.

11 мая.

КОНЕЦЪ „МИЗОГАЛЛА“. — ЗАВЕРШЕНІЕ МОЕГО СТИХОТВОРЧЕСТВА „ТЕЛЕВТОДЕЙ“. — ВОЗСТАНОВЛЕНІЕ „АВЕЛЯ“, ДВУХЪ „АЛЬЦЕСТЬ- И ПОЛИТИЧЕСКОЙ БРОШЮРЫ „ИТАЛЬЯНСКИМЪ ВЛАСТИТЕЛЯМЪ“. — НЕДѢЛЬНОЕ РАСПРЕДѢЛЕНЕ ЗАНЯТІЙ. — ПРИГОТОВИВШИСЬ КО ВСЕМУ И СОСТАВИВЪ СЕБѢ ЭПИТАФІЮ, Я ЖДУ НАШЕСТВІЯ ФРАНЦУЗОВЪ, КОТОРОЕ ПРОИЗОШЛО ВЪ МАРТѢ 1799 ГОДА.

11 мая 1799.

Между тѣмъ, положеніе Тосканы становилось все опаснѣе: французы выражали ей свою дружбу, хотя и въ предѣлахъ законности. Уже въ декабрѣ 1798 года они закончили блестящее завоеваніе Лукки, откуда непрестанно грозили Флоренціи, и въ началѣ 1799 года занятіе этого города казалось неизбѣжнымъ. Я хотѣлъ привести свои дѣла въ порядокъ и быть готовымъ ко всему. Еще въ предыдущемъ году, во время одного изъ приступовъ скуки, я взялся за окончаніе „Мизогалла“ и остановился на взятіи Рима, на которое смотрѣлъ, какъ на самый блестящій эпизодъ этой рабской эпохи. Для сохраненія этой работы, которой очень дорожилъ, я заказалъ около

десяти копій съ нея и помѣстилъ ихъ въ разныхъ мѣстахъ, гдѣ онѣ не могли пропасть или затеряться, но въ надлежащее время появились-бы въ свѣтъ. Такъ какъ я никогда не скрывалъ своей ненависти и презрѣнія къ этимъ недостойнымъ рабамъ, то рѣшилъ приготовиться ко всѣмъ жестокостямъ и оскорбленіямъ или, вѣрнѣе сказать,—приготовить единственное средство для избѣжанія ихъ. Пока меня не тронутъ, я рѣшилъ быть мертвымъ; какъ только меня начали бы разыскивать, я сумѣлъ бы обнаружить признаки жизни и показать себя свободнымъ человѣкомъ.

Во всякомъ случаѣ, я принялъ всѣ мѣры, чтобы жить безупречною, свободной и достойной уваженія жизнью, или умереть, если это окажется нужнымъ, но сначала отмстивъ за себя.

Я описалъ мою жизнь, чтобы помѣшать кому-нибудь другому исполнить это хуже, чѣмъ сдѣлалъ я. То же самое побужденіе заставило меня тогда сложить эпитафію моей Дамѣ и себѣ самому.

Позаботившись, такимъ образомъ, о поддержаніи своего добраго имени или, по крайней мѣрѣ, о спасеніи его отъ позора, я рѣшилъ ранѣе привести въ порядокъ свои работы, исправить ихъ, переписать, отдѣлать законченное отъ набросковъ, отбросить то, что не подходило къ моему возрасту и къ моимъ плавамъ. Я приближался къ пятидесяти годамъ: пора было надѣть послѣднюю узду на порывы моей поэзіи. Стихи свои я собралъ въ одинъ маленькій томъ, содержащій въ себѣ семьдесятъ сонетовъ, одну статью и тридцать девять эпиграммъ, которые можно было прибавить къ тому, что уже было напечатано въ Келѣ. Послѣ этого я положилъ печать на свою лиру, оставляя ее тому, у кого будетъ на нее право, вмѣстѣ съ одой въ подражаніе Пиндару, которую я назвалъ изъ пристрастія къ греческому языку „Телевтодіей“. Вслѣдъ за этимъ я закрылъ лавочку навсегда; если съ тѣхъ поръ я сочинялъ какой-нибудь жалкій советъ или чухлую эпигramму, я уже не записывалъ ихъ, а если и записывалъ,

во всякомъ случаѣ, не хранилъ, не сумѣлъ бы ихъ разыскать и не призналъ бы своими. Нужно было кончить сразу, кончить во время, добровольно, безъ принужденія.

Конецъ моей десятой люстры и поднявшаяся волна варваровъ—враговъ лирической поэзіи—были естественнымъ и удобнымъ предлогомъ для этого. И я воспользовался имъ разъ навсегда.

Что касается до переводовъ, за два предшествующіе года я переписалъ и исправилъ всего Вергилія, послѣ чего призналъ его право на существованіе, хотя и не считалъ законченнымъ. Саллюстій мнѣ вообще казался сноснымъ, и я его оставилъ въ прежнемъ видѣ; но нельзя сказать того же о Теренціи, обработанномъ только оди́нъ разъ, не просмотрѣнномъ и не исправленномъ, находившимся, словомъ, въ такомъ видѣ, въ какомъ находится и по сіе время. Я не могъ рѣшиться бросить въ огонь эти четыре перевода; не могъ такъ же смотрѣть на нихъ, какъ на законченные, такъ какъ они не были отдѣланы. И я рѣшилъ, во всякомъ случаѣ, не спрашивая себя, будетъ ли у меня время довести дѣло до конца, переписать ихъ, свѣривъ съ оригиналомъ; я началъ это съ „Альцесты“, тщательно переведенной съ греческаго во второй разъ для того, чтобы у нея не было вида перевода, сдѣланнаго не съ оригинала.

Три остальные, худо ли, хорошо ли, были, по крайней мѣрѣ, переведены съ текста и для просмотра ихъ мнѣ нужно было гораздо меньше труда и времени.

„Авель“, обреченный остаться, не скажу единственнымъ, но одинокимъ произведеніемъ, лишенный собратьевъ, которыхъ я общалъ ему, былъ отдѣланъ, исправленъ и казался мнѣ удовлетворительнымъ. Я прибавилъ къ этимъ работамъ маленькую политическую брошюрку, написанную нѣсколько лѣтъ тому назадъ подъ заглавіемъ „Итальянскимъ властителямъ“. Она также была исправлена, отдана въ переписку, и я сохранилъ ее.

Не изъ-за глупаго, тщеславнаго желанія казаться государственнымъ человѣкомъ: въ немъ я не повиненъ. Эта

статья родилась изъ вполне законнаго негодованія, возбужденнаго во мнѣ политикой, дѣйствительно менѣе разумной, чѣмъ моя, той, которая въ теченіе двухъ лѣтъ пускалась въ ходъ безсильнымъ императоромъ и безсильной Италіей. Наконецъ, сатиры, созданныя частью за частью, и въ нѣсколько пріемовъ исправленныя, написанныя рифмованнымъ стихомъ, были окончены и переписаны въ числѣ семнадцати; ихъ количество съ тѣхъ поръ не увеличилось, и я далъ себѣ обѣщаніе не писать ихъ болѣе.

Приведа, такимъ образомъ, въ порядокъ мое второе поэтическое наслѣдіе, я одѣлъ сердце броней и отдался теченію событій.

Чтобы завести въ моей жизни, если ей суждено будетъ продолжаться, порядокъ, соотвѣтствующій возрасту, въ который я вступилъ, и планамъ, которые я лелѣялъ съ давнихъ поръ, начиная съ 1799 года, я сдѣлалъ для каждаго дня недѣли распisanіе регулярныхъ занятій и слѣдовалъ ему упорно до настоящаго дня, что намѣренъ продолжать до тѣхъ поръ, пока это позволитъ мнѣ здоровье и жизнь. Въ понедѣльникъ и вторникъ, сейчасъ же послѣ пробужденія, я посвящалъ первые три утренніе часа изученію священнаго писанія, полный стыда, что не знаю какъ слѣдуетъ Библіи, и что могъ дожить до такихъ лѣтъ, не читавъ ее. По средамъ и четвергамъ я читалъ Гомера, этотъ другой источникъ вдохновеній, питающихъ литературу. Пятницу, субботу и воскресенье въ теченіе всего года и позже посвящалъ изученію Пиндара, какъ самаго труднаго и самаго рискованнаго изъ греческихъ и всякихъ другихъ лириковъ, не исключая даже Іова и пророковъ.

Эти три послѣдніе дня я предполагалъ, какъ и сдѣлалъ это позже, отдать въ послѣдовательномъ порядкѣ тремъ трагикамъ, Аристофану, Эокриту и другимъ поэтамъ или прозаикамъ, чтобы увидѣть, могу ли я углубиться въ этотъ языкъ—не говорю уже, знать его (что было бы химерой)—но, по крайней мѣрѣ, понимать настолько хорошо, какъ латынь.

Этотъ способъ, придуманный мною, мало-по-малу сталъ для меня очень удобнымъ, вотъ почему я говорю о немъ въ подробностяхъ, надѣясь, что въ этомъ самомъ видѣ или измѣненный сообразно съ каждымъ вкусомъ, онъ будетъ полезенъ для тѣхъ, кто послѣ меня пожелаетъ заняться такимъ изученіемъ. Библию я читалъ сначала по-гречески въ ватиканскомъ текстѣ семидесяти толковниковъ, тутъ же свѣряя его съ александрійскимъ.

Затѣмъ, сверхъ утреннихъ главъ, я перечитывалъ двѣ или три главы по-итальянски въ перелогахъ Діодати, столь вѣрныхъ еврейскому тексту. Я читалъ ихъ еще полатыни въ Вульгатѣ и, наконецъ, въ латинскомъ же подстрочникѣ, сдѣланномъ съ еврейскаго оригинала. Послѣ нѣсколькихъ лѣтъ такого интимнаго общенія съ этимъ языкомъ, выучивъ его азбуку, я научился читать еврейскія слова, схватывать ихъ созвучія, большею частью мало пріятныя, странныя для насъ обороты рѣчи, со-вмѣщающіе величіе съ варварствомъ.

Что касается Гомера, я началъ читать его по-гречески вслухъ, безъ всякихъ приготовленій, и переводилъ подстрочно на латинскій, никогда не останавливаясь на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ встрѣчалась какая-нибудь трудность, тѣ шестьдесятъ-восемьдесятъ и, самое большое, сто стиховъ, которые я хотѣлъ выучить каждое утро. Изуродовавъ ихъ такимъ образомъ, я скандировалъ вслухъ ихъ на греческомъ языкѣ. Затѣмъ читалъ древнихъ комментаторовъ, латинскія примѣчанія Бэрнеса, Клэрка, Эрнста. Затѣмъ бралъ печатный латинскій подстрочникъ и перечитывалъ его съ греческимъ оригиналомъ, пробѣгая глазами мои строчки, чтобы видѣть, гдѣ и почему я сдѣлалъ ошибку, когда переводилъ первый разъ. Затѣмъ въ моемъ греческомъ текстѣ, тамъ, гдѣ комментаторъ забылъ освѣтить что-нибудь, я дѣлалъ это самъ на поляхъ съ помощью другихъ греческихъ словъ, соответственныхъ по значенію своему, которыми меня снабжали большею частью Эвсикій, Этимологиконъ и Фаворинъ. Вслѣдъ за тѣмъ я записывалъ всѣ странныя выраженія, слова,

фигуры, въ видѣ колонны, и пояснялъ по-гречески. Потомъ читалъ комментаріи Евстазія на эти же стихи, которые, такимъ образомъ, разъ пятьдесятъ проходили передъ моими глазами со всѣми ихъ толкованіями. Такой методъ изученія можетъ показаться скучнымъ и нѣсколько грубымъ. Но, вѣдь, я у меня самого лобъ былъ крѣпкій, и чтобы начертать что-нибудь на пятидесятилѣтней ткани, нуженъ совсѣмъ иной рѣзецъ, чѣмъ для двадцатилѣтней.

Пиндаръ въ предшествующіе годы былъ для меня предметомъ еще болѣе труднаго изученія, чѣмъ то, о которомъ сейчасъ шла рѣчь.

У меня есть маленькій томикъ Пиндара, гдѣ нѣтъ ни одного слова, надъ которымъ бы не стояло цифры, написанной моею рукою для того, чтобы съ помощью цифръ—1, 2, 3 и т. д., иногда до сорока и выше, отмѣтить мѣсто, занимаемое каждымъ словомъ въ его возстановленномъ значеніи среди этихъ безконечныхъ, подобныхъ лабиринтамъ, періодовъ. Но я не довольствовался этимъ; въ теченіе трехъ дней, посвященныхъ данному поэту, я бралъ другое изданіе Пиндара, очень старое, очень плохое, римское изданіе Каліерджи, къ которому не были прибавлены еще схолии. По этому тексту я читалъ, какъ и Гомера, переводя съ греческаго на латинскій подстрочно, и дальше продѣлывалъ все то же, что и съ Гомеромъ.

Потомъ я писалъ по-гречески на поляхъ поясненія того, что авторъ хотѣлъ сказать, иначе говоря освобождалъ его мысль отъ метафоръ. Ту же работу я совершилъ надъ Эсхиломъ и Софокломъ, когда пришло для нихъ время занять мѣсто Пиндара. Всѣ эти труды и безумное упорство въ нихъ страннымъ образомъ ослабили мою память, и тѣмъ не менѣе я долженъ признаться, что выучалъ не очень-то много, и при первомъ чтеніи способенъ дѣлать грубѣйшія ошибки. Но это изученіе стало для меня настолько дорогимъ и настолько необходимымъ, что съ 1796 года я ни разу не пропустилъ этихъ трехъ утреннихъ часовъ для занятій; и если сочи-

нялъ что-нибудь, какъ, напримѣръ, „Альцесту“, сатиры или стихотворенія, на это я употреблялъ другіе часы. Для собственнаго творчества я назначалъ лишь оставшееся время, отдавая изученію лучшую часть дня, и если бы передо мной поставили на выборъ: сочинительство, или изученіе, я пожертвовалъ бы сочинительствомъ.

Распредѣливъ такимъ образомъ жизнь, я заперъ въ сундуки всѣ свои книги, исключая тѣхъ, которыми пользовался при работѣ, и отослалъ ихъ въ одну виллу за чертой Флоренціи, чтобы не лишиться ихъ во второй разъ.

Это вторженіе, такъ ожидавшееся и такое ненавистное, произошло 25 марта 1799 года при обстоятельствахъ, которыя извѣстны каждому,—а если неизвѣстны, то и не заслуживаютъ того, чтобы ихъ знали; эти продѣлки рабовъ всегда одинаковы и во всѣхъ случаяхъ онѣ одного цвѣта. Въ тотъ же день, черезъ нѣсколько часовъ послѣ вступленія французовъ, моя Дама и я переѣхали въ виллу за воротами Санъ-Галло, близъ Монтуги, предварительно отправивъ туда все изъ нашего флорентійскаго дома, предоставленнаго разорительному удѣлу—стать военной квартирой.

ГЛАВА XXVIII.

МОИ ДЕРЕВЕНСКІЯ ЗАНЯТІЯ.—УХОДЪ ФРАНЦУЗОВЪ.—НАШЕ ВОЗВРАЩЕНІЕ ВО ФЛОРЕНЦІЮ.—ПИСЬМА КОЛЛИ.—Я СЪ ГОРЕСТЬЮ УЗНАЮ, ЧТО ОНЪ ГОТОВИТСЯ ИЗДАТЬ ВЪ ПАРИЖѢ МОИ РАБОТЫ, НАПИСАННЫЯ ВЪ КЕЛѢ, НО НЕ ОПУБЛИКОВАННЫЯ.

12 мая 1799.

Такимъ образомъ, находясь подъ гнетомъ всеобщей тиранніи, но, тѣмъ не менѣе, не подчиняясь ей, я оставался въ этой виллѣ съ немногими слугами и сладостной по-

ловиной себя самого, причемъ оба мы неустанно были заняты изученіемъ литературы; она была довольно сильна въ нѣмецкомъ и англійскомъ языкѣ, одинаково хорошо изучила итальянскій и французскій, и превосходно знала литературу этихъ четырехъ народовъ; все лучшее изъ античной литературы было ей небезызвѣстно по переводамъ, существующимъ на этихъ четырехъ языкахъ. Я могъ обо всемъ бесѣдовать съ нею, сердце и умъ были одинаково удовлетворены у меня, и никогда я не чувствовалъ себя болѣе счастливымъ, чѣмъ въ то время, когда намъ приходилось жить съ нею наединѣ, далеко отъ человѣческихъ тревоженій. Такъ жили мы въ этой виллѣ, гдѣ принимали очень немногихъ изъ нашихъ флорентійскихъ друзей, и то лишь изрѣдка, страшась попасть на подозрѣніе этой военной и адвокатской тирании, самой чудовищной изъ всѣхъ политическихъ амальгамъ, самой смѣшной, самой плачевной, самой несносной, всегда представляющей мнѣ въ образѣ тигра, управляемаго кроликомъ. Очутившись въ деревнѣ, я сразу принялся за всѣ свои работы: за переписку и исправленіе обѣихъ „Альцестъ“, причемъ утренніе часы, назначенные для изученія, я никогда не занималъ этой работой; я такъ сильно уходилъ въ свои литературныя дѣла, что у меня не было досуга раздумывать о нашихъ бѣдахъ и опасностяхъ. Опасности были многочисленны, и нельзя было закрывать на нихъ глаза, равно какъ и льстить себя мыслью, что дѣло обстоитъ не такъ ужъ плохо. Каждый день убѣждалъ меня въ этомъ; тѣмъ не менѣе, несмотря на такой шипъ въ сердцѣ и на страхъ за насъ обоихъ, я не терялъ мужества и продолжалъ работать. Каждый день или, вѣрнѣе, каждую ночь совершались произвольные аресты по обычаю этого правленія. Такъ, были арестованы въ качествѣ заложниковъ многіе молодые люди самыхъ благородныхъ фамилій. Ихъ брали ночью съ постели, гдѣ спали рядомъ ихъ жены, потомъ отправляли въ Ливорно и оттуда непосредственно на островъ св. Маргариты. Хотя я былъ иностранцемъ, но могъ рассчитывать на подоб-

ную же участь, или на еще худшую, такъ какъ, вѣроятно, имъ была извѣстна моя вражда и презрѣніе къ нимъ. Каждую ночь могли явиться за мной; но я принялъ всѣ мѣры, чтобы меня не застали врасплохъ и не подвергли плохому обращенію. Между тѣмъ, во Флоренціи провозгласилась та же самая свобода, какая царилла во Франціи, и самые подлые плуты торжествовали. Что касается меня, я занимался греческимъ, писалъ стихи и ободрялъ свою Даму. Такое печальное положеніе дѣлъ продолжалось съ 25 мая, когда французы пришли, до 5 іюля, когда побитые и потерпѣвшіе уронъ во всей Ломбардіи, они, такъ сказать, ринулись изъ Флоренціи, на утренней зарѣ, захвативъ съ собою, разумѣется, все, что только можно было унести. Ни моя Дамы, ни я ни разу не ступили ногой во Флоренцію пока длилось нашествіе, не осквернили нашихъ глазъ видомъ ни одного француза. Не хватитъ словъ для описаній ликованія Флоренціи въ то утро, когда французы ушли, и въ слѣдующіе дни, когда открылись ворота для двухсотъ австрійскихъ гусаровъ.

Привыкнувъ къ покою деревни, мы рѣшили провести въ ней еще мѣсяць, прежде чѣмъ вернуться во Флоренцію и водворить туда всю мебель и книги.

По возвращеніи въ городъ перемѣна жизни не нарушила ничего въ системѣ моихъ занятій, наоборотъ, я продолжалъ ихъ съ большимъ рвеніемъ и съ большими надеждами. Весь конецъ 1799 года, по мѣрѣ того, какъ французы терпѣли пораженіе на всѣхъ позиціяхъ, Италия чувствовала, какъ возрождается въ ней надежда на свободу, и я съ своей стороны обрѣлъ надежду довести до конца всѣ мои работы, изъ которыхъ закончилъ больше половины. Въ этомъ году, послѣ сраженія при Нови, я получилъ письмо отъ маркиза Колли, моего племянника, т. е. мужа дочери моей сестры; я не зналъ его лично; онъ былъ мнѣ извѣстенъ лишь какъ превосходный офицеръ, отличившійся на войнѣ въ эти вѣтъ слишкомъ лѣтъ, служа сардинскому королю; онъ самъ былъ родомъ

изъ Александріи. Будучи тяжело раненъ, попавъ въ плѣнъ, перейдя послѣ отреченія сардинскаго короля, въ январѣ 99 г., къ французамъ, онъ написалъ мнѣ письмо.*)

Когда я подумалъ немного о заблужденіи этого человѣка, вдобавокъ изъ хорошаго рода, я спросилъ себя, чѣмъ бы я сталъ, если бы въ бѣдности, въ разстройствѣ всѣхъ дѣлъ, въ порокѣ жилъ бы при такихъ же обстоятельствахъ. И вотъ какова истина: я не смѣю утверждать, чѣмъ бы я сталъ, но, можетъ быть, моя гордость спасла бы меня. Здѣсь я расскажу, между прочимъ, случай, о которомъ забылъ рассказать. Передъ нашествіемъ французовъ я видѣлъ во Флоренціи сардинскаго короля и пошелъ къ нему на поклонъ. Я по двумъ основаніямъ долженъ былъ сдѣлать это: и потому, что это мой король, и потому, что онъ былъ тогда очень несчастенъ. Онъ принялъ меня очень хорошо. Видъ его тронулъ меня глубоко, и я испыталъ въ этотъ день то, чего раньше никогда не чувствовалъ: неопишное желаніе предложить ему свои услуги; онъ былъ всѣми покинутъ, а тѣ немногіе, кто съ нимъ остался, были ни на что неспособны. И я бы предложилъ ему себя, если бы считалъ, что могу быть ему полезнымъ. Но что значили мои слабыя таланты въ дѣлахъ такого рода. Во всякомъ случаѣ, было слишкомъ поздно. Онъ отправился въ Сардинію; потомъ, когда положеніе дѣлъ измѣнилось, покинулъ ее и вернулся во Флоренцію, гдѣ оставался въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ въ Поджіо а Кайяно: австрійцы владѣли тогда Тосканой, отъ имени великаго герцога. Но ему плохо совѣтовали, и онъ ничего не сдѣлалъ изъ того, что могъ и долженъ былъ сдѣлать въ своихъ интересахъ и въ интересахъ Пьемонта. Обстоятельства снова измѣнились и онъ оказался окончательно на краю гибели. Я приходилъ къ нему для засвидѣтельствованія моихъ чувствъ, когда онъ вернулся изъ Сардиніи, и найдя, что онъ

*) Въ письмѣ этомъ Лунджи Колли пытается защититься отъ упрека въ измѣнѣ Пьемонту. Отвѣтъ Альфіери сдержанъ, но суровъ. Прим. ред.

больше вѣрить въ будущее, испытывалъ меньше сожалѣній, что ничѣмъ не могу быть ему полезнымъ.

Побѣды защитниковъ порядка и собственности влили немного бальзама въ мою кровь; передъ этимъ же мнѣ пришлось пережить очень живую неприятность, которой, впрочемъ, я долженъ былъ ожидать. Въ руки мои какъ-то попалъ проспектъ Молини, итальянскаго книгопродавца въ Парижѣ, гдѣ онъ извѣщалъ о томъ, что предпринялъ изданіе всѣхъ моихъ философскихъ сочиненій (слово изъ его каталога), какъ въ прозѣ, такъ и въ стихахъ. Онъ прилагалъ перечень ихъ, и всѣ мои работы, напечатанныя въ Келѣ, какъ я уже говорилъ, ни разу мною не опубликованныя, находились тамъ *in extenso*. Это былъ ударъ грома, я ходилъ, какъ пришибленный, въ теченіе нѣсколькихъ дней, и не потому, что льстилъ себя надеждой, что сундуки, гдѣ хранились изданія этихъ четырехъ вещей,—сборникъ различныхъ стихотвореній, „Этрурія“, „О Тиранніи“ и „Государь“,—могли избѣжать руки тѣхъ, кто воспользовался моими книгами и всѣмъ, что я оставилъ въ Парижѣ; но прошло уже столько лѣтъ, что я могъ рассчитывать на новую отсрочку. Во Флоренціи, съ 1793 г., убѣдившись окончательно, что мои книги погибли, я сдѣлалъ публикацію во всѣхъ газетахъ Италіи, гдѣ говорилось, что мои книги конфискованы и проданы такъ же, какъ и мои бумаги; и я предлагалъ считать за мои только такія-то и такія-то работы, уже раньше опубликованныя. Другихъ я не могъ признать, имѣя въ виду возможные измѣненія, подлоги и всякаго рода неожиданности. Когда въ 1799 году я познакомился съ этимъ проспектомъ Молини, обѣщавшимъ въ будущемъ году перепечатку работъ, о которыхъ я говорилъ сейчасъ, лучшимъ средствомъ обѣлить себя въ глазахъ порядочныхъ людей было бы составить отвѣтъ на этотъ проспектъ, гдѣ я признался бы, что эти книги принадлежали мнѣ, рассказалъ бы подробно, какъ онѣ были у меня украдены и опубликовалъ бы въ видѣ послѣдней апологіи моихъ чувствъ и моего образа мыслей „Мизогалла“, котораго,

конечно, достаточно было бы для этой цѣли. Но я не былъ свободенъ тогда, какъ и теперь, потому что живу въ Италіи, потому что люблю и боюсь за другого больше, чѣмъ за себя. И я не сдѣлалъ того, что долженъ былъ бы сдѣлать въ другихъ обстоятельствахъ, чтобы избавиться разомъ отъ этой своры рабовъ минуты, которая, не будучи въ силахъ облѣить себя, довольствовалась очерняніемъ другихъ, стараясь, чтобы тѣхъ приняли за подобныхъ имъ, завербованныхъ ими въ ихъ лагерь.

Я говорилъ о свободѣ, этого было достаточно, чтобы они пожелали включить меня въ число своихъ союзниковъ; но я рассчитывалъ на „Мизогалла“, чтобы оправдаться окончательно, хотя бы въ глазахъ глупцовъ и тѣхъ злобныхъ, которые могли бы смѣшать меня съ такого рода людьми. Но глупости и злобѣ принадлежитъ болѣе двухъ третей міра. Лишенный возможности дѣлать то, что долженъ былъ дѣлать и что считалъ нужнымъ, я ограничился лишь возможнымъ. Я помѣстилъ во второй разъ во всѣхъ газетахъ Италіи мое заявленіе отъ 1793 года, прибавивъ къ нему въ постскриптумѣ, что услышавъ о готовящемся въ Парижѣ отъ моего имени изданіи моей прозы и стиховъ, я снова протестую противъ этого, какъ и шесть лѣтъ тому назадъ.

Такъ или иначе почтенный литераторъ, посланникъ Жэнгенэ, письма котораго я привелъ выше, и которому передалъ устно черезъ аббата Калузо, что если онъ хочетъ дѣйствительно сдѣлать что-нибудь для меня, я не прошу о возвращеніи моихъ книгъ и другихъ вещей, но очень хотѣлъ бы вернуть шесть тюковъ моихъ неопубликованныхъ изданій, чтобы помѣшать ихъ выходу въ свѣтъ,— такъ или иначе, говорю я (по крайней мѣрѣ, я такъ думаю), Жэнгенэ, вернувшись въ Парижъ, рылся снова въ моихъ книгахъ, и найдя среди нихъ маленькую связку, всего четыре экземпляра моихъ сочиненій, оставилъ ихъ у себя; можетъ быть, онъ продалъ одинъ экземпляръ Молини для перепечатанія. Остальное удержалъ у себя и переведа прозаическую часть ихъ для продажи, оставшіеся

экземпляры, не принадлежащіе ему, передалъ въ національную бібліотеку, какъ написано объ этомъ въ предисловіи къ четвертому тому, переизданному Молини: что отъ перваго изданія уцѣлѣло только четыре экземпляра, по его описанію именно тѣхъ, о которыхъ я только что упоминалъ, несомнѣнно, имѣющихъ отношеніе къ той маленькой связкѣ, которую я оставилъ среди моихъ книгъ.

Какая участь постигла шесть тюковъ, заключавшихъ въ себѣ болѣе пятисотъ экземпляровъ каждаго изъ моихъ произведеній, я не знаю ничего вѣрнаго. Если они были найдены и распакованы, то книги, которыя тамъ были, вѣроятно, поступили въ обращеніе и продавались вмѣсто тѣхъ, которыя должны были выйти въ новомъ изданіи. Изданіе, бумага, шрифтъ у меня были великолѣпные, и текстъ набранъ безъ опечатокъ. Если онѣ не появились нигдѣ, это значитъ, что онѣ погребены въ одной изъ книжныхъ гробницъ Парижа, въ которыхъ гниетъ столько книгъ, обреченныхъ на гибель, и, можетъ быть, тюки и не развязывались, потому что я написалъ на нихъ: „Итальянскія трагедіи“. Что бы тамъ ни было, въ результатѣ для меня случилось двойное несчастіе — потеря денегъ и труда вмѣстѣ съ этимъ изданіемъ, которое было моимъ имуществомъ и — не скажу позоръ, — но упреки въ томъ, что я дѣйствую за одно съ этими плутами.

Г л а в а ХХІХ.

ВТОРОЕ НАШЕСТВІЕ. — СКУЧНЫЯ ДОМОГАТЕЛЬСТВА ГЕНЕРАЛА-ЛИТЕРАТОРА. — МИРЪ, СМЯГЧИВШІЙ НЕМНОГО НАШИ БѢДСТВІЯ. — Я ЗАДУМЫВАЮ ОДНОВРЕМЕННО ШЕСТЬ КОМЕДИЙ.

13 мая 1800 года.

Едва Италія успѣла оправиться на нѣсколько мѣсяцевъ отъ гнета и грабежей французовъ, какъ удивительная битва при Маренго сдѣлала всю ее снова добычей

Франціи, и, кто знаетъ, на сколько лѣтъ. Я былъ подавленъ этимъ на ряду съ другими, и больше другихъ; но, склонивъ голову передъ необходимостью, занялся приведениемъ къ концу своихъ работъ и не заботился больше объ опасностяхъ, къ которымъ уже привыкъ, и, вѣроятно, не отвыкну, такъ какъ гнусности политики заставляютъ постоянно жить среди нихъ.

Поглощенный задачей собрать и пересмотрѣть свои четыре перевода съ греческаго, я проводилъ время лишь въ изученіяхъ того, къ чему приступилъ такъ поздно.

Наступилъ октябрь мѣсяцъ, и 15 числа, въ моментъ, когда этого по договору, заключенному съ императоромъ, меньше всего можно было ожидать, французы снова бросились на Тоскану, находившуюся, какъ они это знали, подъ покровительствомъ великаго герцога, съ которымъ они не вели войны. На этотъ разъ у меня не было времени выѣхать въ деревню, и я долженъ былъ видѣть и слышать ихъ, само собой разумѣется, только на улицѣ. Въ концѣ концовъ, самымъ досаднымъ и труднымъ обстоятельствомъ при этомъ была повинность военного поста, но флорентійской коммунѣ пришла въ голову счастливая мысль освободить меня отъ нея, какъ иностранца и обладателя тѣснаго и неудобнаго для этой цѣли дома.

Освобожденный отъ этой непріятности, для меня самой жестокой изъ всѣхъ другихъ и самой тягостной, я примирился со всѣмъ остальнымъ, что еще могло случиться. Я, такъ сказать, затворился въ своемъ домѣ, и за исключеніемъ двухчасовой прогулки, которую совершалъ каждое утро для здоровья въ наиболѣе удаленныхъ и пустынныхъ мѣстахъ, всецѣло погрузился въ упорную работу, и не видѣлся ни съ кѣмъ.

Но хотя я бѣжалъ французовъ, французы не хотѣли оставить меня въ покоѣ, и на горе мое одинъ изъ ихъ генераловъ, причастный литературѣ, пожелалъ познакомиться со мной и два раза появлялся у моихъ дверей, не заставая меня дома, такъ какъ я позаботился о томъ, чтобы меня никогда нельзя было застать. Я не хотѣлъ

даже отплатить ему вѣжливостью за вѣжливость и послать свою карточку. Нѣсколько дней спустя, онъ прислалъ оказать черезъ посланнаго, въ которомъ часу онъ можетъ быть у меня. Видя его настойчивость и не желая довѣрять устнаго отвѣта слугѣ, который могъ переключить мои слова, я написалъ на клочкѣ бумаги, что Витторіо Альфіери во избѣжаніе какого-либо недоразумѣнія въ отвѣтѣ господину генералу, сообщаетъ его письменно черезъ слугу; что если бы господинъ генералъ, въ качествѣ коменданта Флоренціи, прислалъ ему приказъ ждать его у себя въ домѣ, Альфіери немедленно подчинился бы этому, не умѣя противиться силѣ правителей, какова бы она ни была; но если генералъ желаетъ лишь удовлетворить личному любопытству, Витторіо Альфіери, нелюдимый по своей природѣ, не желаетъ больше заводить знакомствъ ни съ кѣмъ, и проситъ вслѣдствіе этого уволить его отъ необходимости знакомиться.

Генералъ отвѣтилъ мнѣ въ двухъ словахъ, гдѣ говорилъ, что мои произведенія внушили ему желаніе со мною познакомиться, но что узнавъ о моемъ нелюдимомъ настроеніи, онъ больше не будетъ беспокоить меня. Онъ сдержалъ свое слово и такимъ образомъ я спасся отъ непріятности, болѣе тяжелой и болѣе отвратительной, чѣмъ всякое другое наказаніе.

Между тѣмъ, Пьемонтъ, мое бывшее отечество, уже кельтизовавшійся по-своему и желавшій обезьянничать во всемъ со своихъ господъ, преобразилъ Академію Наукъ, до этого бывшую королевской, въ національный институтъ по образцу парижскаго, гдѣ были собраны произведенія изящной словесности и искусствъ.

Этимъ господамъ,—я не сумѣю привести ихъ имена, (Калузо сложилъ съ себя должность секретаря Академіи),—вадумалось избрать меня членомъ института, о чемъ я былъ извѣщенъ письмомъ. Предупрежденный объ этомъ аббатомъ, я отослалъ имъ письмо, не читая, и поручилъ другу моему передать устно, что я не вступлю въ это членствіе, какъ и ни въ какое другое, и меньше чѣмъ во
ная С.

всякое другое, въ Академію, которая недавно исключила съ такой небрежностью и несправедливостью трехъ столь почтенныхъ людей, нашъ графъ Бальбо, кардиналъ Жердаль и кавалеръ Мороццо, не выставивъ другихъ мотивовъ, кромѣ того, что они были слишкомъ роялисты. Я не роялистъ и никогда имъ не былъ. Но это не основаніе еще присоединять меня къ этой кликѣ. Моя республика не похожа на ихъ. И моей задачей было во всемъ поступить иначе, чѣмъ они.

Разгнѣванный нанесеннымъ мнѣ оскорбленіемъ, я измѣнилъ своему слову и, набросавъ четырнадцать рифмованныхъ строчекъ на эту тему, послалъ ихъ моему другу. Но я не сохранилъ копій съ нихъ, и это стихотвореніе, также какъ и другія, выхваченныя негодованиемъ моего пера, никогда не попадутъ въ собраніе моихъ стиховъ, и безъ того слишкомъ многочисленныхъ.

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ предшествующаго года у меня не хватало силъ противостоятъ новому или, лучше сказать, обновившемуся порыву моей природы, на этотъ разъ слишкомъ могущественному, взволновавшему меня на нѣсколько дней и повиноваться которому было необходимо, потому что нельзя было его преодолѣть. Я задумалъ и набросалъ шесть комедій, зародившихся во мнѣ, можно сказать, одновременно. У меня всегда было намѣреніе испробовать себя на этомъ поприщѣ. Я рѣшилъ даже написать двѣнадцать пьесъ.

Но различнаго рода помѣхи, беспокойство душевное и больше всего изсушающій, упорный трудъ изученія необъятно обширнаго языка, какъ греческій, отвлекли меня отъ этого; истощивъ мой мозгъ, и убѣдившись, что отнынѣ для меня невозможно никакое творчество, я уже не думалъ о немъ. Но не знаю, какимъ образомъ въ самые печальные моменты моего рабства, когда обстоятельства не оставляли никакой надежды на благополучный исходъ, и когда у меня не было ни времени, ни средствъ воплотить свои замыслы, мой духъ выпрямлялся, и я чувствовалъ, какъ закипаютъ во мнѣ искры творческаго огня. Че-

тыре первыя комедіи, собственно говоря, представляющія изъ себя одну комедію, раздѣленную на четыре части (замыселъ въ нихъ одинъ, но осуществляется разными путями), родились во время одной изъ моихъ прогулокъ; вернувшись съ нея, я сдѣлалъ набросокъ, по сложившемуся у меня обычаю.

На другой день, думая о нихъ, я захотѣлъ убѣдиться, сумѣю ли сдѣлать изъ нихъ что-нибудь въ другомъ жанрѣ, хотя бы одну на пробу; и я представилъ себѣ одну изъ нихъ въ новомъ для Италіи жанрѣ, не имѣющемъ ничего общаго съ первыми четырьмя, и шестую, настоящую итальянскую комедію современныхъ нравовъ: мнѣ не хотѣлось, чтобы меня винили въ неумѣнны ихъ описывать. Но, такъ какъ нравы мѣняются, чтобы писать комедіи, имѣющія право на существованіе, нужно, исправляя ихъ насмѣшкой, не имѣть въ виду итальянца, француза или перса, еще меньше человѣка пятнадцатаго, девятнадцатаго или двадцать перваго столѣтія, если поэтъ не хочетъ, чтобы имя его и соль его комедій не прошли вмѣстѣ съ людьми и нравами, которые онъ пытался описывать. И такъ, вотъ шесть комедій, которыми я пробовалъ дать образцы трехъ различныхъ жанровъ. Первые четыре приложимы ко всякому времени, ко всякому мѣсту, ко всякимъ нравамъ; пятая, фантастическая, поэтическая, укладывается въ менѣе строгія рамки; шестая въ новѣйшемъ вкусѣ комедій сегодняшняго дня, которая можно было бы писать дюжинами, обмакивая кисть въ нечистоты, которая ежедневно у насъ передъ глазами. Но ничего нѣтъ пошлѣ этого; кромѣ того, мнѣ кажется, что это доставляетъ очень мало удовольствія и никакой пользы. Нашъ вѣкъ, бѣдный изобрѣтательностью, хотѣлъ поймать трагедію на удочку комедіи, создавая мѣщанскую драму, которую можно было бы назвать „Эпопеей Лягушекъ“. Я же, наоборотъ, умѣя склоняться лишь передъ истиной, считаю болѣе доступнымъ ея—извлекать изъ комедіи трагедію. Я нахожу это болѣе интереснымъ, болѣе полезнымъ и болѣе вѣрнымъ. Нерѣдко можно видѣть великихъ

и могущественныхъ въ смѣшныхъ положеніяхъ; но мѣщане, банкиры, адвокаты и тому подобные, достойные восхищенія—этого никто никогда не видалъ; котурны плохо сидятъ на ногахъ, шествующихъ по грязи. Какъ бы то ни было, я сдѣлалъ попытку. Время, и самъ я, перечитавъ написанное,—мы рѣшимъ, нужно ли сохранить ихъ, или бросить въ огонь.

ГЛАВА XXX.

Я ОБРАБАТЫВАЮ СВОИ ШЕСТЬ КОМЕДІЙ ВЪ ПРОЗѢ, ГОДЪ СПУСТЯ ПОСЛѢ СОЗДАНЫЯ ИХЪ ПЛАНА.—Я ПРОПУСКАЮ ЕЩЕ ГОДЪ ПЕРЕДЪ ТѢМЪ, КАКЪ НАПИСАТЬ ИХЪ СТИХАМИ.—ЭТОТЪ ДВОЙНОЙ ТРУДЪ ОСТАВЛЯЕТЪ ГЛУБОКІЙ СЛѢДЪ НА МОЕМЪ ЗДОРОВЬѢ.—Я ВНОВЬ ВСТРѢЧАЮ АББАТА ДЕ КАЛУЗО ВО ФЛОРЕНЦІИ.

14 мая 1801 года.

Наконецъ, прошелъ этотъ безконечный 1800 годъ, вторая половина котораго была такъ ужасна для всѣхъ честныхъ людей. Такъ какъ союзники дѣлали только глупости въ продолженіе первыхъ мѣсяцевъ слѣдующаго года, то пришлось заключить позорный миръ, длянщійся до сихъ поръ, миръ, угнетающій всю Европу, начиная съ самой Франціи, которая, законодательствуя для всѣхъ другихъ націй, сама повинуется несмѣняемому консулу, награждающему ее еще болѣе безчестными и суровыми законами. Но принимая слишкомъ живое участіе въ бѣдствіяхъ, постигшихъ Италію, я сталъ почти безчувственнымъ, и единственнымъ моимъ желаніемъ было положить конецъ моей слишкомъ длинной, но безплодной литературной дѣятельности. Вотъ почему, въ іюль этого года, я съ жаромъ испробовалъ свои послѣднія силы, излагая въ прозѢ свои шесть комедій. Я создалъ ихъ въ одинъ

пріемъ и потому рѣшилъ разработать всѣ зарисъ и безъ остановки. Я на каждую изстратилъ не болѣе шести дней; но воображеніе мое дошло до такой степени возбужденія, что вызвало сильнѣйшее умственное потрясеніе, и мнѣ не удалось докончить пятой пьесы. Я серьезно заболѣлъ воспаленіемъ мозга, не считая подагры, которая сосредоточилась въ груди и довела меня до кровохарканья.

Итакъ, нужно было бросить эту дорогую для меня работу и позаботиться о леченіи. Недугъ былъ силенъ, но продолжался недолго; зато продолжительно было выздоровленіе, такъ какъ я очень ослабъ послѣ болѣзни. Чтобы вновь приняться за пятую комедію и написать всю шестую, мнѣ пришлось ждать до конца сентября; но въ первыхъ числахъ октября онѣ были окончательно разработаны, и я почувствовалъ облегченіе, такъ какъ годами онѣ тяготѣли надо мной.

Въ концѣ этого года я получилъ изъ Турина грустное извѣстіе о смерти моего единственнаго племянника, сына моей сестры, графа де Куміана. Онъ скончался послѣ трехдневной болѣзни, едва тридцати лѣтъ отъ роду, не имѣя ни жены, ни дѣтей. Это несчастіе сильно огорчило меня, хотя я едва видѣлъ его въ дѣтствѣ; но я раздѣлялъ страданіе его матери (отецъ его умеръ два года тому назадъ), и долженъ сознаться, что мнѣ горько было видѣть, какъ состояніе, подаренное мною сестрѣ, переходило въ чужія руки. У сестры моей не было другихъ наслѣдниковъ, кромѣ трехъ замужнихъ дочерей; одна, какъ я уже сказалъ, была женою Колли изъ Александри, другая—Феррари, изъ Генуи, третья—графа де Каллано д'Аоста. Я никогда не могъ искоренить въ нихъ (что меня сильно огорчало) того мелкаго тщеславія, которое можно заставить замолчать, но никогда нельзя удалить изъ сердца человѣка благороднаго происхожденія,—тщеславія, внушающаго человѣку стремленіе къ продолженію своего рода. Дѣйствительно, справедливо, что для истиннаго познанія себя самого нуженъ жизненный

опытъ; необходимо очутиться въ этихъ грустныхъ условіяхъ, чтобы быть въ состояніи судить о себѣ: Смерть моего племянника, лишавшая меня наследника, заставила меня позже войти въ новый уговоръ съ моей сестрой, чтобы закрѣпить мой пенсіонъ въ Пьемонтѣ. Въ случаѣ ея смерти я совсѣмъ не желаю очутиться въ зависимомъ положеніи отъ племянницъ или ихъ мужей, которыхъ я совсѣмъ не знаю.

Между тѣмъ, этотъ позорный миръ все же вернулъ Италиі известное спокойствіе, и такъ какъ французскій деспотизмъ уничтожилъ бумажныя деньги, какъ въ Римѣ, такъ и въ Пьемонтѣ, то моя Дама и я обмѣняли бумаги на золото и почувствовали себя въ болѣе благоприятныхъ условіяхъ въ матеріальномъ отношеніи. Къ концу 1800 г. мы вновь купили четырехъ лошадей, изъ которыхъ одна была верховая, для меня. Съ самаго Парижа у меня не было лошади, и не было у меня другого экипажа, кромѣ скверной наемной кареты. Но годы общественныхъ несчастій, множество примѣровъ худшей участи, чѣмъ наша, одѣлали меня скромнымъ и сдержаннымъ. Такимъ образомъ, эти четыре лошади были роскошью для человѣка, который много лѣтъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи не меньше десяти, пятнадцати.

Впрочемъ, достаточно пресыщенный всѣмъ на свѣтѣ, скромный въ своемъ обиходѣ, всегда одѣтый въ черное, тратясь только на книги, я чувствую себя достаточно богатымъ и считаю за честь умереть вполнину бѣднѣе, чѣмъ родился. Естественно, что я не согласился на предложеніе моего племянника Колли, хотѣвшаго хлопотать въ Парижѣ о возмѣщеніи мнѣ всего того, что было у меня конфисковано во Франціи, моихъ доходовъ, книгъ и остального. Я никогда не взыскиваю съ людей того, что они у меня украли.

Вотъ почему я даже не отвѣтилъ Колли по этому поводу, ни на первое, ни на второе письмо, гдѣ онъ дѣлаетъ видъ, что не получилъ моего отвѣта, котораго и не существовало. И дѣйствительно, рѣшивъ остаться фран-

пузскимъ генераломъ, онъ долженъ былъ притвориться и сказать, что не получалъ единственнаго отвѣта, который я ему послалъ; я же, съ своей стороны, желая остаться свободнымъ и вполне сохранить достоинство итальянца, также долженъ былъ утверждать, что не получалъ его писемъ и предложеній.

Едва наступило лѣто 1802 года (я совсѣмъ, какъ стрекоза, пою только лѣтомъ), какъ я внезапно началъ провѣрять разработанныя комедіи съ наименьшимъ жаромъ, чѣмъ при ихъ созданіи и разработкѣ. Въ этомъ году, хотя и въ другой формѣ, я вновь почувствовалъ гибельное дѣйствіе слишкомъ усиленнаго труда. Не надо забывать, что для всѣхъ этихъ сочиненій я лишалъ себя прогулокъ. Такъ же и въ этомъ году, послѣ того, какъ я нзложилъ въ стихахъ двѣ съ половиной комедіи, благодаря августовской жарѣ и усиленному труду у меня возобновилось небольшое воспаленіе мозга и все тѣло покрылось безчисленными нарывами. Я бы, конечно, не обратилъ на нихъ вниманія, если бы одинъ изъ нихъ не вздумалъ появиться на лѣвой ногѣ, между щиколоткой и сухожильемъ, и не задержалъ меня въ постели въ теченіе двухъ недѣль, сопровождаясь спазматическими болями и рожистымъ воспаленіемъ, которое причинило мнѣ невѣроятныя мученія. Пришлось еще разъ оставить комедіи и пролежать въ постели, страдая вдвойнѣ, такъ какъ именно въ сентябрѣ дорогой аббатъ де Калузю, давно собиравшійся въ Тоскану, пріѣхалъ во Флоренцію, гдѣ могъ пребыть не больше мѣсяца, ибо пріѣхалъ за своимъ старшимъ братомъ, который два года тому назадъ удалился въ Пизу, чтобы избѣжать рабства въ кельтизированной Пьемонтѣ. Теперъ же въ этомъ году вышелъ новый законъ, повелѣвающій всѣмъ пьемонтцамъ вернуться въ ихъ клѣтку, и угрожающій въ случаѣ неповиновенія конфискаціей имущества и изгнаніемъ со счастливыхъ земель этой изумительной республики. Я испытывалъ большую радость при мысли о встрѣчѣ здѣсь, во Флоренціи, съ моимъ милымъ аббатомъ. Судьба хотѣла, чтобы онъ

засталъ меня въ кровати, также, какъ при послѣднемъ разставаніи пятнадцать лѣтъ тому назадъ въ Эльзасѣ. Поэтому къ моей радости примѣшивалась значительная доля горечи, такъ какъ я не могъ встать, двигаться и заниматься чѣмъ бы то ни было. Все же я далъ ему прочитать мои переводы съ греческаго, сатиры, Теренція, Виргилія, однимъ словомъ все, что у меня было въ портфельѣ, за исключеніемъ комедій, которыхъ я еще никому не читалъ, желая раньше окончательно ихъ обработать. Мой другъ остался въ общемъ вполне доволенъ моими работами и далъ мнѣ устно и даже письменно нѣсколько блестящихъ совѣтовъ, которыми я отчасти уже воспользовался, и надѣюсь еще воспользоваться при дальнѣйшей переработкѣ этихъ произведеній. Черезъ двадцать семь дней мой другъ внезапно исчезъ, какъ молнія, съ моихъ глазъ. Его отъѣздъ причинилъ мнѣ глубокую печаль, которую не знаю какъ-бы я перенесъ, не будь со мной моей несравненной подруги, утѣшавшей меня во всѣхъ лишеніяхъ. Въ октябрѣ я выздоровѣлъ и принялся за комедіи, которыя я закончилъ до восьмого декабря. Теперь оставалась только легкая окончательная шлифовка ихъ.

ГЛАВА XXXI.

МОИ НАМЪРЕНІЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕИЗДАННЫХЪ СОЧИНЕНІЙ.—УСТАЛЫЙ, ИЗМУЧЕННЫЙ, Я ОТКАЗЫВАЮСЬ ОТЪ ТВОРЧЕСТВА.—СПОСОБНЫЙ СКОРЪЙ КЪ РАЗРУШЕНІЮ, ЧѢМЪ КЪ СОЗИДАНІЮ, Я ДОБРОВОЛЬНО РАЗСТАЮСЬ СЪ ЧЕТВЕРТОЙ ЭПОХОЙ МОЕЙ ЖИЗНИ.—СЪ ЗРѢЛОСТІЮ, ЧТОБЫ ПОСЛѢ ДВАДЦАТИ ВОСЬМИ ЛѢТЪ НЕУСТАННОЙ РАБОТЫ ПЕРЕЙТИ КЪ СТАРОСТИ.—ГОРДЫЙ, КАКЪ ШКОЛЬНИКЪ, Я, ПЕРЕОДОЛѢВЪ ТРУДНОСТИ ГРЕЧЕСКАГО ЯЗЫКА, ОСНОВЫВАЮ НОВЫЙ ОРДЕНЪ И ПОСВЯЩАЮ СЕБЯ САМЪ ВЪ РЫЦАРИ ГОМЕРА.

1803.

Скоро, если я не ошибаюсь, наступитъ конецъ моей скучной и долгой болтовнѣ. Но какъ я ни описалъ событія своей жизни, хорошо ли или дурно, я чувствовалъ, что долженъ это сдѣлать. Если найдутъ, что я перешелъ обычныя границы повѣствованія, то это надо отнести къ крайней моей писательской плодовитости. Теперь обѣ болѣзни этого лѣта служатъ мнѣ предостереженіемъ, что пора перестать дѣйствовать и творить. Я прощаюсь съ четвертой эпохой своей жизни и вмѣстѣ съ ней съ моей творческой способностью. Я не хочу творить больше, но даже если бы и хотѣлъ продолжать писать, у меня не хватило бы на это силъ. Я намѣреваюсь только, если Господь захочетъ этого, окончить пересмотръ моихъ произведеній—оригинальныхъ и переводныхъ—за эти пять лѣтъ и нѣсколько мѣсяцевъ, что мнѣ осталось до шестидесяти лѣтъ. Послѣ этого, если буду еще живъ, я буду только продолжать мои начатыя занятія, которыя и брошу лишь при послѣднемъ издыханіи. Если мнѣ и случится вернуться къ моимъ сочиненіямъ, то лишь для стилистическихъ поправокъ, не внося въ нихъ никакихъ измѣненій по существу. Единственное, что я хотѣлъ бы сдѣлать послѣ шестидесяти лѣтъ, это переве-

сти золотую книгу Цицерона о старости. Это произведение будетъ соответствоватьъ моей старости и я его посвящу моей неразлучной подругѣ, той, съ которой я дѣлилъ жизнь въ теченіе двадцати пяти лѣтъ и буду дѣлить въ будущемъ всѣ радости и печали.

Что касается печатанія этихъ сочиненій, я думаю, что я навсегда откажусь отъ него. Оно причиняетъ слишкомъ много хлопотъ, и къ тому же, такъ какъ я вынужденъ жить въ несвободной странѣ, мнѣ пришлось бы подчиниться цензурѣ, на что я никогда не соглашусь. Поэтому я оставлю лишь чистыя и разборчивыя рукописи тѣхъ изъ моихъ сочиненій, которыя считаю достойными увидѣть свѣтъ. Остальныя я сожгу; то же я сдѣлаю и съ автобіографіей, если тщательно не исправлю ее.

Теперь, чтобы повеселѣе закончить эти серьезные пустяки и освѣтить мои первые шаги въ пятой эпохѣ моей жизни, въ этомъ второмъ дѣтствѣ, я, для развлечения читателя, расскажу ему о своей послѣдней слабости въ 1803 году. Съ тѣхъ поръ, какъ я закончилъ свои комедіи, я сталъ думать, что мое имя со славой перейдетъ въ потомство. Кромѣ того, съ тѣхъ поръ, какъ я, благодаря настойчивому изученію греческаго языка, могъ, или считалъ, что могу читать а *livre ouvert* Пиндара, трагиковъ и божественнаго Гомера и даже переводить ихъ на литературный латинскій и недурной итальянскій языкъ, я проникся гордостью этой побѣды, одержанной между сорока семью и пятидесятью годами моей жизни. И мнѣ пришла въ голову мысль, что такъ какъ каждый трудъ заслуживаетъ награды, и я имѣю на нее право. Я хотѣлъ сдѣлать ее красивой, почетной и щедрой. Я придумалъ сдѣлать себѣ ожерелье съ вытисненными на немъ именами двадцати трехъ поэтовъ, древнихъ и современныхъ, съ камеей посрединѣ, представляющей портретъ Гомера. На другой сторонѣ камені я начерчу (смѣйся, читатель!) греческое двустипіе собственнаго сочиненія, мною же переведенное на итальянскій языкъ. Я показалъ ихъ оба аббату Калузо—греческое, чтобы убѣдиться, что въ немъ нѣтъ

варваризмовъ и грамматическихъ ошибокъ, итальянское, чтобы онъ судилъ, въ достаточной ли мѣрѣ я уменьшилъ дерзость подлинника. На мало распространенномъ языкѣ поэтъ можетъ свободнѣе говорить о себѣ, чѣмъ на обычныхъ вульгарныхъ нарѣчiяхъ. Что касается ожерелья, я его закажу на-дняхъ, не жалѣя золота и драгоценныхъ камней. Я буду носить этотъ новый орденъ, который будетъ, по крайней мѣрѣ, моимъ собственнымъ изобрѣтенiемъ, заслужилъ ли я его, или нѣтъ. Если—нѣтъ, безпристрастное потомство передастъ его кому-нибудь болѣе достойному. До свиданья, читатель, если только намъ суждено будетъ встрѣтиться, когда я, старый болтунъ, стану еще безразсуднѣе, чѣмъ былъ въ этой послѣдней главѣ агонизирующей зрѣлости.

Флоренція, 14 мая 1803 года.

Витторіо Альфiери.

К о н е ц ъ .

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	Стр.
Предисловіе А. Андреевой	I
Предисловіе автора	1

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ЭПОХА ПЕРВАЯ.

Дѣтство. Первые девять лѣтъ.

Г л а в а I	Рожденіе и родители	7
Г л а в а II	Дѣтскія воспоминанія	9
Г л а в а III	Первыя проявленія страстности моей природы	12
Г л а в а IV	Развитіе характера, наблюдаемое по различнымъ мелкимъ фактамъ	15
Г л а в а V	Послѣдняя дѣтская исторія	20

ЭПОХА ВТОРАЯ.

Отрочество. Восемь лѣтъ дурного обученія.

Г л а в а I	Отъѣздъ изъ материнскаго дома и поступленіе въ Туринскую Академію.—Описаніе Академіи	27
Г л а в а II	Первые уроки, педантизмъ занятій и другія дурныя стороны ихъ	30
Г л а в а III	Какимъ родственникамъ были ввѣрены мои отроческіе годы въ Туринѣ	34
Г л а в а IV	Продолженіе псевдо-занятій	37
Г л а в а V	По поводу разныхъ неинтересныхъ предметовъ, на ту же тему, что и предыдущее	42
Г л а в а VI	Хилость моего здоровья.—Постоянная недомоганія.—Полная неспособность къ какому-либо физическому напряженію, въ особенности къ танцамъ.—Причины	48
Г л а в а VII	Смерть дяди.—Я становлюсь впервые свободнымъ.—Мое поступленіе въ первое отдѣленіе Академіи	53

	Стр.
ГЛАВА VIII.	
Полиѣйшее бездѣлье.—Со мной случаются не- приятности, которыя я мужественно переношу .	58
ГЛАВА IX.	
Замужество сестры.—Меня возстановляютъ въ правахъ.—Первая лошадь	60
ГЛАВА X.	
Первая маленькая любовь.—Первое путешествіе.— Поступленіе на военную службу	62

ЭПОХА ТРЕТЬЯ.

Юность. Приблизительно десять лѣтъ путешествій и безпорядочной жизни.

ГЛАВА I.	Первое путешествіе.—Миланъ.—Флоренція.— Римъ	69
ГЛАВА II.	Продолженіе путешествія.—Я избавляюсь отъ наставника	74
ГЛАВА III.	Продолженіе путешествія.—Первое проявленіе скуности	78
ГЛАВА IV.	Конецъ путешествія по Италиі.—Я впервые въ Парижѣ	83
ГЛАВА V.	Первое пребываніе въ Парижѣ	87
ГЛАВА VI.	Путешествіе въ Англію и Голландію.—Первая любовная встрѣча	91
ГЛАВА VII.	Вернувшись на родину, я предаюсь въ теченіе полугода изученію философіи	98
ГЛАВА VIII.	Второе путешествіе въ Германію, Данію и Шве- цію	102
ГЛАВА IX.	Продолженіе путешествій: Россія, снова Пруссія, Спа, Голландія и Англія	108
ГЛАВА X.	Вторичная, на этотъ разъ трагическая, любовная встрѣча —	115
ГЛАВА XI.	Страшное разочарованіе	125
ГЛАВА XII.	Снова путешествія въ Голландію, Францію, Ис- панію, Португалію; возвращеніе на родину	131
ГЛАВА XIII.	Скоро, по возвращеніи на родину, я третій разъ попадаюсь въ любовныя сѣти.—Первые литера- турные опыты	143
ГЛАВА XIV.	Болѣзнь и выздоровленіе	147
ГЛАВА XV.	Настоящее освобожденіе.—Первый сонетъ	153

ЭПОХА ЧЕТВЕРТАЯ.

*Зрѣлый возрастъ. Онъ обнимаетъ больше тридцати лѣтъ,
отданныхъ сочиненію, переводамъ и разнаго рода изученіямъ.*

ГЛАВА I.	Двѣ первыя трагедіи, „Филиппъ II“ и „Поли- никъ“, написанныя по-французски прозой, пока что—цѣлое наводненіе дурныхъ стиховъ	163
------------------	--	-----

	Стр.	
Глава II.	Я приглашаю учителя для толкованія Горация.— Первое литературное путешествіе въ Тоскану	173
Глава III.	Я упорно предаюсь самымъ неблагодарнымъ занятіямъ	182
Глава IV.	Второе литературное путешествіе въ Тоскану, испорченное глупой роскошью (увлеченіе ло- шадьми).—Дружба съ Ганделлини.—Работы, вы- полненныя или задуманныя въ Сіенѣ	186
Глава V.	Новая любовь, наконецъ, приковываетъ меня навсегда къ любимой женщиѣ	194
Глава VI.	Я передаю все свое имущество сестрѣ.—Новый приступъ скупости	198
Глава VII.	Усердныя занятія во Флоренціи	208
Глава VIII.	Благодаря случаю, я вновь вижу Неаполь и Римъ, въ которомъ я и поселяюсь	212
Глава IX.	Я вновь горячо принимаюсь за свои занятія въ Римѣ.—Заканчиваю четырнадцать первыхъ тра- гедій	217
Глава X.	Постановка „Антигоны“ въ Римѣ.—Я печатаю первыя четыре трагедіи.—Мучительнѣйшая разлу- ка.—Путешествіе въ Ломбардію	223
Глава XI.	Я печатаю еще шесть трагедій.—Критическіе от- зывы о четырехъ первыхъ.—Отвѣтъ на письмо Кальсабиджи	235
Глава XII.	Третье путешествіе въ Англію, единственной цѣлью котораго была покупка лошадей	240
Глава XIII.	Краткое пребываніе въ Туринѣ.—Я присутствую на представленіи „Виргиніи“	246
Глава XIV.	Путешествіе въ Эльзась.—Я вновь встрѣчаюсь со своей Дамой.—Задумываю три новыхъ трагедіи.— Неожиданная смерть моего дорогаго Гори въ Сіенѣ	252
Глава XV.	Пребываніе въ Пизѣ.—Я пишу панегирикъ Тра- яну и другія произведенія	257
Глава XVI.	Второе путешествіе въ Эльзась, гдѣ я посе- ляюсь.—Я задумываю и пишу въ прозѣ двухъ „Брутовъ“ также и „Авеля“.—Вновь усиленные занятія	262
Глава XVII.	Путешествіе въ Парижъ.—Соглашеніе съ Дидо въ Парижѣ по поводу печатанія моихъ девят- надцати трагедій.—Возвращеніе въ Эльзась.— Тяжкая болѣзнь.—Аббатъ Калузо пріѣзжаетъ къ намъ на лѣто	266

Г л а в а XVIII. .	Трехлѣтнее пребываніе въ Парижѣ.—Печатаніе полнаго собранія трагедій.—Одновременное пе- чатаніе другихъ произведеній въ Кель	272
Г л а в а XIX. .	Начало смуты во Франціи, превращающей меня изъ поэта въ болтуна.—Мое мнѣніе о настоя- щемъ и будущемъ этого государства	275

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Маленькое предисловіе	283
---------------------------------	-----

ЭПОХА ЧЕТВЕРТАЯ.

Г л а в а XX. . .	Закончивъ печатаніе первой серіи трагедій, я принимаюсь за переводъ Виргилія и Теренція.— Цѣль этой работы	287
Г л а в а XXI. . .	Четвертое путешествіе въ Англію и Голландію.— Возвращеніе въ Парижъ, гдѣ тяжелыя обстоя- тельства заставляютъ насъ остаться	289
Г л а в а XXII. . .	Бѣгство изъ Парижа.—Возвращеніе въ Италію черезъ Фландрію и всю Германію.—Мы посе- ляемся во Флоренціи	292
Г л а в а XXIII. . .	Мало-по-малу я возвращаюсь къ занятіямъ.— Кончаю переводы.—Принимаюсь за оригинальное произведеніе.—Нахожу хорошій домъ во Фло- ренціи и начинаю заниматься декламацией	297
Г л а в а XXIV. . .	Любопытство и стыдъ заставляютъ меня читать Гомера и греческихъ трагиковъ. — Предпочи- таю писать сатиры и прочіе пустяки	300
Г л а в а XXV. . .	Почему, какимъ образомъ и съ какой цѣлью я, наконецъ, рѣшилъ приняться совершенно само- стоятельно за серьезное изученіе греческаго языка	301
Г л а в а XXVI. . .	Неожиданный результатъ моихъ нѣсколькихъ запоздалыхъ занятій греческимъ языкомъ.—Въ последній разъ вернувшись подъ сѣнь Аполлона, я пишу вторую „Альцесту“	305
Г л а в а XXVII. . .	Конецъ „Мизогалла“.—Завершеніе моего стихо- творчества „Телевтодей“.—Возстановленіе „Аве- ля“, двухъ „Альцестъ“ и политической брошюры „Итальянскимъ властителямъ“.—Недѣльное рас- предѣленіе занятій.—Приготовившись ко всему и составивъ себѣ эпитафію, я жду нашествія французовъ, которое произошло въ мартъ 1799 г.	310

Г л а в а XXVIII.	Мои деревенскія занятія.—Уходъ французовъ.— Наше возвращеніе во Флоренцію.—Письма Кол- ли.—Я съ горестью узнаю, что онъ готовится издать въ Парижѣ мои работы, написанныя въ Кель, но не опубликованныя	316
Г л а в а XXIX.	Второе нашествіе.—Скучныя домогательства ге- нераль-литератора.—Миръ, смягчившій наши бѣд- ствія.—Я задумываю одновременно шесть коме- дій	322
Г л а в а XXX.	Я обрабатываю свои шесть комедій въ прозѣ, годъ спустя послѣ созданія ихъ плана.—Я про- пускаю еще годъ передъ тѣмъ, какъ написать ихъ стихами.—Этотъ двойной трудъ оставляетъ глубокій слѣдъ на моемъ здоровьѣ.—Я вновь встрѣчаю аббата де-Калузо во Флоренціи	327
Г л а в а XXXI.	Мои намѣренія относительно неизданныхъ сочи- неній.—Усталый, измученный, я отказываюсь отъ творчества.—Способный скорѣе къ разрушенію, чѣмъ къ созиданію, я добровольно расстаюсь съ четвертой эпохой моей жизни—съ зрѣlostью, чтобы послѣ двадцати восьми лѣтъ неустанной работы, перейти къ старости.—Гордый, какъ школьникъ, я, преодолевъ трудности греческаго языка, основываю новый орденъ и посвящаю себя самъ въ рыцари Гомера	332

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО К. Ф. НЕКРАСОВА.

МОСКВА,

Тверская, д. 29, кв. 46. Телефонъ 338 -45.

Князь Адамъ Чарторижскій. Мемуары. Т. I. Пер. съ франц. Редакція и вступительная статья А. Кизеветтера. Ц. 2 р. 50 к.

Князь Адамъ Чарторижскій. Мемуары. Т. II. Ц. 2 р.

П. Мораль. Павелъ I до восшествія на престоль. Пер. съ франц. Н. Ширяевой. Ц. 3 р.

Де Ремюза. Мемуары. Т. I. Редакція и вступит. статья С. Ф. Фортунатова. Ц. 2 р.

Де Ремюза. Мемуары. Т. II. (печатается).

Шуазель Гюффо. Историческіе мемуары объ императорѣ Александрѣ и его дворѣ. Пер. съ франц. З. Мировичъ. Вступительная статья А. Кизеветтера. Ц. 1 р. 50 к.

Л. Круковская. Н. А. Морозовъ. Біографическій очеркъ. Цѣна 40 к.

А. Изгоевъ. П. А. Столыпинъ. Очеркъ жизни и дѣятельности. Ц. 50 к.

В. Брусилкиъ. Л. Андреевъ. Жизнь и творчество. Ц. 50 к.

Н. Шаховская. В. Г. Короленко. Опытъ біографической характеристики. Ц. 60 к.

Бекфордъ. Ватекъ. Арабская сказка. Пер. Бор. Зайцева. Вступительная статья „Бекфордъ, авторъ Ватекъ“ П. Муратова. Цѣна 80 к.

Ф. Кроммелиниъ. Ваятель масокъ. Переводъ въ стихахъ К. Бальмонта. Ц. 50 к.

Кристоферъ Марло. Трагическая исторія доктора Фауста. Пер. въ стихахъ К. Бальмонта. Ц. 80 к.

Ф. М. Клигоръ. Жизнь, дѣянія и гибель Фауста. Пер. съ нѣм. со вступ. статьей и примѣчаніями А. Лютера. Ц. 1 р. 80 к.

Новеллы Итальянскаго Возрожденія. Переводы и характеристики П. Муратова. *Томъ I. Часть I. Новеллисты Треченто:* „Новеллино“—„Цвѣточки св. Франциска Ассизскаго“—Боккаччио—Франко Саккетти—Серкамби—Серъ Джованни. *Часть II. Новеллисты Кватроченто.* Новелла о Столярѣ—Св. Бернардинъ Сиенскій—Илличини—Сермини—Мазуччио—Корнащано. Цѣна 2 р. 50 к.

Новеллы Итальянскаго Возрожденія. Томъ II. Часть III.
Новеллисты Чинквеченто. Мольца — Банделло—Аньоло Фи-
ренцуола — Грацини—Дони — Фортини—Джиральди—Парабо-
ско — Де Мори—Страпарола—Малеспини—Баргальи. Ц. 2 р. 50 к.

Жераръ де Нерваль: Сильвія. Октавія. Изида. Аврелія.
Пер. съ франц. Е. С. Уреніусъ. Редакція и вступительная статья
П. Муратова. Цѣна 1 руб..

Гуннаръ Гейбергъ. Собр. соч. Авторизованный переводъ съ
норвежскаго Р. Тираспольской. Вступительная статья гр. Де-ла-
Бартъ. Т. 1 и 2. Цѣна каждого тома 1 р.

Рихардъ Демель. Собр. соч. Авторизованный переводъ съ
дополненіями автора для русскаго изданія. Вступительная статья
Ю. Айхенвальда. Т. 1-й. Автобіографія. Спутникъ человѣческой.
Трагизмъ и драма. Т. 2-й. Странички жизни. Новеллы. Пер.
съ нѣм. Л. Горбуновой. Цѣна каждого тома 1 р. 20 коп.

Г. Жулавскій. Собраніе сочиненій. Т. I. На серебряномъ
шарѣ. Ром. Пер. А. Зейлигеръ. Цѣна 1 р. 40 к.

Г. Жулавскій. Собр. соч. Т. II. Побѣдитель. Ром. Перев.
А. Зейлигеръ. Цѣна 1 р. 40 к.

Ж. Н. Гюнсмансъ. Собраніе сочиненій. Т. I. Тамъ внизу.
(Бездна). Перев. Ю. Спасскаго. (Наложень арестъ). Цѣна 1 р.
25 коп. Т. 2. Въ пути. Цѣна 1 р. 50 к. Т. 3. Парижскіе
арабески. Цѣна 1 р.

Е. Милицина. Разказы. Томъ III. Цѣна 1 р. 25 к.

Н. Русовъ. Озеро. Романъ въ 2-хъ частяхъ. Изданіе вторсе.
Цѣна 1 р.

Н. Русовъ. Любовь возвращается. Романъ. Ц. 1 р. 50 к.

Н. Русовъ. Повѣсти. Цѣна 1 р.

Н. Русовъ. Въ старой усадьбѣ. Пьеса въ пяти дѣйствіяхъ.
Цѣна 60 к.

Н. Клюевъ. Лѣсныя были. Книга 3. Ц. 60 к.

Н. Клюевъ. Сосенъ перезвонъ. Изданіе 2-е. Цѣна 60 к.

В. Эльснеръ. Современные нѣмецкіе поэты. Цѣна 1 руб.

Н. Дружининъ. Право и личность крестьянина. Цѣна 1 р. 20 к.

Церковь Іоанна Предтечи въ Ярославлѣ. Объяснитель-
ная статья Н. Первухина. Фотографіи И. Лазарева, П. Мося-
гина и С. Шитова. Рисунокъ обложки С. Малютина. Ц. 16 р.

Райнеръ Марія Рильке. Замѣтки Мааьте Лауридсъ Бригге.
Цѣна за 2 томика 1 р. 30 к.

Аббатъ Жоржоль. Путешествіе въ Петербургъ въ царство-
ваніе Императора Павла I. Перев. Н. Соболевскаго. Ц. 1 р.
20 коп.

Просперъ Мериме. Избранные рассказы. Пер. съ франц.
Е. С. Урениусъ. Редакція и вступительная статья П. Муратова.
Цѣна 1 р. 25 к.

С. Ауслендеръ. Последний спутникъ. Романъ въ 3 частяхъ.
Цѣна 1 руб.

Романъ Тристана и Изольды. Въ изложениі Ж. Бедье.
Переводъ Е. С. Урениусъ. Цѣна 1 р.

